Новый Журнал



THE NEW REVIEW

нью-иорк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1959.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

- 3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.
- 4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.
- 5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1117.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 29th day of September, 1960, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Comission Expires March 30, 1961.

THE NEW REVIEW HOВЫЙ Журнал

Основатели М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцатый год издания

Кн.63 1961

РЕДАКЦИЯ:

P. B. PYJL, 10. II. JEHUKE, H. C. TUMAIIEB

NEW REVIEW, March 1961
Quarterly, No. 63
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price \$9. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Восьмидесятилетие Б. К. Зайцева	5
Георгий Иванов — Посмертный дневник	6
Алла Кторова — Кларка-террористка	7
Ирина Одоевцева — Два стихотворения	60
П. Штейнгель — Кавказская степь	63
Д. Кленовский — Шесть стихотворений	83
В. С. Яновский — Заложник	88
Лидия Алексеева — Три стихотворения	110
В. Ледницкий — Л. Н. Толстой	112
Владимир Злобин — Из черновой тетради (стихи)	121
П. Ершов — Толстой-драматург	
Вяч. Завалишин — Борис Зайцев (к восьмидесятилетию).	13 7
воспоминания и документы:	
E. Петров-Скиталец — Об отце	145
Н. Берберова — Конец Тургеневской библиотеки	
Письма М. Цветаевой к Г. П. Федотову	
В. Муромцева-Бунина — Встречи с писателями в 1907-08 г.г.	173
Вл. Бурцев — Азеф и ген. Герасимов	
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
Г. Гинс — О возможностях предвидения и будущем России.	222
H. C. Тимашев — Вместо комментария	
Ю. Денике — На темы дня	
Б. Двинов — Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум)	
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:	
Историк — О предках Ленина (письмо в редакцию)	286
Д. Шуб — По поводу письма «Историка» и статьи Н. Вален-	200
тинова о предках Ленина	288
: Вифачлондана	
К. И. Солнцев — О новом издании Ключевского. Ю. Офро-	
симов — Л. Алексеева. В пути	

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ Б. К. ЗАЙЦЕВА

11 февраля с. г. Борису Константиновичу Зайцеву исполнилось восемьдесят лет со дня его рождения. И в этом же году исполняется шестидесятилетие его творчества: свою первую вещь «Ночь» Борис Константинович напечатал в 1901 году в московской газете «Курьер», литературным редактором которой был Леонид Андреев.

Б. К. Зайцев это последняя связь современной русской литературы с ее былым необычайным расцветом, с ее «серебряным веком», с первым пятнадцатилетием 900-х годов. Вместе с Чеховым, Андреевым, Горьким, Буниным, Куприным Борнс Зайцев был и остается одним из любимых мастеров русской новеллы и одним из выдающихся русских прозаиков. Читатель сохранил свою верность Борису Зайцеву со времени таких его ранних вещей, как «Волки», «Аграфена», «Отец Кронид» и до его больших повестей и романов — «Золотой узор», «Анна», «Путешествие Глеба», «Юность», «Древо жизни» и другие.

Редакция «Нового Журнала» дружески приветствует своего долголетнего сотрудника, большого русского писателя Бориса Константиновича Зайцева, которому шлет сердечное пожелание здоровья, бодрости и творческих сил.

РЕДАКЦИЯ

ПОСМЕРТНЫЙ ДНЕВНИК

1

За сорок лет такого маянья По городам чужой земли Есть от чего придти в отчаянье И мы в отчаянье пришли —

В отчаянье, в приют последний, — Как будто мы пришли зимой С обедни в церковке соседней По снегу русскому домой.

2

До нелепости смешно — Так бесславно умереть, Дать себя с земли стереть, Как чернильное пятно!

Ну, а все-же, след чернил, Разведенных кровью — Как склонялся Азраил Ночью к изголовью, О мечтах и о грехах, Странствиях по мукам — Обнаружится в стихах В назиданье внукам.

Георгий Иванов

KJAPKA-TEPPOPUCTKA*

ПОВЕСТЬ

часть первая

1

Незадолго до революции, на Малой Бронной улице в Москве, недалеко от Ермолаевского переулка и Патриарших Прудов, барон Гирш построил пять трехэтажных больших корпусов со множеством мелких квартир, сдававшихся в наем. Отдельные комнаты в квартирах занимали студенты, преимущественно университетские, материально не обеспеченные. Они целыми днями бегали по грошовым урокам, а вечером собирались у товарищей или в трактире Романова на углу Малой Бронной и Тверского бульвара для дружеской беседы, обычно заканчивавшейся пением студенческих и революционных песен. Здесь часто можно было слышать «Гаудеамус Игитур», «Дубинушку», «От зари до зари» и другое... Эти дома, которые до сих пор народ в Москве называет «Гирши», стоят по сей день. Из их окон кое-какие песни вылетают и сейчас.

2

С третьего этажа несется очень веселый смех и молодой женский голос:

Мамочка, милая, сердие разбитое, Милый не хочет любить...

[•] Алла Кторова — очень молодой автор. До 1959 года она жила в СССР. Эта повесть — ее первое беллетристическое произведение.

— Ах, какие песни когда-то были, какие песни... — бормочет Мума, гладя на обеденном столе кучу чулок «в резинку» и фиолетовое трико, — не то, что теперь. И душевные слова и музыка прямо за душу хватает... А когда начинают передавать теперешние, то я всегда выключаю радио. Пой, Кларочка, пой...

Фыркнув на чулки изо рта кипяченой водой и увидев, что мы с Кларкой переглянулись с саркастическими улыбочками она уже менее уверенно продолжает, обращаясь в пространство (в основном к тепловатому уютному воздуху, пахнущему глаженым чистым бельем):

— Конечно, когда теперь у молодежи ничего святого нет, то вам все хаханьки. И мать вам — не мать, и отец — не отец. Все по-своему, на свой фасон, все молчком... А раньше дочери с родителями делились...

Кларка поет свои дурацкие песенки под аккомпанимент старой фисгармонии, из которой ею выжимаются звуки при помощи одного и того же аккорда левой и двумя пальцами правой руки. Кроме рук работают еще ноги, которыми Кларка, как на ножной машине перебирает две старые плюшевые, зеленые, все выеденные молью, педали этого древнего итальянского музыкального ящика. Ноги Кларки особого интереса не представляют даже с точки зрения размера обуви. Но руки! Где это она взяла такие? Пальцы на редкость красивые, длинные, какие, я думаю, можно было увидеть только у жен египетских фараонов в древнем Египте. Узкие, тонкие, с красивыми ногтями. Можно даже и маницорэс (Кларкино выражение, обозначающее слово «маникюр») не делать. А откуда такие пальцы взялись у Кларки — неизвестно. Правда, у нее-то объяснение было...

— В Египте, говоришь? — раз спросила она меня, чуть сведя вместе светлые брови и сжав нос, чтобы он казался тоньше, тоже египетским. — У фараонш? Ну, точно, это у меня оттуда, от них. Вон наш Исак рассказывал, что евреи когда-то там, в Египте этом, рабами были, давно еще, до революции. Ну, одна моя прабабка, с Муминой стороны, конеч-

но, с каким-нибудь фараоном Хеопсом и согрешила. Суду все ясно, вопросов нет.

Мума кокетливо улыбается. Ах, ее предков подозревают в чем-то таком игривом... И ей это очень нравится...

- Хотя, чем болтать ерунду, ты бы лучше спела еще что-нибудь трогательное. Или завела бы вальс. Просто душа отдыхает.
 - Трогательное? Пожалуйста! Кларка объявляет:
- Старинно-ветхозаветный романс «Наверху живет модистка, увнизу живет портной». Исполняет цыгано-еврейская певица Клара Прилуцкая.

Из окон домов, которые называются «Гирши», несутся песни и сейчас.

3

- Мума, Мума, когда ты уже перестанешь «мумить», сердится Мума, крепко вытирая сложенной в шесть раз газетой кран на кухне. Она чистила селедку и хваталась за кран селедочными руками. Все не как у людей. Вот, спроси у Аллочки, называет ли она свою мамочку Мума? Я уверена, что она себе такого не позволит. Что у меня приличного имени нет? Если меня так называет родной брат, так что с того? Он мне брат, а ты кто такая? Исак, ты идешь? кричит она, высовываясь в коридор, в котором, по выражению Кларки, «темно, как у негра...» иди, наконец, надоело пять раз греть. Ну, дети, садитесь уже за столом.
- Мама, тихо перебивает ее скромная, косоватая блондинистая Лина, сестра Кларки, ну сколько можно? Не «за столом», а...
 - Ну, что «а»...? Ну, как будет по-твоему?
 - Да «за стол» же правильно!

Мума чуть-чуть приседает на левой ноге и делает знак правой рукой, подобно тому, как взмахивает палочкой дирижер, собираясь начать увертюру.

— Ну, вот, дали им образование на свою голову... Не вижу никакой разницы.

Эх, хорошо, что сегодня воскресенье! Винегрет уже готов и сверкает в миске перламутровый лучок и блестят фиолетово-багряные кубики свеклы! То ли дело в «будень», как говорит Кларка. На неделе, то-есть в будни, до прихода Мумы с работы, мы всей семьей подготавливаем продукты. Лина, как самая безропотная, режет, обливаясь слезами, лук. Я чищу вареную липкую, холодную картошку, а Кларка соскребает скользкую кожицу с морковки и свеклы. Исак же тихо колдует у окна. Он разводит уксус из эссенции, налитой в зеленоватую трехгранную с пупырышками бутылочку. Ну, вот наконец, все готово. Кларка смешивает овощи в коричневой миске с отбитой «полудой», и остается только полить подсолнечным маслом, но... это уже дело не наше. Это только Мумина, твердо и непререкаемо взятая ею самой на себя обязанность. Она приходит с работы в половине восьмого и поливает винегрет самолично. Кларка выдумала: «уж что что, а поливать маслом винегрет — это Мумина прерогатива». Словечко это подхвачено от меня, и Кларка щеголяет им в «интеллектуальных компаниях». Я же выудила его у Диккенса из «Оливера Твиста».

— Сколько раз им надо говорить, что постное масло не вода, — веско говорит мне Мума, имея в виду дочерей. — Льют и льют, как будто его можно брать из кранта.

Я всегда поддакиваю Муме, и поэтому она любит со мной беседовать и часто ищет поддержки.

4

Квартирка маленькая, всего в три крошечные комнатки. Две смежные и одна отдельная. Микроскопическая кухня, темный, как могила, коридор и уборная. Лампочку в коридоре не ввертывают из экономии, а освещают его светом из комнаты и кухни, приоткрывая оттуда двери. В смежных комнатушках живет Мума с двумя дочерьми, а в отдельной — ее брат, 68-летний Исак Моисеевич, старый вдовец.

— Боже мой, я должна вечно Бога благодарить, что у нас отдельная квартира, — каждый раз говорит мне Мума, —

и подумать, это в Москве, когда люди живут друг у друга на голове. Вот так случайно оказалось, что в 22 году, когда мы с мужем сюда приехали из Катеринослава, эта квартира была пустая и нам ее устроили. Слава Богу, за все эти годы не выбросили. Хотя, из богачей кто особенно позарится? Правда, третий этаж всего, но лестница такая трудная, что не дай Бог... Исак уже много лет на улицу не выходит...

То, что Исак не выходит на улицу, я знаю. И даже знаю сколько лет. Ровно с конца НЭПа, то-есть с 30-го года. Но не из-за трудной лестницы, как я полагаю. Почему? — допытываюсь я у Кларки. А она и сама точно не может сказать:

— Вчера надо было мусор из квартиры на лестницу вынести, три дня стоит, все ведро провоняло, так он его из окна во двор вывалил. Авруцкая с Фирстовой, ведьмы эти, подняли крик, к управдому побежали, приперлись они втроем, так он даже их на порог не пустил. «Всякое дерьмо мне тут будет указывать! Указчики найшлись...» По-моему он, втихаря от нас, молится в своей комнате, что-то завывает, поет. Ну, я как-то, года два тому назад, решила ему удовольствие доставить, да и говорю: «Исачок, знаешь, в Спасоглинищевском ведь синагога работает, давай я тебя свожу туда». «Какая синагога? Где работает? Лгунья несчастная! И кто это теперь вас всех учит лгать?» Целый день шипел. А звать кого-нибудь к себе, по правде-то тебе говоря, я и сама боюсь. Неизвестно ведь, какой он фортель выкинет. Тут как-то утром зашла за мной Тамарка Зотова, чтобы вместе в очередь в Серпуховский Мосторг за польскими тарелками идти, а он думал, что я одна, открывает дверь, и спрашивает: «Кларка, ну что там сегодня опять врали по радио?» Чувствуешь? Тамарке я потом сказала, что он двинутый и находится на учете в Психиатрической лечебнице у Корсакова. Так и сидит один в квартире целый день, никого терпеть не может, ни с кем не здоровается, а когда я или Линка кого-нибудь в дом зовем, запирается и даже в уборную не выходит. Прямо тебе скажу, не знаю, за что только он тебя-то любит. — Кларка печально чмокнула. — А знаешь, ведь он не без образования. Какое-то

ремесленное училище еще при царе кончил, свидетельство мне показывал, почти что одни пятерки... Мума говорит, что это он после революции стал таким, когда дедушку и бабушку сослали за дутый золотой браслетик и колечко... Да, он странный...

5

Я люблю эту семью и чувствую себя на Малой Бронной, как дома. Мне нравится странно-сумасшедший Исачок, веселые стычки Кларки с матерью, вечно озабоченно-серьезная Лина. Лина косовата и блондиниста. С нежно-розовыми щечками. Но ее главное достоинство заключается в том, что она безропотна и безответна. Два года назад, в 48 году, она отличницей кончила семилетку и поступила в Фармацевтическую Школу на Домниковке. Страшно ей хотелось идти в 8-ой класс, но как только заикнулась...

- Нет, Линочка, деточка, надо идти в техникум и приобретать специальность, — проплакала Мума, жалея дочь.
- В 8-ой? прогрохотала Кларка. Кольнуло ее в одно место десятилетку кончать! На моем горбу в институтик хочешь въехать? А я, хуже тебя, что-ли? Нет уж, давайте не будем! Кончишь техникум, получишь специальность, обеспечишь себя и тогда на свои шиши в какой хочешь институт поступай. Хоть в Институт Марксизма-Ленинизма.

Исак тоже подал голос.

— И без десятилетки тебя узнаем. Учись на фармацевта. Хорошо и чисто, а главное, никакой тебе политики...

Сейчас 50-ый год и Лина кончает Фармшколу. Дело обстоит как нельзя лучше. За все три года обучения у нее ни одной четверки. Сплошная отличница и ее, в числе пяти процентов особо отличившихся, не «распределяют», не направляют на работу в «Мухосранск», а дают возможность поступить в Москве в Фармацевтический Институт. Это счастье свалится на Лину через год. И вот она зубрит, зубрит, дни и ночи напролет, боясь засыпаться и нечаянно схватить на экзаменах четверку. Только и слышишь «олеум рицини», «каль-

циум хлоратус» и еще что-то мрачно непонятное. Мума плотно прикрывает дверь, разговаривая со мной на кухне. Учись, Линочка, учись, у Кларки ничего не вышло, так хоть...

հ

Кларка тоже не кончила десятилетки, но аттестат зрелости у нее есть. Кончила всего 8 классов и надо было идти работать, так как умер отец, Линка еще была маленькая, а Мума не имела вообще никакой специальности и зарабатывала гроши, работая приемщицей белья в прачешной. Ну, один знакомый отца, управ заготконторы «ГлавВторСырье» решил взять Кларку. Сначала ученицей бухгалтера, а потом посмотрим... Проявишь себя, так и... Все было хорошо, но в отделе кадров сказали, что надо аттестат за десять классов.

- Ой, да что же делать? Ведь я этой весной только 8-ой кончила...
- Кларочка, не стройте из себя! Как-будто вы не знаете! Наскребите тысячу рублей, идите в Школу Рабочей Молодежи на Угол Дмитровки и Пушкинской и отгрохаете там себе за тысячу рублей любой аттестатик... Только дело с головой делайте, а не нахрапом... По-тихому, по-умному...

Продали ценные вещи в доме — зеркало «во весь рост» с подзеркальником, который Мума называла «трюмо» и бабушкину «перовую» перину. Заикнулась было Кларка о ножной швейной машине «Зингер», но Мума подняла такой гвалт... «Скорее увижу себя в гробу, чем продам эту машину... Еще папа покупал в рассрочку в Катеринославе. Ну трюмо ладно, уж так и быть. Не большие мы красавицы, чтоб видеть себя каждый день во весь рост. А если в крайнем случае понадобится, то можно выбежать в ТЭЖЭ и там посмотреться. А ножную машину нет. Нет и нет. Самовар тоже не отдам...» Обошлись и без этого... На тысячу рублей, полученные за зеркало и перину, купили Кларке аттестат зрелости и старую фисгармонию с механической шарманкой, исполнявшей старинный вальс «Оборванные струны». Фисгармония продавалась в соседнем Большом Южинском переулке по случаю кон-

чины какой-то старой барыни на вате. Вещь эта, похожая на памятник-саркофаг со старинного кладбища Донского монастыря, была вроде и ни к чему, но Мума вдруг заявила, что она лучше будет голодать, но больше не может жить совсем без музыки. Так деньги и разошлись. И Кларка счастлива, что она с аттестатом, и что дело было в 46 году, а то теперь пойди-ка, купи аттестат! И цены подскочили и вообще сейчас с этим делом строже, поймают, так и под суд угодить можно запросто.

А в заготконторе «ГлавВторСырье» Кларкой были проявлены недюжинные способности и через два года она уже была «бухом», то-есть бухгалтером. В это время, в разгар нашего знакомства, ей было 25 лет. Хорошее, веселое настроение никогда не покидало эту особу. Я ее просто обожала и была уверена, что она совсем не умеет плакать и даже в «растрепанных чувствах» бывает раз в год по обещанию. Особой красотой, скажем прямо, она не отличалась, но страшно гордилась своей высокой и очень стройной фигурой. И я ей завидовала: «Какая ты, Кларка, складненькая!»

В доме вечно была веселая суматоха. Главной причиной схваток Кларки с матерью была невозможная, до «отврата», по выражению Кларки, Мумина чистота, и Кларкин «паршивый язык» (по выражению Мумы).

- Знаешь, она вчера рискнула наконец-то выбросить какую-то старую простыню, от которой уж наверное одни швы остались, рассказывала Кларка, и что же ты думаешь? Берет она эту тряпку, стирает, вываривает, синит, подумай-ка, синит, крахмалит и гладит ее, а потом уже несет на помойку! Ну, вот, хотя бы сейчас! Прошу обратить сугубое внимание. Кто это гладит чулки-то? Только Мума! Да сами разгладятся на ноге... Прямо не знаю, что только делать с этой старой ротондой? И Кларка деловито влепляет звонкий поцелуй в Мумину щечку.
- Все фальшиво, все фальшиво! Фальшивая любовь! радостно поет Мума. Просто пустые поцелуи!

Но она счастлива.

Кларкно же несчастье в том, что она любит «выражаться». Иногда так рубанет, что даже я тихо уйкаю. В эти моменты Мума хватает старый обгрызенный веник и начинает бегать за дочерью вокруг круглого стола. Когда Кларка выбивается от смеха из сил и прислоняется дохохатывать к стенке, Мума ловко задвигает ее в угол столом и начинает охаживать веником.

— Ой, Мумочка, миленькая, — вопит Кларка, — по спине лупи, а волосы не задевай, только вчера укладку сделала, в парикмахерской три часа в очереди стояла...

Однажды Мума гналась за Кларкой до самого Ермолаевского переулка, надеясь задать ей лупцовку старой веревкой, на которой она иногда развешивала во дворе белье.

- Боже мой, что это теперь творится на белом свете, скулит Мума, выбившись из сил и присев на край тротуара (Кларка скрылась в проходном дворе), у нас в прачешной все девушки так ругаются, что у меня подкашиваются ноги. Подкашиваются и подкашиваются. Уж Дарья Петровна мне говорит: «Марья Моисевна, не обращайте вы на них внимания. Ведь у них теперь не рот, а помойная яма. Да в староето время даже неграмотные, совсем простые люди, мужчины, и то так матюгом не костерили, как они. А нам с тобой только одно остается или не слушать их, хабалок, или самим с ними ругаться...» Легко сказать самим... Клара, ну почему у Лины не такой рот, как у тебя? —говорит она вечером в период замирения с Кларкой. Почему Линочка любит свою Мумочку, жалеет? Вот, намедни...
- Мума, Мумики, поет Кларка, не употребляй, пожалуйста, русских народных выражений, это тебе совершенно не идет. Намедни? А может быть это было не намедни, а «даве»?

Мы втроем смеемся. Что касается чувства юмора, то я не знаю, у кого его больше — у Кларки, или у ее матери. Все кончается благополучно. Мума удаляется в кухню делать, по случаю воскресенья, что-то вкусное, а Кларка садится за фисгармонию.

- Я помню первую прогулку у реки.
- Ваш поц-ц-елуй в заброшенной аллее... закрыв глаза и откинувшись на спинку стула с большим чувством завывает она.

Дверь отворяется и в широкой щели мелькает голова Мумы, повязанная белой марлей.

— Опять начинается?

Но здесь точной уверенности нет. Ругать, бить, или как? — Чтоб у нее язык отсох, — на всякий случай говорит она, прикрывая локтем дверь. Руки у нее в муке.

7

Ни холод в квартире, ни часовые очереди за мясом и молоком, ни обязательное посещение кружков по изучению «марксизма-ленинизма» после работы, ни вся наша несчастная «жизнь во мгле» нам ни по чем. Ну, бедные, ну, бледные, так что ж? Сидеть и плакать дни и ночи напролет? Да и кто сказал, что мы так уж несчастны? Я обожаю Мумин бульон с еврейскими клецками, которые называются «кнейдлах», а Мума за это обожает меня.

- Мумочка, а где же головка от рыбы? спрашиваю я специально, чтобы доставить ей удовольствие.
- Ой, трагически пищит Мума, я в кухне съела ее сама...

Она любит есть прилично и интеллигентно. То-есть не «есть», а «кушать». Вот и сейчас, водрузив на нос очки, она осторожно вынимает тонкие, как волосок, косточки из дохловатой щучки. Мума ищет косточки, отставив мизинчик на несколько сантиметров от остальных братьев-пальчиков. Кларка, увидев это, деловито втыкает вилку стоймя в картофелину, берет Мумину ладонь в свой египетский кулачок и плотно прижимает мизинчик на то место, где ему быть и полагается. Вот так!

Кларка за столом от хорошего настроения валяет дурака. — Иудеи! — разрывается она, — ешь, кто сколько может. Пей, гуляй, однова живешь!

— Юдеи, юдеи, может быть хватит? — испуганно бормочет Мума. — В такое нехорошее время она употребляет такие слова! Кончится тем, что тебя арестуют.

И этим, действительно, кончилось.

8

С первого взгляда были виноваты не «юдеи», а «румын-ки». Именно не «румыны», а «румынки».

Стояла страшно холодная зима 50-го года. Только что стали входить в моду капроновые чулки, которые не рвутся, а только трутся и спускаются и все московские модницы, в том числе и Кларка, тотчас нацепили их себе на ноги, несмотря на дороговизну (60 рублей пара). Упоминание же о несчастных этих «румынках» появилось в доме в один прекрасный холодный вечер, когда я сидела у Прилуцких и ждала Кларку с работы, чтоб идти с ней в кино-театр Повторного фильма на углу улицы Герцена и Никитского сквера, смотреть старый, еще немой фильм «Катька-Бумажный Ранет». Сидели и болтали с Мумой о том, что мороженых фазанов, которых в огромном количестве откуда-то «в пере» навезли в Москву, можно не только тушить, но и варить из них суп. Как выгодно! И первое тебе и второе...

— Ну, а как в вашем районе с молоком? — допытывалась Мума, — как твоя мамочка устраивается с обедом, на три дня варите, или...

Кларка ворвалась в квартиру с совершенно неподдельным страшным хриплым жалобным плачем. И целых десять минут мы, растерявшись, не знали, как оторвать от ее ног примерзший к ним капрон. Отодрали с кровью. Вот именно тогда все и началось.

— Ал, у тебя нет каких-нибудь знакомых ширмачей? — печально спрашивала Кларка, лежа на кушетке, — только не очень дорогих? Вон Борька Аристов, танцор из Ансамбля Моисеева, «румынки» классные шьет, знаешь, теплые зимние ботинки, но только дерет 800 рублей. Хорошие, на настоящей белой цигейке, до колен, в них уже ноги не за-

мерзнут. Шик-блеск. Последний писк моды. Фасончики из заграницы привозит. Но как же я могу отдать 800? У меня за два года только 700 накоплено на габардиновый плащ.

Знакомые ширмачи у меня, конечно, были. Но среди них ни одного сапожника. Была шляпница Мурочка, делающая шляпки. Шляпки из велюровых колпаков назывались «грибки», делались по одной и той же болванке на все головы и были одного цвета, если товар был Мурочкин. Была вязальщица кофточек, Туся Ивановна, берущая только за одну вязку 400 рублей (если товар был ваш). Она вечно изобретала «свои» фасоны и присваивала половину шерсти. Была знакомая абажурщица Катерина Максимовна, изготовляющая хорошенькие абажуры и не только оранжевого цвета. «Товар», разноцветные кусочки шелка, Катерина Максимовна воровала в инвалидной артели «Абажур», в которой она работала заместителем директора, совмещая эту должность с постом секретаря партийной организации (это строго между нами). Абажуры делались ночью, а днем (она ходила на работу только три раза в неделю) Катерина Максимовна для отвода глаз играла с мальчишками во дворе в начавший тогда входить в моду настольный пинг-понг и прогуливала белого кобеля. Был еще Василий Петрович, профессия которого определялась четырымя словами: «мастер на все руки». А сапожника ни одного...

9

Давно я на Патриаршие не заглядывала. И Кларка что-то не звонит... Последний раз звякнула она мне с работы из своего «ГлавВторСырья» месяца два тому назад, в феврале.

— Алк! Имею шанец убить медведя! — конфиденциально сообщила она. — Один фраер тут румынки предлагает!

Если бы Кларка стояла в тот момент около меня, я тихо толкнула бы ее в плечо и сказала бы «нет, ты шутишь!» Но в данном случае я ограничилась только интеллигентно-удивленным: «да брешешь!» и прибавила «сколько?»

— Всего пятьсот! — тихо шептала Кларка, зарывая (по моему предположению) свой длинноватый нос в черную сетку пластмассовой телефонной трубки. — По дешевке отдает. Хорошие, только немного жмут. У тебя какой размер? 36-ой с половиной? Ой, умоляю, разноси! Ну, недельки две! Почему дешево так? Да он портачит втихаря, налога не платит. Ну поэтому и дешевле берет... За строгую конспирацию... Только ты никому не брякни...

Это была главная новость.

10

Еле взбираюсь на третий этаж, отдуваюсь, отфыркиваюсь, отфукиваюсь. Вот Кларкина квартира на последнем этаже. Становлюсь спиной к двери и колочу в старую продранную с вылезающей паклей черную клеенку, каблуком своих белесо-коричневых микропорок из свиной кожи. Все тихо. Я знаю, что когда Исачок днем дома один, он ни за что не откроет, пока не подашь голос или условный знак.

— Откройте, Исак Моисеич, — шепчу я, надеясь, что он узнает меня по голосу, — Клара дома?

За дверью мышиный шорох, робкий поворот ключа. Все безмолвно. Затем, после надавливания коленкой, дверь тихо приоткрылась ровно на два сантиметра.

— Ну, а если вы так что? В чем дело? В квартире никого нет... Уходите себе...

На меня смотрит большой печальный черный глаз и желтый нос с черными точками. Обдает запахом сгоревшей картошки, жареной на «комбижире» и самыми дешевыми папиросами «Зенит», или, по народному «гвоздики».

- Да что...
- Тшш... Пустая квартира... Кларочка уехала и к Адель... и...

Кто кого перетянет? Коленка встречается с коленкой. Пакля мохнатой ватной бородой шуршит по каменным плитам и я насильно врываюсь в квартиру.

. Исак садится на соломенную корзину, крышка которой

от тяжести немедленно делает «собачий прикус». Он берет в ладонь нос, и, грустно закачав головой и глядя в одну точку, говорит:

— Подруга называется... Вы что, с луны свалились? Кларочку еще полтора месяца тому назад забрали...

У меня становится холодно в желудке. Исак согревает студеными пальцами ледяной нос. В квартире мертвая прохладно-мятная тишина. В кухне забыли завернуть кран. «Кап... кап... кап...»

— За что? Кто это может знать, за что теперь опять берут? Слишком бедовая...

Я еле отклеиваю ноги от пола.

— Ну, я пошла...

Бородка пакли печально-паутинно прошуршала мне вслед...

11

Я перехватываю повестку прямо из рук гнидообразного маленького мужчинки в черном пальто и кепченке с крошкой-козырьком. Ни расписки, ни подписи от меня не требуется. Он воровато передает мне повестку, я также воровато ее принимаю. Больше всего боюсь маминых, в три раза больше обычного ставших глаз...

— Тебя «туда» вызывают? Какой кошмар!

В повестке сказано, что «К-ой А. П. надлежит явиться по адресу пл. Дзержинского. дом № 1, 25 сентября, в 14 часов, в ком. № 606-А».

12

Ну, во-первых, ни в коем случае не надевать зеленого пальто, присланного еще в 1945 году в одном из так называемых «американских подарков». Занять у Нины ее старое, синее, сшитое еще до войны. Никаких шляп, быть в платочке. Губы не красить. Выражение лица — кретиноподобное. Репетирую несколько минут у зеркала. Повестку держать в вытянутой руке. Голос наивно-заискивающий, тоже идиотский.

13

У меня тихо дрожат потроха. «За дачу ложных показаний будете привлекаться к уголовной ответственности по статье такой-то Уголовного Кодекса Положения о Наказаниях в СССР».

- «Уголовный Кодекс» с большой буквы писать? проскулила я жалобным голосом.
 - Вам виднее. Студентка, а не знаете. Как же так?

Товарищ Силуянов — это фамилия моего следователя. Он молод, худоват, не высок ростом, особых примет нет. Белесоват с голубыми глазами. Мои показания пишет не очень скоро и курит папиросы «Беломор». Вместо того, чтобы тщательнее обдумывать ответы на его совсем не каверзные вопросы, чтобы случайно не засыпать Кларку, я не могу заставить себя не думать о том, почему он курит папиросы «Беломор». Ведь это почти самые дешевые папиросы, а «они», наверное, много денег получают...

- Значит, говорите, анекдотики всякие рассказывали? Что ж, это ничего, в компании молодежи почему и не рассказать? Т-а-ак... Какие же?
- Ну, вот, например, бегут две курицы, а за ними петух. И вот одна другой и говорит: «Послушайте, а не кажется ли вам, что мы слишком скоро бежим?»

Товарищ Силуянов улыбается. Совсем не ехидно и не противно.

- Потом еврейские всякие, честно говорю я ему, обливаясь солеными слезами, разные армянские загадки тоже, например: «Маленькое, беленькое, под столом валяется, на «Ю» называется, что это такое?» Еще...
- Так, так... Ну это нехорошо, нехорошо! У нас в Советской Конституции что сказано? «В СССР все национальности равны!» Изучали «Основы Конституции» в 7-ом классе? товарищ Силуянов потолкал кончиком сапога корзинку с мусором-бумагой, ну такие анекдоты нас не особенно интересуют. А вот вы с Прилуцкой в общей компа-

нии были, с поэтами там молодыми, писателями... Песни антисоветские Прилуцкая пела? Стихи Леонида Мартынова читали?

— Стихи ...нет... А песни все мы пели «Мамочка милая», и «Наверху живет модистка, увнизу живет портной...»

Товарищ Силуянов строчит заключение:

- Значит антисоветских анекдотов не рассказывала, о советской литературе всегда отзывалась хорошо, в личной жизни вела себя как вполне советский человек... Нахожусь с ней в дружбе с 1945 года, семья еврейская, но трудовая, мать...
 - Я не сказала вам «но»...
- Да ничего, чудачка, так будет лучше. Не повредит это, а поможет... И чего вы так боитесь каждого слова?

Рядом со столом товарища Силуянова еще один стол, пустой. На нем открытые дела. Открывается дверь и входит какой-то высокий, полный... с... симпатичным лицом.

— Послушай, Григорьев, будет мне когда смена, или нет? Ведь уже третьи сутки. На одних папиросах только и выезжаю... Не лошадь тоже, а человек...

Григорьев захватывает подмышку большую папку с делами и выскальзывает за дверь... Показалось мне или нет? Он, по-моему, мне состроил глазки... А этот, Силуянов, зачем он спрашивает про смену? Бросал бы работу, да и шел домой. Ведь «им» же, наверное, все можно...

Я ставлю свою подпись под написанным Силуяновым протоколом допроса и иду к молчаливому лифту. Бегу по длинному коридору. В одной комнате открыта дверь и я слышу разговор по телефону:

— Да ну их всех к чортовой мамаше. Надоело. Да, конечно, по горло, прямо утопаю в бумажонках... Ну, погоди, вот в воскресенье, если будет хорошая погода, на Шексну махнем, под Ногинск. Эх, и места там, закачаешься... Рачков наловим, пивка с собой захватим, воблы...Ты скажи своей Тасе, чтоб она на Сретенке в «Рыбном» за воблой постояла, или вашего Вовку послала. Да ну-у в школу... Пусть денек про-

пустит, справочку напишем... Вчера разгружали, сам видел, привезли пять ящиков, а продавщица знакомая сказала, что торговать только сегодня, с пяти вечера начнут...

Это еще что? «Они» тоже стоят за воблой, как и мы, простые смертные? Куда я попала?

**

Гражданку К-ю, А. П. больше на Дзержинку не вызывали. Наверное, как говорили в старину, «за крайней глупостью свидетельницы».

14

Почти год прошел после того, как в квартире у Прилуцких раздавалась «Мамочка, милая», и был разговор о «румынках», почти год прошел с тех пор, как арестовали Кларку. С тех пор я абсолютно ничего не знаю о ее судьбе. Как-то Шура Попов, наш общий приятель, студент Литературного Института Им. Горького, вечно пьяненький поэт, печатающий иногда свои стихи в «Комсомолке», «Московском Комсомольце» и кое-каких журналах, сообщил мне по секрету, что его «вызывали».

- А тебя? Нет, случайно?
- Ты что в своем? Даже и в помине...

Среди общих знакомых о Кларке никто ничего не знал. Только ее семье могло быть что-нибудь известно, но к ним заходить боялись, а Лина никому не звонила уже около года, все время пока тянулось следствие. Шел декабрь 1951 года... И, наконец...

- А-ал-л-... К теле-фону-у-у...
- Это я, Лина, Кларина сестра, не забыла меня еще?
- Линка, ты? Ну, Слава Богу, а я уж думала ты пропала безвозвратно... Ваш Исак ведь мне тогда не велел к ва...
- Я знаю, знаю, торопливо, но знаешь, давай встретимся где-нибудь на нейтральной почве, ну, так, чтоб и тебе было близко и мне. Ну, хоть, у Красных Ворот, за метро, в Боярском переулке. Ладно? Сегодня, в 10 вечера...

15

Холодно в Боярском переулке. На стыке огромного Садового кольца и четырех улиц ветер так и гуляет и сквозняк страшный... Лина вся дрожит в старом, еще детском пальто, в котором, я помню, она еще бегала в пятом классе. Пальто зеленое, с каким-то воротником из невиданного меха, черного в желтую полоску. Мех называется «лира» и Лина говорила, что он как-то по особому пахнет и все девочки в школе нюхают воротник по очереди. Пальто досталось ей еще по наследству от Кларки. Рукава чуть не до локтей.

- Лин, ты вся дрожишь, давай лучше зайдем в парадное.
- Нет, знаешь, лучше в аптеку. Я здесь практику проходила, сделаю вид, что зашла навестить, если заметят. Тут все знакомые.

В теплой аптеке Лина отогрела холодные руки перед батареей и замерзшую душу передо мной.

— Ведь я работаю, знаешь? В Фарм-Институт направляли, были все шансы попасть. Но хоть и повышенная стипендия отличника, а на 250 не проживешь. Пошла работать. Все-таки 560. И так удачно получилось. На углу Улицы Горького и Площади Пушкина старая провизорша в аптеке умерла и меня туда. От дома в двух шагах.

Пока около нас вертится народ, мы боимся говорить о Кларке и нарочно громко тараторим о посторонних вещах, пожирая друг друга странно раскрытыми лживыми глазами. Но вот, наконец, мы остаемся одни. 11 часов вечера, аптека почти пустая... Уборщица медленно возит по желтовато-белому кафельному полу огромную тряпку-мешок, навороченную на голую палку бывшей половой щетки. Приятно-уютно пахнет лекарствами.

— Кларке дали пять лет. Меня вызывали, Муму и Исака нет. Письмо от нее получили только, когда приехала она на место, в КОМИ АССР. Сейчас вот уже полгода там.

Лина положила мне на коленку свою хорошенькую, как у Кларки узкую египетскую ладошку и прошептала:

- Мама уже один раз ездила к ней. Только ты смотри, никому...
 - Как ездила? Туда? Разве можно?
- Тшш.. Не вопи так, Бог мой... С прямыми родственниками дают свидание, а уж если дашь что-нибудь... Как мне пригодилось, что я в аптеке работаю... Знаешь, нас научили... Одна женщина, с которой мы связались. У нее сын там же сидит. Она научила повезти что-нибудь дефицитное, ну, узнала, что я в аптеке работаю и говорит: «Господи, да вам даже думать не о чем! Если привезете уродан, стрептомицин, понтапон или поливитамины, так не только свидание разрешат, а еще и в ножки поклонятся». И правда. За этот уродан и здесь, в Москве озолотить могут. Вот на-днях, один полковник за мной после работы до самого Ермолаевского бежал: «Девушка, милая, что хотите возьмите, только устройте мне уродан, ну, хоть две бутылочки, жене необходимо. Я вас отблагодарю». Ну вот вроде как-будто и неудобно, и нехорошо налево работать, а потом, смотрю, не только наши девочки-фармацевты, а даже управляющая аптекой сама это делает и часть самых дефицитных лекарств всему персоналу, даже уборщицам отпускает для своих нужд. Конечно, спекулировать, деньгами, за него втридорога брать нельзя, ну а подарки принимаем. Какая же это спекуляция или взятка? Он мне огромную коробку шоколадных конфет принес. А жена его потом прибежала и тоже от себя лично набор духов, «Подарочные», и отрезик венгерского креп-марикена на блузочку... Ну, духито... вроде для меня и жирно такими душиться. Спрятала я их в шкаф, поглубже в белье, знаешь, чтобы не выдохлись. Будут Кларке, когда вернется, она любит попижонить. А сами-то мы с Мумой «Фиалку» или «Цикламен» за шесть двадцать покупаем и надолго хватает. Ну, марикенчик, конечно, потрясный. Я по расцветке сразу поняла, что заграничный. В коммиссионку на Сретенке и отнесла. Заграничные вещи там не принимают, но это если марка есть, на готовых вещах. А на отрезе какая же марка? Оценщица так и загорелась. 200 рублей дала и в тот же день продано было. Представляешь?

- Ну и продешевила!
- Ой, почему? Лина испуганно закосила. Румянец пополз почти к самым нижним ресничкам.
- Да разве, дурочка, с заграничными вещами так поступают? Что же ты теток у прилавка не видела? Они же всех с заграничными шмотками перехватывают! Да и сама оценщица дала бы больше, если б свидетелей не было. Торговаться надо было с ней, балда!

Лина огорченно отвела глаза, покраснела еще больше и обиженно засопела.

- Да, торговаться... Боюсь я... Мало нам? В два счета заберут. Она посмотрела на меня полуумоляющими глазами. Знаешь, тут одна мне обещала кофточку чешскую, рукавчик японкой и круглый воротничок, ту, что в магазине 100 рублей стоит... за поливитаминчики.
- Лина! И молчит! Какой размер? 46-ой? Самый ходкий! А цвет? Фиолетовый? Да я тебе в одну минуту покупателей найду! И меньше двух с половиной сотен не возьмем.

Лина благодарно хмыкнула.

- Ну, ладно, рассказывай лучше про Кларку, она-то что там?
- Что же Кларка... Там то же самое... Начальник лагеря, после того, как мама ему десять бутылок уродана дала, Кларку с копания каких-то ям в бухгалтерию перевел. Работает теперь там среди приличных людей. Даже вольнонаемные есть. Это так называются те, кто сначала в лагере сидел, а по отбытии срока туда же работать поступил. Очень приличные люди, старик один, чуть ли не меньшевик какой-то с женой, мама называла фамилию, да я забыла. Меньшевик! Представляешь, какая древность? Они Кларку очень полюбили... Так что пока ей не плохо. Знаешь, ей засчитывают один день за три. Это там какие-то зачеты. Раньше, когда она копала для зачетов этих надо было норму не меньше, чем на 150 процентов выполнить, ну хоть на 151! И теперь ей продолжают засчитывать, но это уже по блату. Так что срок у нее сократится на треть...

- Ну, Линка, так за что же ее, все-таки, посадили?
- Ума не приложим. Лина вздохнула. Формально за коллективное расхищение государственной собственности. Коллективное! Этого «коллективного», нам один юрист говорил, теперь больше всего боятся. Помнишь румынки? Сапожника этого вскоре после того, как Кларка у него купила румынки, арестовали. Обвинили в какой-то спекуляции кожей. Как-будто эту кожу он где-то воровал с соучастниками. Ну, а какие же соучастники? Он, наверное, на своих клиентов указал, вот Кларку и схватили... А знаешь, в лагере ее все зовут «Кларка-террористка».

Лина мягко хихикнула.

- Это еще почему?
- Господи, да разве она скажет? Мама спрашивала, но она только смеется и говорит, что здесь у всех есть прозвища. Пока что нам, Аллочка, самим ничего не понятно...
 - Ну, а посылки как? Что можно туда посылать?
- Принципиально в лагерь присылать можно что угодно, за исключением оружия, алкоголя и наркотиков. Лина перевела дух, дословно процитировав наизусть правила «Об отправлении посылок в Исправительно-Трудовые Лагеря СС-СР».
- Слушай, я тебя прошу, возьми хоть двадцатку и от меня ей что-нибудь, ну хоть баночку шпрот или две плитки шоколада, а то можно...

Лина перебила меня, засмеялась.

— Ну что ты? Шоколад... Чудачка... Сначала посылки совсем пустые доходили, гремели, как сухой горох в погремушке. Всё решительно вынимали, всё, особенно консервы и сахар. Вообще продукты. Только книги и оставляли. Теперь немного получше, потому что знакомство с начальником, но всё равно, Клара просит, шлите только все самое что ни на есть дешевое.

Лина вдруг нагнулась к самому моему уху и прошептала:

— Ал, я тебе позвонила потому, что она про тебя у мамы спрашивала. Беспокоится, что... может... тебя «туда»

вызывали. Тебя не трогали? Нет? Ну, Слава Богу! — по-старушечьи сказала Лина, закатив косоватые глазки. — Но ты все-таки не обижайся, пока адреса ее я тебе не дам. Вот выпустят ее, тогда напишешь, а не побоишься, так и поехать можно будет. Подождем до лучших времен, даст Бог все изменится...

- Как дома-то у вас?
- Да все по-старому, Мума бегает в свою прачешную. Исачок сидит взаперти. Я даже не представляла, что он будет так переживать. Когда ее забрали, он сначала нам покою не давал. Пойду да пойду хлопотать! Потом новая идея у него с Мумой появилась, решили Сталину письмо писать. Это Муме Дарья посоветовала, с которой она в прачешной работает. Появилась теперь эта мода, строчат Сталину все, кому не лень. Дарья рассказывала, что у ее племянника, в Яхроме он живет, приусадебного участка не было. Купил дом без земли, ну и как ни просит, хоть бы немножко дали — ни в какую. Вот писали они Сталину и, представь, приехала комиссия и нарезали им три сотки! Ну, конечно, она Муме покою не давала. Пишите, может быть поможет он и вам. Ведь воображают, что Сталин сам все письма лично читает, как-будто ему делать больше нечего... Ну, Исак сочинял, я переписывала и носила. Принимали в башне около Манежа, знаешь, напротив бывшей приемной Калинина. Вежливо приняли, сказали известим, ну и извещают до сих пор... Всё перепробовали... А Исак сначала по целым неделям молчал, а сейчас осмелел, ругаться начал... Аделька-то, дочь его, наша двоюродная сестра, ведь ему деньги посылала. И теперь шлет, но из другого города и под какой-то чужой фамилией... Боится, муж-то у нее директор какой-то стройки...

16

Прошел еще год. Вдруг москвичи стали сходить с ума. Нашли-обрящили новый витамин. Рецепт? Взять сырую черную смородину, пропустить ее через мясорубку и смешать с сахарным песком. Сколько чего брать? Так на так. Кило-

грамм черно-смородиновой каши на килограмм песку. Ви-тамин готов.

— «Са-а-мородинки! Кому са-мородинки?» — непривычно-вежливо поют бабы-торговки. Бабы? Это когда-то «самородинкой» торговали на рынке бабы, а теперь только ходи да оглядывайся: не встретить бы ненароком знакомую жену профессора или артистку за прилавком. Вам становится стыдно, а ей? Что же стыдного? Со своей дачи, не ворованное...

Как-то, покупая на Палашевском рынке эту пахнущую клопами ягоду, я увидела стоящую около мясного ряда Лину. Она прислонилась к деревянной стене, держа в руках старую, всю в узлах, авоську с несколькими штучками тонкой, как мышиный хвостик моркови, свеклы и парочкой огурцов. Лина отчаянно зевала во весь рот, и аккуратненько вытирала кончиком мизинца навернувшиеся на косоватые глаза слезы. Что это она стоит, как сирота? А, а! Под навесом деревянного ряда, около старика-продавца стояла Мума и яростно выторговывала у него четверть пожилой, желтоватопергаментной курицы.

- Ну, за что же я вам дам пятнадцать рублей? кротко, но упрямо разводила руками Мума. Что тут будет кушать на пятнадцать рублей, когда она выварится? Как кот накакал... И, кроме того, она, наверное, уже была моего возраста, пенсионерка... Никудашная...
- Дак гражданочка, весело звенел старикашка, А как же? За цыпленка я с тебя бы всю тридцатку сорвал! Да когда мы с тобой молодые были, то и за нас дороже давали. А уж сейчас, милая моя мамаша, по товару и цена. По Сеньке шапка, по ядреной матери колпак!
- Ну, хорошо, четырнадцать и дело с концом. Бер**у** и ухожу.

Мума начинала делать вид, что она собирается открыть свою сумочку. — Ну, так как?

— Не пойдет, не пойдет, уважаемая... Ну, хоть накинь ты еще полтинник и дело с концом. Ну, накинь! И твоя тогда. Бери. Хоть и себе в убыток, ну, ладно, для хорошего человека не жалко. Бог с тобой. Вот тебе еще кучка щавельку. Наваришь с курятиной. Бесплатно даю. Для почина.

- Щавель! радостно ухает Мума. Нет, я сварю холодный борщ!
- Господи, мама, тихо прошептала Лина, вытянув шею по направлению Мумы, ну, как тебе не стыдно! Мне уже просто надоело тебя ждать. Дай ты эти пятьдесят копеек и пойдем уже, наконец...

Старикашка вопросительно поглядел в сторону Лины.

— Дочь. — С удовольствием объяснила Мума. — Стыдно, ей видите ли, когда мать на базаре торгуется, так она всегда в сторону отходит, а я приценяюсь. А то с ней покупать ничего невозможно, все скорей да скорей.

Старик добро улыбнулся.

— Стыдно! Чего же здесь стыдного, барышня? — говорит он, ритмично вертя головой из стороны в сторону, стараясь развязать зубами бабий платок, в котором была завязана мелочь, чтоб отсчитать Муме пятьдесят копеек сдачи (сошлись на четырнадцати с полтиной). — На то и рынок, милка моя. Мое дело свой товар похвалить, а твое дело его охаять! Мое дело запросить, твое дело — цену мою сбить! Это уж так испокон веку... А уж стыд здесь совсем не при чем...

Мума заворачивает курицу и щавель в прихваченную из дому чистую накрахмаленную тряпку и они с Линой выплывают из под навеса-треугольничка... А я тут как тут.

— Мумочка, Лина, милые, здравствуйте...

Мума, прострелив глазами меня и дочь, ловко шмыгает за будку «Промтовары».

- Ну, как же это так могло получиться, что ты «случайно» оказалась на базаре? И кто это поверит? Мума угрожающе смотрит на Лину. Подстроила? Подговорила меня придти в то же самое время, когда они, Мума и Лина, выйдут в воскресенье купить немного овощей к обеду?
 - Мумочка, да вот вам крест на пузе, случайно я здесь!

Сказала мне соседка, что на Палашевском рынке смородина самая дешевая я и пришла сюда... И рада, очень рада, что вас встретила, ведь почти два года...

Мума прислоняется спиной к двери лотка. Из глаз ее сыплются меленькие чистенькие слезки. Плакать или радоваться? Мы все трое точно не знаем. А в чем все-таки дело?

- Кларочка вышла там два месяца тому назад замуж. Уже и внучка есть. Конечно, по старым понятиям немножко рановато для приличной девушки, но ведь там не так, как на воле. Он уже вышел. Врач. Работает в медпункте. Расписались они или нет, я не знаю, прорыдала Мума, но она пишет «вышла замуж» и все.
- Боже мой, так что же плакать? Конечно радоваться надо. Что с вами?

Мума продолжала хлюпать.

- Не довелось, чтоб все было у нас прилично, как у людей. А кроме того я боюсь. Он будет ее бить. Он русский. Леша Бойцов.
 - Мума, вы с ума сошли. Причем тут русский?
- А, вот тебе и причем. Конечно, я ничего не говорю, может быть твой папочка и не дерется, но вся молодежь кругом...
- «Может быть!» Мумочка, что вы? Сию же минуту улыбнитесь и скажите, как зовут вашу внучку и сколько ей... Мума начинает тихо таять.
- Назвали Неличка. Ей сейчас уже шесть месяцев. Я была там последний раз давно, год тому назад... Но Кларочка мне ничего не сказала... Ой, кошмар, кошмар, что там я нагляделась, не дай Бог врагу. Ну, уж не знаю, что с ней будет! Ведь только подумать выйти замуж за заключенного!

Лина вдруг посмотрела на меня ну точно так, как когда-то смотрела Кларка, когда Мума, по ее понятиям, начинала лепить ерунду.

- За заключенного! А Кларка какая?
- Ну, Кларочка сидит ни за что, это все знают... Тогда каждого десятого хватали, а...

Тише, Мумочка, в этой палатке, наверное, кто-нибудь есть.

— Не страшно, тут один знакомый еврей торгует.

17

— Да проснись. И в кого это ты так любишь дрыхнуть! Смотри, амнистия! Амнистия почти всем! Ну, наконец! Дождались! Нет худа без добра. Сталин умер, а новое правительство вот амнистию дало... Теперь и твоя Кларка выйдет...

Мама взволнованно кинулась в кухню снять с огня нашу любимую вареную картошку в мундире, а мои ненаглядные кильки уже давно стоят на столе.

18

Я звоню Лине в аптеку. Она радостно щебечет о том, что и сама хотела вот только сейчас, только сию минуту мне позвонить, вот уже протянула руку к трубке, как раздался мой встречный звонок. Какое совпадение! Сама Мума велела мне передать, чтоб я приходила в это воскресенье. Приглашаем ради такого счастья тебя и Шурика Попова к обеду. Мума спрашивает, что бы ты хотела «к столу». Только рыбу не заказывай, а то она уже второй день ищет и безрезультатно. Орешки из теста в меду? Хорошо. Это называется «тейглах». Если удастся достать одно яичко и мёд — обязательно сделает.

19

В двух крошках-комнатах — нарядная тишина. На окнах белоснежная марля, заменяющая занавесочки. На столе стоит желтоватая, накрахмаленная до дурноты скатерть. Мума ею гордится. Эта скатерть вышита тамбуром и куплена до войны в магазине «Стандарт» на Кировской улице за 25 рублей. Она возлагается на стол только в особо важных случаях. А тде же машина «Зингер», приобретенная еще в Катеринославе Муминым папочкой? Где русский самовар, на 30 стаканов,

стиля «Гей, Славяне», подаренный к свадьбе Мумы ее хорошей знакомой, веселой украинкой Ольгой Хвилипповной? Той Ольгой Хвилипповной, которая однажды, осудив кого-то сказала: «У нее, извините, было грязно даже под коленками!» Ничего нет и комната почти пустая. А фисгармония красуется на том же месте. Видно, даже по дешевке никто не захотел взять старую каргушу... Все, все продано, все ушло на посылки и взятки.

— Ну, нет, за вещи я ничего не говорю, — храбро воркует Мума, — если даст Бог, все живы будем — наживем... Что значит взятки? Конечно, деньги все любят. Вот я помню, еще до революции, когда я с мамой ездила бывало гостить к ее брату в Севастополь и мы с ней ходили на привоз, то даже татары, когда мы торговали у них брынзу, всегда говорили: «когда деньги есть — так сыры беры, а когда деньги нет, — сыры назад». Это до революции, когда жизнь была райская, и то люди были так падки на деньги, так что говорить об теперь?

Я сажусь к столу, чувствуя, что оцарапала себе ногу крепкими слипшимися накрахмаленными кистями скатерти. Я протятиваю руку, алчную руку к прянику в меду, который называется смешным именем «тейглах» и только собираюсь открыть пасть, чтоб отправить туда кусочек, как Мума подпрыгивает и вскрикивает:

— Ну, как же это я могла забыть самое главное! Ведь от Кларочки есть телеграмма. Только... Аллочка, ты иногда говоришь умные вещи, так как ты мнишь, что это значит? Лина сказала, что не надо обращать внимание, а у меня всетаки сердце не на месте, вот...

Мы с Шуриком вытягиваем головы и смотрим в телеграмму, помятый кусочек бумаги, на котором написано: «Волнуйтесь. Подробности письмом. Клара». И сколько я, иногда говорящая умные вещи, не убеждаю Муму, что я «мню» положительно, а телеграмма шуточная и что даже есть такой анекдот, она недоверчиво покручивает головой... Конечно, все знают, что Кларочка очень, даже чересчур веселая, но теперь

такое время, мало ли что? Щурик же Попов, тихо улыбаясь поглощает пастилу «Зефир», хрустящие сушки и рассыпчатое печенье «Мария». — А вы все чего-то другого от Прилуцкой ждали? Ее типичная очередная хохма...

- Мумочка, а почему так мало народа? Уж не могли кого-нибудь еще позвать! Все были бы рады обмыть такой случай!
- Евреи говорят: «чем меньше народу, тем больше праздник!» радостно и к месту мгновенно вспоминает Мума.

20

Что это? В Москве какая-то страшная болезнь, испанка, грипп. Помню, бабушка говорила: «гриб» какой то у них теперь появился... Что за «гриб» такой выдумали большевики эти? Раньше сколько жили, ничего об этом «грибе» и не знали...» 40 температуры. В голове что-то плывет, плывет, одна мысль только начинает что-то бормотать мне на ухо, а другая уж подбегает и тихонечко ее толк... и сама — на ее место. «Мамочка милая»... Ах, да, мамочка... Только не Кларкина, а моя... Она подошла к письменному столу и покрыла газетой зеленый стеклянный абажур, на внутренней белой стороне которого в детстве я писала всякие хулиганские слова... А в газете нарисована карикатура на какого-то японца и он оскалился так страшно... Я только хочу что-то простонать, как вдруг слышу тихое тук, тук, тук,... Ой, это поезд, Кларка едет... Да, да «наверху живет модистка, увнизу живет портной»... Н-е-е-т, это не Кларкин поезд, это наверху портниха Анна Михайловна строчит на машинке... Шьет, мерзавка, а сама во все горло поет «Люблю, друзья, я Ленинские Горы», модную песенку... Поет для того, чтоб стук машинки не услыхали соседи и не донесли фининспектору, что она работает «налево»... Потом опять перевожу глаза на японца, а его уже там нет... Что это? Какие-то две тоненькие кикиморы, похожие на Буратино из «Золотого Ключика», взявшись под ручки весело танцуют, отбивают чечетку. Господи, это еще что? Я боюсь! Чего же бояться? Дурочка. Тут смеяться надо. Это

Кларкины подружки, Кнейдлах и Тейглах, взялись «об ручку», как говорит наша баба Соня, да и пляшут... А где же эти полсотни, которые я спрятала в книгу «История Русской Литературы» Пыпина, в которую никто никогда не заглядывает? Папа рассказывал, что купил ее когда-то на барахолке у Китайской стены. А Китайскую стену я и сама помню. В последний ее год. Бабушка купила мне там за четыре рубля башню из красных, желтых, зеленых и синих колечек у хромого старика-кустаря. Я тогда ревела часа два, пока бабка, наконец, полезла куда-то в юбки за деньгами... А полсотни я спрятала, чтобы купить Кларке немного цветочков, когда побегу на вокзал ее встречать. Ведь уже, кажется, весна на дворе, так уже и цветочки... И вдруг:

21

- Наше вам с кисточкой! Вы случайно не знаете, где здесь можно сделать на заказ хорошенькие румынки?
- Кларка! Ой, Кларка! Чортова Кларка! Дьяволица! Наконец-то! Ну, почему ничего не сказали, не предупредили, не позвонили? Линка, нахалка, ведь обещала... Такая стала, да? Ладно, ладно... Когда приехала, как себя чувствуешь, где муж, дочка? Хорошенькая? Неужели ей уже два с половиной года? Всё говорит? Ты шутишь... Неужели? А ты все такая же, ну ни капельки не изменилась. А Исачок, Мума что? Рады? А как же теперь насчет работы? Полностью восстановят? А Шурка Попов знает уже или еще нет? Эти вопросы сыпятся с моих уст с быстротой шелухи «подсолнушков», слетающих с губ веселой торговки-украинки, торгующей в соседнем переулке.
- Тшшш, вам звонила Линка, но мама твоя сказала, что ты свалилась с гриппом и они решили тебе ничего не говорить о том, что я приезжаю. А то бы ты еще вскочила, побежала... Линка тебе вот биомицин достала, за ним теперь драка. Нам не нужно, у нас теперь все переболели... А Мума тебе посмотри что прислала. Кларка развернула сначала газету, потом вложенную в нее белую бумажку в две линеечки, вы-

рванную из школьной тетрадки, а уж в той... тейглах. Это тейгл-Ах? А кнейдл-Ах где? Ах, ах... Они мне тут на днях снились... Плясали тут, тишину нарушали...

22

Через три дня я встала. Несколько дней тому назад умирала, а сегодня встала, как ни в чем не бывало. Мама подло хихикнула: правильно говорят, что на женщине все равно, что на кошке. Когда я, чтоб отомстить ей, заявила, что чувствую себя очень слабо, но немедленно ухожу одна к Кларке, а когда вернусь — не знаю, она захныкала, что пойдет провожать меня до метро. «А вдруг в обморок упадешь? Мало я с тобой мучилась?» Потащилась все-таки. Доеду до площади Маяковского, а там Кларка у выхода на улицу встретит. Остановилась у лотка «Кондитерские Изделия» на пересадочной, у Библиотеки Ленина. Вспоминаю разговор с дочерью Кларки, Нелькой. Знакомство, заочное, по телефону, уже сделано.

- Как тебя зовут?
- Неля-я-я...
- Ты хорошая девочка? Маму слушаешься?
- А то нет?
- Что ж ты сегодня кушала?
- Черную кашу и хлеб...
- А я к тебе скоро в гости приду, хочешь?
- Ладно, приходи...
- Что тебе купить?
- Ты пупи шоколадный батончик или «Ну-ка, отними». Только надо не одну штучку, а сто грамм...

23

Я ожидала увидеть притихшую, соболезнующую компанию, тихо сидящую за знакомым столом, покрытым твердой скатертью-солдатом и скорбно выслушивающую Кларкино и Лешино повествование об их мучениях в лагерях. На всякий случай и сама приготовилась в любой необходимый момент скроить скорбную физиономию. Ничего подобного! Кларка

попрежнему полна жизни и ее веселый голос разносится до самого Ермолаевского переулка. В передней пальто уже некуда вешать и они кучей навалены на соломенную корзину, а гости разбежались. Кто-то из мужчин выскочил до ближайшей палатки за «белой головкой», особы женского пола помчались за закуской и, кроме того, купить что-нибудь «для ребенка». Лина и еще несколько девиц помогают Муме на кухне «разделывать» селедку. Хорошую, безголовую, с молокой... Линка даже по такому торжественному случаю командует:

- Вот, значит после, мама, ты покрошишь сюда лучку, редисочки, потом уксуса и масла, и все в порядке, только прошу тебя, не трогай ты, пожалуйста, руками кран.
- Ну, хорошо, хорошо, не командовай, со счастливым видом говорит Мума, нарезая, подпрыгивая, уже десятый батон. Я вижу, что на ней новые чулки, новые серые парусиновые туфли и белый воротничок, которые надеваются ею только на праздники: 1-ое Мая, 7-ое Ноября, дни рождения и на Новый Год.
- А все же, Линочка, нехорошо, что Кларочка Раечку Авруцкую не позвала, ведь когда у Раечки была свадьба, то она Клару пригласила. Авруцшиха скажет, что мы свиньи и она будет права...
- Ну не позвала, значит есть причина, вечно ты мама... непривычно для моего уха вдруг отрубила Лина. Что это с ней? Разошлась...

Мума выскакивает из кухни и обнимает меня.

— Ну, выздоровела? Новое дело! Вздумалось ей вдруг болеть.

Мума кокетливо-радостно вытягивает губки трубочкой.

— Да, самое главное, а где ваша Нелька?

24

Нелька сидит на полу в комнате, на теплом квадрате паркета, залитом солнцем. Ножки скрещены по-турецки, а ручки скоро скоро перебирают педали фисгармонии, из которых поднимается пыль и стоит зеленовато-золотым косяком в воздухе. Это Нелька? Нет. Это маленькая Лина с глазками, чуть косящими от радости того, что она существует на этом свете, и что завтра ей купят у метро (если будет хорошей девочкой) кедровых орешков. Косоватые глазки и маленькие египетские ручки. Она увидела меня, хмыкнула и мазнула пыльной лапкой себя по мордочке.

- Батюшки мои, как же это может быть, чтоб ребенок был так похож на тетю? Не на отца с матерью, а на тетку?
 - А-к, еще как бывает, вот у нас в Катеринославе...

Муме не дают кончить. Лина садится на корточки около Нельки и робко лезет к ней целоваться. Нелька снисходительно подставляет кончик уха,

Кларка здесь же.

— Д-а-а..., прямо скажем, чтоб да, так нет... Когда ее в родилке ко мне принесли, я посмотрела, да и говорю: «Моя? Да быть этого не может. Я красавица, муж тоже ничего, а вы мне китайчонка приносите? Нет, нет, подменили». Хорошо, что врач старый, шутки понимал. Ну, потом она выровнялась симпатяжкой стала... Отчаюга страшная, уже всех ребят на Патриарших к рукам прибрала, заставляет себя на качелях качать. А дети, вся соседская ребятня, уже и прозвище ей дали — Мао-Дзе-Дунчик. И «Москва—Пекин» целый день под окнами поют. Это Авруцкая, старая колбаса, их учит, чтоб Муму позлить.

Вваливается человек десять, все товарищи и приятели Кларки. Многих я не видела около 4-х лет, то-есть с того момента, как Кларка исчезла за «румынки». Все мы радостно повизгиваем, бросаясь в объятия друг к другу. Но радостнее всех Мума. Она широко открывает дверь соседней комнаты, из которой вынесены кровати и шкаф, чтобы уставился один общий стол, составленный из трех, существующих в доме, и радостно восклицает:

— Ну, дети, садитесь уже за столом...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

- Так ты и правда не злилась на меня? А я все время думала... Ведь мне посоветовали, вернее еще до этого я знала, что если будут спрашивать на допросах о знакомых, то надо показывать на самых хороших людей, кто уж точно что не продаст... Ну, я на тебя и... Так и знала, что ты там или ерунду понесешь, или будешь от всего отпираться... Шурка По́пов (Кларка упорно произносила его фамилию нарочно с ударением на первом О, но он к этому уже давно привык и восхищался ее остроумием) тоже молодцом оказался. Силуянов этот мне потом говорил, что ты весь допрос проревела белугой. Чего ты? Тебя ведь не трогали?
- Ну, нет, что ты? Еще чего не хватало! Трогать? За что же? Я не знаю, как тебе, а мне он даже показался симпатичным, правда?
- Конечно, очень симпатичный. Симпампончик. Хороший парень, на все сто! Все зубы на допросах мне выбил, погляди...

Кларка распахнула свою мухоловку (то-есть рот) и я увидела, что у нее там не хватает штук шести боковых зубов.

— Бил меня, сволочь, а сам орал: «Говори, сука, устраивала террор против советской власти или нет?» «Какой террор, ору, ведь меня за румынки...» «Знаем, знаем мы, какие румынки, вот ща как дам в тлаз...» На каждом допросе избивал... Я тебе говорю, что я никогда не верила, что там бьют и чуть с ума не сошла... Только ты Муме не говори, что меня били, я не хочу, чтобы они знали... Ну, а Исачка не проведешь. Когда я вернулась, то он первым делом завел меня в кухню да и спрашивает: «Ну так как, Кларка? Печенки хоть у тебя целые?» И знаешь, заплакал... Жутко так было смотреть. Вот, Алка, как в ОргАнчиках с подследственными-то обращаются... А мы тут в это не верили, думали, что врут все... Пока на своей шкуре не испытаешь, так... Да, сначала, значит, он меня этим террором мучил, а потом пришили «Кол-

лективное расхищение государственной собственности». Вот из-за этого террора меня в лагере и прозвали Кларка-Террористка. Ну, Муме я, конечно, об этом ни слова. Хватит им. Ну, а теперь, слава Богу, все это позади и даже и вспоминать не хочется.

- Ну, а Леша твой?
- Да что Лешка...

2

Леша Бойцов был ленинградец. Ему сейчас 35 лет. В 49 году он жил со стариком отцом, врачем по профессии, на улице Марата (бывшая ГрязнАя), недалеко от Пяти Углов и кончал Медицинский Институт. Жили очень тихо и мирно. Леша носил синий берет с «пупочкой», куртку на молнии и курил уже даже не старую, а старинную трубку. За это все мальчишки со двора прозвали его «шотландец», так как кроме вышеупомянутого нарушения канонов советской одежды он любил иногда на короткий срок, чаще всего во время сессии и летних каникул, отпустить небольшую бородку и усы. Его лицо при нашей первой встрече мне страшно кого-то напомнило. Господи, кого же? И он не разрешил мне мучиться.

— Знаю, кого вспомнили, портрет Добролюбова из нашего учебника литературы Зерчанинова и Райхина за 9-10-й класс? Меня все этим сходством замучили совсем. Прическу что-ли переменить?

До десяти лет отец умершей матери читал Лешке «Маленький Лорд Фаунтлерой», и «Две Девочки и Один Мальчик», но как только дедушка умер, парень отнес «девочек и мальчиков» в антикварный на Литейном, и засел за отцовскую полку. Потом в школе, на переменке, когда другие зубрили к очередному уроку, он тихо подборматывал стихи Белого, Брюсова... и еще кого-то и чего-то, включая строчки из Евангелия. Но ни слова из последнего он не понимал. В голове была сплошная муть и каша. Кто был виноват в аресте Леши Бойцова? Не поверите. Известная всему миру (но не СССР) русская балерина Анна Павлова и А. И. Герцен.

Ия Леонидова, Лешина приятельница и дочь товарища его отца, училась в знаменитом Хореграфическом училище на улице Росси, позади Александринки. Была тонкой и миловидной, задумчивой и томной. Пережила блокаду в Ленинграде и поэтому никак не могла отделаться от своей прозрачновосковой бледности. Это был последний год обучения в училище, и ее обещали зачислить в балетный состав Мариинского Театра. Родители Ии, оба артисты, умерли в блокаду от голода, так что она осталась круглой сиротой и Бойцовы считали ее родственницей. Началась вся история тогда, когда девочка в кого-то влюбилась, а этот «кто-то» оказался «трепачом», да еще и «женатиком». Об их романе узнали в училище. И началось... Может быть дело ограничилось бы только «открытым партийным» собранием и публичным посрамлением обвиняемых, но Ийку угораздило потерять, готовясь к экзамену по русской литературе, библиотечную книгу, «Былое и Думы» Герцена. В самый разгар этой истории. Оставила где-то в одной из аудиторий и книга мгновенно исчезла. Доска с объявлениями о пропажах висит внизу, в вестибюле. Надо и ей поместить, но что-нибудь поостроумнее, в стихах. Сама она стихов никогда не писала и кинулась к Лешке.

— Напиши, но только что-нибудь посмешнее! Не могу же я, в самом деле, платить им за утерянную книгу в троекратном размере.

Объявление о пропаже «Былого и Дум» в стихах было готово в секунду. Через день оно появилось на доске объявлений:

Поймите, поймите, несчастье какое! «Былое и Думы» утеряны мною, «Былое» — уж ладно! Но «Думы»! Поймите! И мне хоть пол-книги назад возвратите!

Объявление читали все, студенты, преподаватели и прочие служащие. Очень хохотали, конечно.

Дело Ии Леонидовой втянуло в себя многих ленинградских студентов... Надо было бы сказать, «втянуло, как в омут». Но разве сравнишь романтический омут с помойной ямой? Об-

винение ей было предъявлено в «моральном разложении», но на суде главным образом напирали на ее якобы антисоветские взгляды, которые выражались в увлечении творчеством Анны Павловой, о которой Ия собирала материал, чтоб помочь подруге из Театрального Института писать дипломную работу. Это что за Анна Павлова такая? Балерина? Не слышали о такой... Ну, Уланова, Лепёшинская, это всем известно, а Павлова... Ах, эмигрантка? То есть, вы хотите сказать белогвардейка? Ясссно... Так бы и говорили... А то балерина... А ваши родители кто были? Ах, тоже артисты? Тааак... Ну, что ж. все ясно. Из бывших... Недаром в стишках о пропавшей книге: «Былое» — уж ладно... Но «Думы!» Это какое же «Былое» и какие такие «Думы»? Что ж это такого хорошего у вас было в былом, о чем вы сожалеете? И о чем ваши «Думы»? Кстати, стих-то этот кто написал? Товарищ?.. Не смешите, гражданка Леонидова! У вас все ваши любовники, наверное, товарищи. Кроме того и имя у вас какое-то странное. Вы какой нации будете? Русская? А что же это за имя, Ия? Какоенибудь иностранное, американское или немецкое? Да неужели русское? Что-то вот мы русские, а такого не слыхали... И по святцам значит «фиалка»? Цветочек! А может быть не фиалка, а розочка? И зовут вас не Ия, а Роза?

На суде она стояла с черно-серым лицом и, казалось, растает через несколько секунд. Из товарищей по училищу все в общем говорили о ней хорошо. Двое оказались нейтральными. Одна, бывшая подруга, подлой. И, в основном, по показаниям этой последней, Ие Леонидовой дали 10 лет и отправили куда-то в лагерь под Новосибирск.

Покатил за нею и Леша Бойцов, только не под Новосибирск. Его арестовали, когда он пришел в Публичку Салтыкова-Щедрина и заказал из фонда комплект журнала «Звезда», преданный тогда анафеме и остракизму. О личностях, которые заказывали из фонда «запрещенную» литературу, библиотекарши должны были немедленно звонить в МГБ. Сослан он был на три года по какой-то туманной и длинной формулировке. «Былое и Думы», конечно, припомнили. Да что «Бы-

лое и Думы»? А береточка? Береточку носишь? И трубочку куришь? По заграничному? А в морду хошь? По нашему? По-русскому? На допросах он здорово огрызался и его отправили в один из самых страшных штрафных лагерей, в Башкирию, на станцию «Туймаза-нефть». Через два года «за хорошее поведение» перевели в КОМИ АССР, где он встретился с Кларкой. По возвращении из лагерей Леша досдал государственные экзамены и поступил врачем во 2-ую Градскую больницу в Москве, а Кларку восстановили в прежней должности на старой работе, в ее знаменитом «ГлавВтор-Сырье».

3

После Кларкиного возвращения в 54 году, я еще чаще стала бывать и интенсивно общаться с Прилуцко-Бойцовыми. Кроме старых знакомых, посещавших этот дом раньше, прибавились еще Лешины друзья и квартира по субботним вечерам, а особенно в праздники, была набита народом. 7-ое Ноября, 1-ое Мая и особенно Новый год ждали с вожделением и «встречали» вскладчину (по полсотни с носа) всегда у Прилуцких. Как ни говори, а все-таки отдельная квартира, если не считать, что во время всяких встреч и выпивонов дверь квартиры напротив, через лестничную площадку, в которой проживала ненавидимая Кларкой Авруцкая, всегда оставалась открытой.

- Напустила угару паровым утюгом, и пришлось открыть дверь, воровато привирала Муме сама Авруцкая, а Кларка нарочно громко кричала из комнаты, так, чтобы на лестнице было слышно:
- Угару-то она напустила, это точно, только не паровым утюгом, а совсем другим местом... Каждый раз ее мандраж хватает, когда к нам люди приходят...

Итак, мы всей многочисленной компанией заявлялись к Кларке и Леше. Когда наш крик заглушал даже визги детей, играющих во дворе под окнами, Кларка влетала в комнаты из кухни и волила:

— Подонки! Застегните хайла! Сколько раз вам нужно повторять, что у меня есть соседи?

Напивались страшно. Ни мужчины, ни женщины себя особенно не стесняли и глушили в основном водку. К концу вечера не оставалось ни одного человека, который сохранил бы этот, Богом данный ему образ.

— Чорти что, — хмуро говорил Леша на следующий день, придя в себя, — как-то у нас все по-дикому. А вот на кафедре микробиологии у нас парень один работает из Германской Демократической Республики. Пригласили они меня как-то в компанию своих немцев, всякие там были, из других институтов. Н-е-е-т, у них такого свинства еще нет. Как-то, знаешь, по-человечески. Ну, выпили, ну и что? Стали играть в какую-то игру, как-то весело было, хорошо, игры такие смешные, старинные, милые... Просто отдохнул я у них. А мы что? Только одно и знаем: как собрались, так сразу тяпнули по пол-литра, а потом под стол и все дела. До следующего утра. Хорошо, если еще до драки не доходит. Непонятно както, что мы, из другого теста сделаны, не можем как они?

Постоянно на вечерах присутствовали следующие лица:

Михаил Кадинский. Ни Михаилом, ни Мишей его никто не звал. Михаил — это для читателей. Наверно думаете мы звали его Мишкой? Тоже не то. У него было полу-имя, полу-прозвище: МедведИца. С ударением на И. Он был откуда-то из-под Днепропетровска и Мума за это души в нем не чаяла. Земляк! Но из-под Днепропетровска он привез не только черную огромную голову и темные, немного на выкате глаза, но и такие словечки и выражения, как «рубель», «корабель», «на какую цену» и самое смешное — «медведИца». Когда как-то вечером в первый раз он произнес это слово, указав нам на ковшеобразное созвездие Большой Медведицы, мы с Кларкой не могли успокоиться от истерического хохота приблизительно минут десять. Даже Лина тихо улыбалась, несмотря на то, что она была гораздо «воспитаннее» нас с Кларкой, как уверяла всех Мума. МедведИца работал на строительстве домов для правительства, недалеко от Москвы. Он

кончил Строительный Институт на Разгуляе и был инженером-строителем.

Женька Глущенко. Работал вместе с Мишкой. Кончил тот же Институт. Был сыном очень известного в Москве профессора-преподавателя политэкономии капитализма в одном из больших московских ВУЗОВ. Женька был крикун. Очень, очень красивый.

Виктор Сидорин. Невысокий, крепкий паренек, товарищ Женьки Глушенко еще по школе. Женька привел его в нашу компанию. Виктор был нам интересен. Он когда-то служил в Морском Торговом Флоте (кончил Мореходное Училище в Одессе) и плавал заграницей. Был даже в Америке. В компании он появился недавно и мы от него ожидали коекаких интересных рассказов.

Нина. Я сейчас даже плохо помню ее лицо. Что-то маленькое, беленькое. Приходила с Женькой. Была разведенной женой и Женькиной «при-хе-хе». Славилась тем, что всегда приносила с собой сделанный ею торт «Наполеон», очень вкусный, но секрет его изготовления, то-есть рецепт, никому не давала, говорила, что печет торт мама, а она даже не знает, сколько чего туда кладут... В основном Нина молчала и смотрела на Женьку влюбленными глазами.

Шурик Попов. Ну о нем уже все известно. Иногда он приводил своих товарищей писателей. Среди них, не очень чтоб «очень» талантливый очеркист Ким, сын известного и большого советского писателя. Бывали еще кое-какие поэты и писатели, выпустившие по тоненькой книжечке своих стихов или по паре небольших рассказов. Считались они в Союзе Советских Писателей молодыми, но им всем сейчас около или за сорок. Бешено завидовали друг другу, когда кому-нибудь удавалось поместить в «Юности», «Огоньке» или просто в газете небольшое стихотворение или еще что-нибудь.

Конечно, нельзя сказать, что мы собирались только для того, чтобы выпить или «заложить». И не только для того, чтоб послушать пластиночки Лещенко, сделанные из рентге-

новской пленки и купленные Кларкой у спекулянтиков-стиляжек около матазина «Пластинки» на площади Дзержинского. «Марфуша», «Миша» и «Студенточка» нам были хорошо знакомы. Леша любил рассматривать эти пластинки на свет и различал там куски грудной клетки, печени, бериеву кашу в желудке, которую едят перед просвечиванием и еще что-то, что было мило его сердцу, как врача. Бывали у нас и разговоры. И не только о том, что у артиста Сергея Гурзо, играющего Сережку Тюленина в картине «Молодая Гвардия», родилась двойня, а сын генерала Армии Василевского замешан в какомто убийстве и отец от него «отрекся». Политические разговорчики начинались только тогда, когда компания была уже порядочно «под баночкой». Никак не могла я выяснить происхождение этого глупого выражения. Причем тут баночка? Особенно мне запомнились наши ожесточенные перепалки после воцарения Никиты Хрущева на должность главы партии. В спорах Никиту всегда называли «Васькой», чтоб обмануть бдительность умирающей от любопытства Авруцкой.

Самыми буйными спорщиками были Мишка-МедведИца и Женька Глущенко. Начиналось всегда с одного и того же между второй и третьей рюмками. Как я уже сказала, МедведИца и Женька работали на строительстве полу-дачных домов, недалеко от нового здания Университета. Дома эти предназначались для Фурцевой, Яснова, и, кажется, самого Хрущева. Все мы раскрывали рты от удивления, когда Мишка рассказывал, что в этих домах в н у т р и сооружаются бассейны. Мишка не злобствовал.

- Ну, надо ему бассейн, пусть купается в бассейне... А я на-днях в Измайлово двенадцатиметровку получил, так это для меня дороже всякого бассейна. В Москве комнату? Да мне и во сне не снилось! Вот...
- Молчи, медведь несчастный, кричал Женька Глущенко, — 12-ью метрами ты доволен, шкура? Дай ему эти несчастные 12 метров, так не только он тебе ни в чем не будет противоречить, а ножки твои грязные хамские васькины поцелует, сопли распустит, вечно будет Бога молить... Алла! Алла!

Вы понимаете? Нет, вы слышали, что он говорит? — Женька обращается именно ко мне по следующим причинам:

- 1) Знает, что Мишка за мной ухаживает.
- 2) Осведомлен, что Мишкиных «политических» взглядов я никак не разделяю.
- 3) Надеется, что я не буду принимать Мишкиных ухаживаний и перекинусь на него. (Нина, пекущая торт «Наполеон» в счет не идет). Вчера он между прочим сообщилмне, что его очередь на «Москвича» уже близко и через несколько дней...
 - Это ты между прочим?
 - Да, между прочим...

МедведИца, вероятно, подслушал краем уха этот разговор и, вызвав Женьку в коридор «на пару слов», толкал его толстой, но очень легкой рукой в кучу навешенных пальто и обижался:

- Ну чего ты пижонишь, Женька? Ну, чего ты? Нинки тебе мало? А я с серьезными намерениями...
- Нет, ну Мишка, эта МедведИца несчастная, кричит Женька, жить хорошо-то он хочет, это он не дурак, а как...
- Ты погоди, погоди, тихо хрипит Мишка, выкатывая от смущения свой выпуклый черный глаз. Ты погоди. Зачем горячиться? О чем мы спорим? Вот, знаешь, мои работяги... Рабочие на моей стройке. Один мне говорит как то тут: «Эх, Михаил Александрович, да если б мне жить как тебе, то разве я стал бы лаять? Комната у тебя, зарплата 980, харчи подходящие. С чего тебе-то недовольным быть?» Это мне Пашка Жигулин говорит, прораб. А другой, деревенский, только что демобилизованный из армии, Савин, на Пашку косится: «Вот паразит, ряшка как у быка, 690 в месяц, вчера в плаще китайском новом пришел, за четыре сотни оторвал, а все шипит что плохо ему... Ну что же мне-то тогда говорить, при моих четырех-стах?

Мишка засопел так, что тонкие шелковые кисточки на абажуре тихо заколыхались. — Ну, ладно, вот ты сам гово-

ришь, что Яснову строят дом на 28 комнат. Так? Ладно! Теперь я тебя спрошу, зачем ему столько? Что он в этих 28 комнатах будет делать?

- Что делать? ехидно простонал Женька, а потом, обведя компанию взглядом и удостоверившись, что «взрослых», то-есть Мумы, нет в комнате, фыркнул:
 - П....ть и бегать... Что ж еще?
 - Так. Значит тебе это не нравится? Честно?
 - А то тебе нравится?
- Да я не к тому. Чего тут может нравиться? Значит ты Яснова готов придушить за это, так я тебя понял? Ну а я тебе скажу, чтоб ты не очень торопился... Вперед я тебя придушу... Сперва твоя очередь, а потом Яснова. Чего почему? А чем тебе хуже? Ты то в своих апартаментах не то же самое, что и он делаешь? (МедведИца не повторил Женькиного слова: он стеснялся «дам»). Ведь у тебя не хуже, чем у него! выкрикивал он. Хоть и не 28 комнат, а все же целых пять ты имеешь и только на троих... Значит ты Яснова, я тебя, мой Пашка Жигулин меня удавит за мою 12 метровую халупу, а солдат Савин Пашку за китайский плащ... Что ж это тогла начнется? А?
- Верно! Нет, Мишк, это ты точно, выпалила вдруг Кларка, развалившись в обнимку со мной на диване и уловив краем уха последний обрывок разговора, вот, ребя, послушайте. Вот на-днях тут как-то. Заявляется к нам Полинка, дворничиха из домуправления, жировки разносила, квитанции за квартплату. Ну я сидела, на фисгармонии подбирала «Журавли». Посмотрела она на меня, ну прямо зверем, и вдруг: «Сидит, ящик поставила, играет на нем... А у меня вся моя жиВплощадь, на которой в общежитии койка стоит, с энтот ящик...» И потом еще что-то прошипела, ей Богу, чтото вроде «Мало вас резали»... Ну не стерва? А вообще у нас с этой Полинкой всегда были самые хорошие отношения...
- Ну, и я про то же, ведь про тоже самое, хлопнув себя по боковому карману, радостно, найдя поддержку, завопил Мишка, вот, теперь ты, Женька, спрашиваешь: Кого

бить? Ты можешь мне дать ответ на этот вопрос? Кого бить-то? — Мишка недоуменно обвел всех глазами.

- Народ разберется, народ разберется Женька беспокойно ерзал на стуле, приподнимая зад и шаря у себя в карманах брюк. Вероятно ищет папиросу. Всю коробку, вернее всю пачку на стол класть не полагается тут же протянется множество рук и пачку вмиг раскулачат. Поэтому папироски выуживают по одной из брюк. А то каждый норовит за чужой счет...
- Ну, точно, это точно, что народ разберется, наш народ вообще во всем очень хорошо разбирается, давно он уж как разбирается. Мишка засопел и покачал своей круглой толстой головой, похожей на древний котел, экспонат из Музея Восточных Культур на улице Обуха. Ты мне ответь на один вопрос, только честно.

— Hy?

- Хорошо разобрался народ, когда врачей арестовали? Правда хорошо? Прямо для всех, как праздник, чуть не целовались от радости. Наконец-то что-то интересное! Это раз. Теперь два. Когда Сталин умер, опять наш народ хорошо разобрался, точно? Выхожу это я утром 5-го марта на улицу, гляжу траурные флаги. Ну, думаю, наконец. Интересно, как народ будет реагировать, какой реагаж у населения. Вхожу в метро. И что же? Да не поверите, граждане! Мишка опять удивленно выкатил свой черный глаз. Мы улыбнулись его попытке превратить нас мгновенно из «товарищей» в «граждан».
- Представь, вхожу это я в метро и вижу, мамочка моя, что там творится! У всех рожи не только постные, а прямо убитые, как будто у них мама родная умерла и наследства не оставила... «Ой, что же это теперь с нами будет?», «Боже, да кто же это теперь нами будет руководить?» «Ох, это все врачи-евреи, это они вождя нашего убили!» и все, все... Честно, было это или нет?
- Ну было, было... А откуда народу в чем разбираться то? вякнул Женька. Конечно большинство верит все-

му, что мы брешем... Между строк-то в наших газетах только умные люди умеют читать...

— Господи, а в Институтах что творилось! — кричал Мишка, — Ал, ты помнишь? Нет, ты помнишь?

Чего же мне было не помнить? Я тогда отличилась. Актовый зал был набит битком и большинство преподавателей и студентов стояло в коридоре. Я с Мишкой (он зашел за мной с работы) и с девочками из нашей группы терлась почти у самой двери в зал. Стояли в притирку, давились. На трибуне возвышался остов нашей преподавательницы грамматики — секретарши Парторганизации тож. Я даже забыла о том, что надо, хотя бы для приличия, оросить свои щеки слезинками или состроить печальную рожу. Во все глаза смотрела на нее, и, кажется, даже раскрыла рот. Ну, знаете ли! Такое подстроить, сыграть, невозможно! С ней была настоящая истерика. Она с красной мордой, залитой слезами, выкрикивала лозунги, клятвы, заклинания и обещания... Аудитория тоже рыдала... Тогда я не выдержала. Я тихо опустила лицо на согнутую руку и начала так хохотать, что стоявшие около меня подумали, что я тоже в наивысшей фазе самой жуткой истерики... Мишка тогда загородил меня своей мощной спиной. Я смеялась... Почему?..

- Ну, Миш, дурашливо хохотала я после, ну если бы действительно нас бы тогда застукали, ну что бы ты тогда сказал?
- Ну, то бы и сказал, что с тобой истерика. Не всегда от горя плачут, бывает так, что и смеются...
- Да, Леша Бойцов заколыхался на старом венском стуле с перекладиной-обручем внизу... Иногда я правда, думаю, что это все только игра одна, притворство, а на самом деле все-таки на уме у людей что-то другое. Но что-то нет никаких подтверждений... Ну а если это действительно так? А, Женьк? Ты вот думаешь одно, а говоришь иначе, я думаю одно, а товорю иначе, он, она, и что же это получается? Нет, нет, ты мне на МГБ не кивай... Что они там в этом МГБ-то? Не такие люди как мы с тобой?

Шурик Попов накачался уже чуть не десятой рюмкой водки. Разговоры на подобные темы его и Кима не очень интересуют главным образом потому, что душа их парит в отдалении. На уме только стихи, наброски к ним, и всякие происшествия, связанные с Литературным Институтом и его питомцами. Некоторые анекдоты, которые он и рассказывает, настолько стары, что кажутся нам новыми.

Молчаливый очеркист Ким разжимает губы. В основном он всегда пьянствует беззвучно. А сейчас размахнулся на анекдот:

— Приносит один известный всем нам писатель рукопись редактору большого журнала, — начинает он без улыбки, уставившись в пустую тарелку и размазывая вилкой остатки масла и уксуса. — Роман. Называется «Эх, жизнь, » Редактор посмотрел: «Ну, что ж! Хорошо! Оригинально. И главное, очччень актуально. Только, вот «Эх, жизнь!» нужно отбросить! Цыганщиной пахнет...»

Крошки-комнаты затряслись от смеха. И тут же в квартире Авруцких начался тихий ропот, похожий на неопределенно-робкое бормотание индюка.

— Да-а, — не унимается Женька Глущенко, — значит этому паразиту Яснову комнату из 28 комнат! А для стандартных домов для остального сброда в Черемушках и Текстильщиках по Васькиному проекту теперь потолки будем делать не как раньше, а на метр ниже, как в Англии. Подсмотрел у капиталистов. Они и то экономят, а уж нам-то и сам Бог велел...

Мума тихо собирает со стола грязные тарелки, чтобы очистить место для чая. Она слышит последние Женькины слова и робко, как-будто ни к кому не обращаясь, вкрадчиво вопрошает:

- Интересно, детки, а как сам товарищ Хругіщев, он тоже будет в такой квартире жить, или у него потолки будут повыше?
 - Мама, грозно раздув ноздри Кларка гипнотизи-

A. KTOPOBA

рует мать, — сколько тебе повторять? Не смей ругаться матом. Что здесь собралось за общество? А? Куда я попала? Алка! Я хочу тебе сказать од-но! — Кларка выставляет указательный пальчик. — Мы попали в вер-теп...

Мума, с губками, мгновенно ставшими трубочками, нарочно, для порядка замахнувшись на дочь, выпархивает из комнаты, а Кларка продолжает наседать на олицетворение кротости, Лину.

- Линк, а Линк, нет я серьезно, ну чего тебе еще ждать, а? Вон у Лешки на кафедре китаец Хо-Чу работает. Лешка говорит, что он на тебя прикашивает... Интересный мужчина! И имя какое подходящее, а Лин? Хо-Чу ли я Мо-Гу ли я? Ну и охота тебе Прилуцкой быть? Авруцкая, Прилуцкая — это теперь совсем не модно! Вон когда Мума у китайцев в Сверчковом работала, то там у одного китайца была русская жена. Да, да! Мадам Матрена Ивановна Ли. «Куда ушел ваш ки-тай-чо-нок-ы Ли?» — томно простонала Кларка из песенки Вертинского. А ты будешь товарищ Лина Хо-Чу! Звучно-то как, а? Простенько и элегантно! Сто процентов форы ей дашь! И в Китай поедешь. Что ты мимо своего счастья проходишь, дурочка? Устроим все культурно, как Мума хочет. Хлеб-соль на полотенце, еврея позовем со скрипкой, все чин чинарем... И будут у нас не поддельные Мао-Дзе-Дунчики, а настоящие, свои собственные... Ну, Прилуцкая, умоляю, ну доставь нам всем такое удовольствие, ну выходи за него...
- Клар, ну может быть уже хватит? рабко, но с оттенком легкого негодования говорит Лина, ну к чему? Кончай...

Конечно, китаец, работающий у Лешки на кафедре за ней и не думает ухаживать, да и имя его совсем не Хо-Чу, но мы все поэтому так и любим бывать и собираться у Кларки, что она способна насмешить до судорог в животе.

— Вы погодите, погодите смеяться над китайцами, — Женька повернулся к дивану, на котором развалилось женское общество, — вот через несколько годков они еще себя

покажут! Пока мы тут то да се, они там под общий хохот такого нащелкают, что и... Слыхали про их лозунг «Пусть расцветают все цветы»? Вот это да...

- Да, в Англии... продолжая думать о своем тянет МедведИца, потолки... Много мы знаем, как там в этой Англии, да Америке... Вить, ну вот ты бы хоть что-нибудь рассказал нам, ну как там, что?
- Ну, что, что... Конечно, не так, как у нас... Виктор Сидорин, бывший моряк Торгового Флота, а ныне студент Речного Техникума явно уклоняется от прямого ответа.
- Русские-то там как? Ты ведь говорил, что в Нью-Йорке русских полно?
- Точно, полно. Есть даже районы, в которых по-английски и не разговаривают. Заходим это как-то мы с ребятами в магазин за спичками: «мэчез, мэчез...», а он нам на чисто русском: «Вам спичек, что-ли?»
- Ну все же интересно, как же там они живут, что делают?
- Что делают? Улицы подметают, да официантами... Ничего особого. Из эмигрантов этих давно песок сыпется... Букет моей бабушки... Многие и рады бы вернуться... Льва Любимова «На Чужбине» читали?
- Чего нам на них смотреть? скосился Виктор. Дождемся и мы.
- Да, дождемся, держи карман шире, а то проскочит... Это Кларка. Вот видела я журнальчик «Америка». Посмотришь на этих теток, так просто закачаешься... Одеты как стильно... И написано, что простые секретарши и домохозяйки. Откуда же у них такие деньги? У каждой, наверное, своя маникюрша, домработница... И что же, все там так живут?
- Видели? Мишка обращается ко всей компании. Это называется, она все поняла! Да если у всех там домработницы и маникюрши, и все в то же время «так хорошо». по-твоему живут, то откуда же они там домработниц-то берут? А у этих домработниц, как, свои домработницы?

Женька встает на сторону Мишки и набрасывается на Кларку.

- Ну, и примитив же ты, Прилуцкая... Не ожидал от тебя, прямо скажу... Ведь называется это дело очень просто жизненный стандарт, то-есть уровень жизни, ясно тебе, или нет?
- Вон, Виктор рассказывал, что каждый инженер, как вы с Мишкой, там свою машину имеет и дом, осторожно говорит Кларка, быстренько кидая взгляды на мужчин, не промахнуться бы опять? И что телевизоры почти у всех...

МедведИца опять очнулась.

— Да мне-то что от этих их телевизоров? Да плевал я на них с десятого этажа. Во-первых, я не знаю, правда это, или нет. Ну, а если даже и правда? Мне-то от этого жарко или холодно? Меня лично больше волнует то, что вчера «Рубин», наш хороший телевизор, стоил две тысячи, а сегодня я его за 1.500 отгрохать могу. У него там дом, а мне этот дом до лампочки. Вот вчера я в общежитии валялся, а сегодня мне отдельную комнату в квартире со всеми удобствами дали... Вот это да! Почище всяких Америк! Да начхал я на нее... А еще если хотите знать, то я Америку эту ненавижу... Никогда я им Венгрию не прощу... Как свиньи последние повели себя... Вот и верь теперь в их силу... Даже мои работяги на стройке бормотали: «Что ж, Михаил Александрович, как же это понять? Заварили они, эти американцы, кашу в Венгрии, а потом на попятный? Значит боятся они нас...» Вот вам и пожалуйста... — Мишка даже попытался от волнения вылезти из-за стола, чтоб нервно побегать по комнате, но потом передумал: стулья цеплялись один за другой и некуда их было отодвигать. — Американцы.... ТрусЫ несчастные, трусЫ —

Все были уже пьяны в «дугу» и на «трусЫ» не обратили никакого внимания.

О Венгрии мы кричали несколько вечеров подряд. В том, что там был контрреволюционный «путч» женщины совсем не сомневались, а мужчины целыми ночами крутили радио, пы-

КЛАРКА-ТЕРРОРИСТКА

таясь поймать «Голос Америки». Женька Глущенко задорно орал:

— Путч, да какой там к чорту путч? У них всё путчи... Эх, мне бы туда, я бы показал им путч...

Как-то в 58 году он очень радостно сообщил компании, что один товарищ из Института Иностранных Языков рассказывал ему, что некий выпускник этого же института убежал из группы советских туристов в Западной Германии и теперь «там» по радио и в печати «во дает», «во дает»... И отец его полковник МГБ, а вот не побоялся парень... Ну, отцу-то что теперь? А ничего, теперь это уж дудки, чтоб родители за детей отдувались, или наоборот...

— Ну, Жень, — говорю я ему, — ну а ты бы остался там на его месте?

Женька прикладывает руку к моей голове, делая вид, что хочет проверить мою температуру, поднявшуюся оттого, что я сошла с ума.

— Ты что, бредишь? Ну, поехать, посмотреть, это да, а остаться...

Вся компания целиком с ним согласна.

Вскоре все тихо уснули. МедведИца уткнулась в клавиши раскрытой фисгармонии. Ему грезилась, конечно, его берлогадвенадцатиметровка. Шурик Попов валялся под столом. Ким ушел с мрачным видом. Хотел поспеть на метро, которое закрывается в час ночи...

4

В общем Кларка та же. Может быть это только на мой взгляд? Мума вот мне как-то сказала:

— Все у нас теперь хорошо, но мне совсем не нравится, что Кларочка иногда начинает задумываться. Сидит и смотрит, ну прямо в одну точечку. Я ей говорю: «Кларочка, ну что тебе сейчас задумываться? Все кончено, у тебя изумительный муж, всякая девушка может позавидовать, даже и та, которая не была арестована... Дочка хорошая, а ты задумываешься... Мало ли что было... Ведь с тебя даже судимость сняли...»

Кларка задумывается... Для меня это совсем не звучит... Задумчивость никогда не была ее подругой... Мума пристает, чтобы я убедила Кларку совсем совсем забыть и никогда не думать о том, что было... Но Кларка не любит об этом говорить. По правде-то я ожидала, что по приезде из лагеря они будут рассказывать всякие интересные происшествия, будут ругаться, негодовать... Ничего подобного, молчат. Как-то я заикнулась об этом, Кларка, мол, расскажи что-нибудь, и заикнулась так это весело, бодрячком, а она посмотрела на меня:

— Алк! Честно тебе говорю: отстань. Посмеяться хочешь? Поразвлечься? Не пройдет этот номер... Я даже сама и то, когда ночью или днем что-нибудь про себя об этом вспоминаю, то стараюсь совсем не думать. Все себя уговариваю: ну не надо, ну потом... Ночью иногда кошмары душат, такой крик поднимаю во сне, что всю квартиру пугаю. Даже через площадку слышно. Авруцкая уж весь двор оповестила, что Лешка наверное бьет меня по ночам, а я и ору так, что у них в квартире слышно. Нет, не проси, не могу, и ничего не буду я рассказывать.

Так она мне отрезала один раз и я смутилась. Просить перестала, и тогда Кларка сама понемножку начала иногда кое-что вспоминать. Понемножку, по-моему, начала успокаиваться, понемножку начала «взбрыкивать» (ее выражение). Но вот однажды я, желая как-то потешить компанию, рассказала, что одна наша знакомая вдруг ни с того ни с сего, как мне казалось, решила крестить свою 18-летнюю внучку. То-есть решила ее уговорить креститься. А не отнести лы в церковь вашу Нельку? Представляете? Писклю эту в руках у попа? И вдруг Кларка тихо сказала:

— Да хватит тебе... Нас только одному научили: скалить зубы над всем без разбора. И чего знаем, и чего не знаем — всё чуть ли не матом крыть... Одни мы умные, а все другие дураки. А мне в жизнь не забыть одного случая. — Кларка посмотрела в сторону и как-будто хотела начать что-то рассказывать, потом на секунду передумала, поколебалась, потом вдруг снова решилась.

— Когда погрузили нас в эшелон для отправки на место из тюрьмы, со мной в одном вагоне очутилась какая-то женщина с девочкой, эстонки. Девочке лет 14. И мать тоже еще молодая. Их не в лагерь, а просто гнали в ссылку в Сибирь под Красноярск на какую-то станцию Шира. И вот я помню, как-то ночью, я проснулась и смотрю, они стоят обе на коленях и молятся. Ведь ни ты, да и никто из нас никогда не видел, как люди по-настоящему молятся. Ну, Исачок иногда что-то из молитв завывал в своей комнате, но это для нас только ведь было смешно. А здесь... ты себе и не представляешь, какое это на меня произвело впечатление. Прямо тебе скажу — самое сильное в жизни... Вот они и сейчас у меня перед глазами: у девочки были такие хорошие толстые косы и чудные голубые глаза. Как они молились! Господи! Как они молились! — по тону Кларки я поняла, что у нее начало щипать в носу и в горле. И у меня защипало. — Потом их сняли с поезда и погрузили в другой эшелон, — продолжала она, — а я, знаешь, тоже с той ночи молиться начала. Лежу в бараке на нарах и тихо говорю: «Господи, если Ты только дашь мне не подохнуть тут, а вернуться домой, какая я буду всегда хорошая, добрая, ни Линку, ни Муму, ни даже Авруцкую никогда ни одним словом... И матом ругаться перестану...» Так вот лежала и говорила: «Господи», «Господи»... Нет, любимому товарищу Сталину я писем не писала. И Муму потом ругала за это. А Бога просила. Можешь смеяться, сколько тебе угодно, а вообще лучше не смейся. Раньше я и сама оборжать кого угодно за это дело могла, а теперь плюю я на все, что нам говорили. Хоть правды настоящей мы ни о чем не знаем, а эта брехня мне тоже не нужна.

Мне показалось, что у Кларки были слезы на глазах, когда она рассказывала о молящихся эстонках. И из комнаты она быстро ушла, отвернув лицо, как-будто ей зачем-то нужно на кухню. А Леша, молчаливый до тех пор, сказал:

— Можно подумать, что в лагере она только и делала, что плакала и молилась... Вот человек! И вообще человеческая натура! Ничего не понятно. Лагерь, представляешь?

Холод жуткий, настроение хреновое, перспектив никаких, а она свою «Мамочку милую» поет, чтоб людей посмешить! С этой «Мамочки» у меня с ней все и началось. Вот это думаю, да-а-а... Сила воли... Ее там все любили...

5

Тихий, чудный вечер. Я люблю колесить по Москве, по кривеньким Арбатским переулкам. Там, где сохранились старинные особняки, с кариатидами, которые поддерживают своими почерневшими головами уже второй век одноэтажные обиталища бывших князей, графов и прочих генералов. В этих переулках тихо и старинно, мирно и спокойно. Здесь хорошо, уютно. Здесь узнаваема старая Москва. Вот сейчас я услышу из раскрытого окна «Матушка-голубушка», вот сейчас из бывшего трактира раздастся звук машины, наигрывающей «Вдали тебя я обездолен». Эту песню знаю и я, меня ей научила моя престарелая приятельница мадам Обломок...

Перейдя же дорогу и подойдя к дому, в котором обитают Бойцовы и Прилуцкие, вы в субботу и воскресенье всегда услышите веселый смех и радостные молодые голоса.

Едят ли уже Мумин винегрет или он еще только священнодейственно приготовляется и поливается ею постным маслицем на кухне — сказать трудно, но то, что первая рюмочка «сладенького» для дам «Шато-Икема» — (до войны всего девять рублей бутЭль, как говорит Мума) Кларкой уже выпита, я ручаюсь...

- Лешка, грохочет она, у Прилуцкой от сидячей жизни в аптеке геморой открылся. Прилуцкую будешь лечить, а? Прилуцкая она чиста и невинна.
- Кончай, кончай, несчастно и тихо стонет Лина. Я ясно представляю, как она прикашивает глазками и краснеет от смущения, особенно если в компании «много молодых людей». Тут же, конечно, вертится и Мума «принимая» грязные тарелки со стола. Она метеором летает из кухни в комнату и обратно и, время от времени вызвав Кларку конфиденциально в коридор, шипит:

— Сколько это раз тебе надо говорить? Не смей при людях называть меня Мумой...

И опять Кларкина иерихонская труба:

— Ван-Попкин, ты что же провансаль не берешь? — Она, я знаю, схватила несчастного Шурку за горло и шутя пригибает его выю низко к столу. — Нет, я тебя спрашиваю, на кому ты тупаешь ис ножкой? На кому ты плЮешь? На провансаль, негодяй? На провансаль, 16 рублей кило? Мелик-Глущенко, Бойцешвили, ешьте, пейте, только закуску по карманам не прячьте, при выходе Линка обыскивать будет, здесь не на вынос... Романсика не желаете ли послушать?

Мгновенная пауза и звук отодвигаемых стульев, затем тихие вздохи мехов зеленой фисгармонии, перебираемых Клар-киными ногами:

— Старинный романс — «Мамочка милая». Прошу слушать и рыдать. Исполняет Клара Бойцова, бывшая Прилуцкая, внучка Вари Паниной...

Из окон домов, которые называются «Гирши», доносятся песни и сейчас...

Алла Кторова

два стихотворения

1

Вот елочка, а вот и белочка. Георгий Иванов

Довольно вздор нести Про Терек и Дарьял — Из щепетильности Я жизень потерял. Но это до меня Уже Рэмбо сказал

Рэмбо сказал. Я повторила Немного изменя. В чужих словах магическая сила, Чужое часто очень мило И до чего

Милее своего.

Так вот — под Рождество Слова плечом к плечу, Скрипя, треща, звеня, Бегут, как на вокзал К отходу поезда. О, только-бы успеть, О, только-бы суметь Сказать

To,

Что

Хочу!

Совсем не то, что говорю всегда Совсем иное. Да!

Звонок последний, третий. Как много нужно слов Недоговорок, строк и строф Пред тем,

Как умереть — и Стать наконец (конец — венец): Навеки глух и нем Непонятый никем.

Пост-скриптум
Неточностей, неправильностей риф
И вдохновения отлив — прилив:
Не спорю правильно «жизнь», а не «жизень»
Не «изменя», а «изменив».
Но — извините, я капризен,
Вернее — я капризна. Даже очень.
Словарь мой ангельски-неточен
Мне нравятся созвучья лиро-лирные
Барокко — рококо — ампирные
Не значущие ничего.
Мне нравятся неправильности речи
Они горят, как елочные свечи.

А белка, елка, Рождество Дороже мне всего.

Пост-скриптум просто так — Для разъяснения Моих читателей недоуменья, А может быть и возмущенья — Любви и преданности знак.

2

Сердце чужое (ваше, читатель? Ваше, мечтатель? Ваше, прохожий?) Бьется в груди моей Все разностопнее, все тяжелей Ночью и днем и даже во сне, Повторяя одно и то же Непонятное мне.

На стене, на полу, на окне, Серебристолунные блики И звенит соловьиное пение Полнолунного наваждения В зеркалах черномазые рожи И прелестные нежные лики — Расплываются в лунной дрожи. Хоть они и мое отраженье, Все они на меня не похожи, А за ними, как фон, в зеркалах Рассыпается искрами страх.

— Помогите мне! Помогите! Далеко на Острове Крите Лабиринт, Минотавр кровожадный И ведущая нить Ариадны. Но найдутся другие нити, Те, что вас приведут ко мне, — Отыщите, их отыщите!

Ирина Одоевцева

KABKA3CKAA CTENЬ

ОХОТА С БОРЗЫМИ

Владикавказский поезд на Баку подходит к станции Гудермес поздно вечером. Тяжело пыхтя и обдавая поезд клубами пара, паровоз осаживал кряхтящие вагоны и останавливался на три минуты. С этой станции ехали лошадьми на Кизляр. Из светлых, теплых вагонов пассажиры вываливались на платформу полутемного вокзала. От станции Гудермес до Кизляра 100 верст и ехали лошадьми (это было еще до войны 1914 г. и до постройки железной дороги на Кизляр). Маленький вокзал переполнен: казаки, татары, чеченцы и кизлярские армяне. Ноябрь, и на дворе холодно и сыро, и хоть в залах вокзала душно и крепко пахнет, все стараются как-то здесь устроиться на ночь. Ночью ехать нельзя: дорога грязная и плохая, а, главное, — грабят. Пробег в 12-15 верст от станции Гудермес до переправы через Терек был знаменит своими разбоями и нельзя было найти лошадей на ночную поездку.

Еще до света приходили подводчики. Стакан жидкого вокзального чая с лимоном, — быстро укладывались вещи и в путь. Тряска колес по булыжной мостовой около вокзала; толчек — и мягкое укачивание по ухабам грунтовой дороги. С левой стороны дороги темной массой придвинулся мелкий дубовый лес. На светлеющем небе рисуются узловатые ветви с редкими последними листьями. Зацепили ветвь и обдало холодными брызгами — это бодрит и тонит сон. После духоты вокзала точно пьешь с жадностью влажный осенний воздух.

В этом месте уже полагается держать наготове ружье на случай нападения, но я знаю, что если нападают грабить, то делают это так продуманно и рассчитанно, что не только

не успеешь поднять ружья, а и головы повернуть, и поэтому, веря своей доброй судьбе, оставляю ружье спать в теплом чехле, курю и смотрю, как степь просыпается.

Дорога тянется между кустарниками, разбросанными темными пятнами по степи. Над Тереком, к которому приближаемся, стоит туман. Если тихо, без ветра, то это хороший признак. Часов в девять утра, вся эта серая мгла согреется солнцем, уплывет белыми комьями и растает в синем осеннем воздухе.

Осень на Кавказе ясная, сухая — лучшее время года. Наконец спускаемся к Тереку и, прошлепав около версты по топким прибрежным местам, с грохотом вкатываемся на паром. Терек здесь широкий и мутный, даже в это сухое время года. Кругом ровная степь, а течет Терек быстро закручиваясь предательскими воронками.

По ту сторону раскинулся на много верст и вверх и вниз от парома «Парубчев лес», принадлежащий Терскому войску, и это одно из лучших охотничьих угодий Северного Кавказа. Дорога через лес в зимнее время никогда не просыхает, и четверик лошадей, увязая в грязи, вытаскивает коляску из одной ямы, чтобы сейчас же погрузиться в новую, полную жидкой шеколадной грязи, и так на протяжении 6-7 верст. Сбоку идет старинное шоссе, но не дай Бог выехать на него доверчивому человеку: сразу обломаешься. Были у нас такие шюссе, значущиеся на картах, и все, кто их знал, старательно их объезжали. Для охотника это были уже радостные места. Старое заброшенное шоссе — место утренних прогулок фазанов: утром фазан любит гулять по сухим или песчаным местам, особенно если сильная роса. Молодые зазевавшиеся фазаны, с треском замокших крыльев, часто взрываются перед лошадьми. Далеко впереди экипажа видно, как старый петух фазан, задрав хвост, бежит по дороге, не желая лететь, до первой боковой тропинки, чтобы юркнуть в заросли ежевики или камыша.

Через дорогу переходят свежие следы оленей, кабанов и диких коз — их много здесь. Через час езды, похожей на мор-

скую качку, выезжаем на большую поляну. С правой стороны видны белые дома войскового лестничества. Еще две версты и лес кончается, переходя в поляны с круглыми островами колючего терна — убежище фазанов и зайцев. А дальше раскинулась степь без конца и края, без единого дерева и пахоты до самых Астраханских степей и Волги.

Вдоль Терека, лентой верст в 10-20 шириной, тянутся наделы казачьих гребенских станиц, а за ними земли кочевого Караногайского народа — остатки азиатских, монгольских нашествий. Когда смотришь в ясный день от Терека в степь, то по краю степи вдоль всего Терека видишь острые песчаные бугры, точно гребешки на синем небе. Между этим гребнем и Тереком залегли казачьи станицы первых русских поселенцев на Северном Кавказе еще со времен Царя Ивана Грозного. Гребни отделяют плодоносную долину Терека от песчаной бурунной степи Ногая.

От «Парабьева лесничества» до первой станицы Шелкозаводской — версты 3-4. Дорога уже лучше. Слева вдали вырастают из кустов серые дома войскового виноделия, а вот и первые, крытые камышем, белые хаты Шелкозаводской. В старину эта станица славилась разведением шелковичных червей, оттуда и пошло это название.

Не останавливаясь, еду прямо к цели моей поездки, в станицу Старогладковскую¹, где у приятеля казака ждут меня мои охотники с собаками и лошадьми. От Старогладковской вдоль Теречного протока «Чебутлы», прямо поедем охотой в степь. Еще двадцать или тридцать однообразных верст, и мы выезжаем на большую станичную площадь. Все станичные площади одинаковы: белая церковь с зелеными куполами старообрядческого строя, наискось — станичное правление, с крыльцом и лавочками, у крыльца — денежный ящик и стоит старая пушка, а под навесом крыльца — дежурные казаки сидят и семечки щелкают. Заворачиваем в улицу, еще заворот — и мы у чистой новой избы с высоким крыльцом. Хозяин в

¹ Старогладковскою называется в рассказе Л. Н. Толстого «Казаки» — станица Новомлинская.

правлении, но сейчас придет, узнав, что гость приехал. Встречает меня хозяйка — молодая и миловидная женщина. Говор у нее, как у всех гребенских казачек, не бывавших в городах, русский, старинный, немного нараспев, и с ударениями, для нас непривычными. У казаков в домах чисто, а мой хозяин с достатком и квартира скорей городская. Все свеже-выкрашено, полы блестят, кое-где коврики и мебель. Зная, что сейчас придет хозяин и будут вкусно кормить, — об этом напоминать не приходится, — иду на двор проведать охотников и посмотреть собак и лошадей.

Старший охотник, Федор, вижу уже издали — пьян: быть здесь не пьяному в Старогладковской, да еще осенью, и трезвому человеку трудно, а уж тому, кто выпить любит, и совершенно невозможно. Идет он ко мне со свирепой важностью в лице, с папахой на носу — это признак безошибочный.

Делаю вид, что не замечаю, здороваюсь и расспрашиваю про лошадей и собак и про путь. Все благополучно. — «Ну, а чихирь (гребенское вино) в этом году хорош?» — лёд сломан и Федор перемещает папаху из одной руки в другую и ухмыляется: «хорош, да и много — хоть купайся!» — «Ну, Федор, чтобы с чихирем сегодня к вечеру было кончено, завтра чуть свет выезжаем». Говорить Федору, чтобы все было в порядке — не нужно: любил он выпить, но и делу был верен, любил его и знал. — «Выпустить собак!» В сарае уже давно стоит вой; собаки, особенно мой любимец, Акус, зачуяли, что я во дворе. Держал я только ногайских борзых. Как белый ком вылетел ко мне Акус, за ним еще несколько собак. Акус — белый, без отметин, кобель с большими черными глазами. Это редкий образец караногайской борзой рослый, безупречно построенный, живая стальная пружина. Это прототип самой старинной борзой собаки — монгольской, а монгольская собака лучше всего сохранилась в ногайских степях. Кроме Акуса еще трое молодых, таких же белых, — дети его, и я жду от них за эту охоту собачых подвигов. А вот и Лачин — молодой кобель дикого цвета,

ростом малый, но крепко и правильно сложен. Достал я его еще щенком, для породы и свежей крови, от одного ногайского мурзы с Кумы в обмен на полукровную кобылицу. Породы он знаменитой, хоть на вид — так себе, не сравнить с красавцем Акусом и его детьми. Получить собаку этих кровей от ногайцев почти невозможно и мне мурза выменял только потому, что я не ногаец и увезу собаку далеко и забудут про нее. Лачин полон удивительных примет по понятиям караногайских охотников. Шерсть у него, как у зайца - остью торчит, лапы между пальцами шерстью прослоены, чтобы легче по песку бежать. Между маклаками широкая ладонь ложится — грудь широкая и глубокая и из-под губ слегка клыки видны. Характера он был злобного и угрюмого, ласкаться не шел и с другими собаками не играл и собаки его остерегались, потому что кусал он жестоко, точно резал своими длинными клыками. Нынешняя охота была его вторым полем. Пробовал я его и охотился с ним в прошлую зиму в наших пахотных местах вокруг Владикавказа, но предгорный русак вялый, да и в пахотях охота более случайная и трудно собаке показать свои истинные качества. Эта охота была первая большая охота молодых собак в настоящей степи, и меня очень волновало, что покажет Лачин и другие.

Собаки были в порядке: шерсть зимняя, чистая, блестящая, хорошо и правильно выкормленные: последние два месяца были на овсянке и лепешках, выпеченных на бараньем сале. Собаки понимали близость охоты — потягивались, взвизгивали и нервничали. Только Акус стоял около меня царственно-спокойный: гордая сухая голова, с шрамами от лисьих укусов². Гордец Акус был великий — радостно только ко мне подходил, и то очень сдержанно проявлял свои чувства. В домашней обстановке он больше проводил день у меня в кабинете и спал на медвежьей шкуре перед камином.

Лошади стояли под навесом и, видимо, застоялись за два дня, вертелись на привязях, косили глазами и поджимали уши, делая вид, что очень строгие.

² Шрамы от лисьих укусов шерстью не зарастают.

Итак до завтра, а теперь в теплую комнату и за стол: с утра не ел, а уже три часа дня. Хорошо с дороги выпить чатинки (виноградная водка) под пирожок с капустой и под теречного рыбца. А еще хозяйка хвасталась, что муж наднях кабанчика убил, так она к приезду протушила ребрышки с капустой и бурачками, да и чихирь надо отведать и с толком выпить и похвалить умеючи, потому что для гребенского казака и винодела это первый домашний разговор. И, правда, вина были хорошие — красный чихирь, сладковатый, «сладимый», как казаки говорили, легко пился и хмельной был, но, как вино, был так себе, а за то белые попадались отличные, даже на знатоков: сухие безо всякой кислоты, легкие и с особым приятным ароматом. Такое вино в продажу не поступало, разве что по знакомству, а то больше для себя берегли. Вином в то время станицы почти не торговали, цены не было. За то сами пили, и уж как пили! Как вряд ли где на свете... Бывало, едешь в Кизлярский край на охоту в конце октября вдоль гребенских станиц, — на мажарах (длинные крытые воза, соломой набитые, чтобы мягко было), — конечно, не торопясь, едут казаки навстречу. Среди воза боченок с чихирем стоит: это они пахать едут. Песни поют, вино пьют, но пьют чинно — по-христиански, перекрестившись и правильное слово сказав. Как поровняешься с ними, если увидят, что ты не чеченец и не татарин, остановят, нальют полную «чепурку» — чаша деревянная, около бутылки выходит — и просят выпить и седока и подводчика, а начнешь отказываться, уж невмоготу больше —в каждой станице пьешь — то пристыдят: «что же ты, басурманин, нехристь что-ли? А вечером въезжаешь в станицу — за версту песни и пальбу слышишь: это свадьбу играют. На дворе костры горят, стоит посреди двора бочка ведер на 10-15: приходи вся станица, пей и гуляй. Пироги хозяйки разносят, молодежь поет и пляшет, а красноносые старики вокруг бочки прохаживаются.

⁸ Так они до пахоты не доедут, а боченок выпили — «вертай обратно за другим боченком»; иной раз целую неделю пахать выезжают.

Хороший был край — старой веры и старого обычая. Небогатый народ были гребенцы, но редкого радушия и душевного размаха. Хватало всего, а избытка не было: хлеб — чтобы хватило; вина — чтобы до нового урожая пить вволю можно было. Кое-какая скотина по степи ходила, а главная забота, чтобы молодого казака хорошо на службу справить.

До последнего времени эта часть Кавказа только официально считалась замиренной, а на самом деле все время с горцами скрытая война шла. Что ни ночь, то чеченцы, или кумыки за Терек скот или овец угоняли. То чеченец казака убил, то казак чеченца: ни те ни другие не зевали. Вечно станичные наряды куда то скачут, кого то ищут; и держали казаки кордоны на переправах Терека. Пахал казак на дальних наделах с винтовкой за плечами. От этого казак гребенских станиц не утерял удаль ближайшего прошлого кавказских войн и не переродился в крестьянина, хлебороба и купца, как казаки спокойных, богатых Отделов Терека и Кубани.

Осенью, когда выжат новый урожай вина, начинается время помолвок и свадеб: кто в станице, пот и гость. Приедешь вечером усталый с охоты, а зовут свадьбу посмотреть, за молодых выпить и посмотреть, как наурку танцуют. А какие песни поют! Старинные, со времен Грозного Царя и Алексея Михайловича сохранившиеся, когда ушли разные русские люди, воли желавшие, на Терек, особенно староверы — от гонения на веру и образовали Терскую Вольницу.

Воля у них была, но дорого она им стоила: вечная война. Горевала душа этих изгнанников по родной земле и вырывалась эта тоска в удалой песне, перемешанной с грустью из-за разлуки с родной землей и Гневным Царем-батюшкой, и летят осенью с севера гуси и несут им вести, что их ждет Грозный Царь с хоромами, «что о двух столбах, с перекладиной». Остались они на берегах приемного отца «Седого Терека» и вырубили себе среди чужих народов своими шашками право на полную риска и борьбы, но самостоятельную жизнь.

Мой хозяин — еще молодой казак, уже кончивший службу, хороший хозяин и страстный охотник. Обед кончен и мы

чихирь пьем. Он с увлечением рассказывает, как третьего дня случайно убил кабана, ребрушки которого мы только что в тушеном виде с удовольствием ели. — «Помните вы большой плёс на Тереке — против острова; мы еще в прошлом году там с вами фазанов стреляли? Пошел я на этот плёс вечером зорю сидеть, уток стрелять, их сейчас много летит. Сижу тихонько на высоком берегу в камышах и покуриваю; видно хорошо, плёс внизу под ногами блестит. Утки налетают: чиркнет по воде, сядет охорашиваться... Стрелять не хочу — всё далеко кажется, да и сами знаете нашу казачью привычку мы норовим стрелять, когда несколько в одну кучу соберутся, а одна села, значит, и другая сейчас подлетит... И вот, смотрю, из камыша с острова что-то темное движется. Уже темновато и под цвет с песком мешается... Потом по воде зашумело, а на воде светлее. И вижу что кабан и на мою сторону идет и прямо на мой лаз; потом тихо стало, значит — поплыл. Заторопился я: патроны меняю на пулевые, тихо стараюсь ружье закрыть, чтобы затвором не щелкнуть. Ветер хороший — с воды. Сижу на коленях, сжался, прямо против лазу. Вот-вот должен рыло показать... Метнул глазами — а он уж на поляне, к лесу идет... Шагов пятьдесят от меня было другую дорогу нашел. Выцелил и ударил. Дымом заволокло: вечером сыро, черный порох много дыму дает. Не видел, попал, или нет, слышал только, что засопел и треск по кустам. Пошел на след, вижу кровь есть и шерсть темная, значит, высоко попал. Еще прошел — кровь брызгами пошла: кровью фыркает — ну, значит, — мой. Шагов сто прошел, вижу лежит и готов уже, только из пятачка красные пузыри пускает. Хороший кабанчик, пудов на 6-7, самый вкусный. У нас ведь две породы кабанов: наш местный — камышевый, он больше, и шерстью светлее, и длиннее, и рыло большое, и мясом он хуже. А на зиму с гор приходит черный, он короче и поворотливее. На чинаровых орешках выкормлен, у него мясо лучше от горного корма. Мигом в станицу за конем сбегал: на ночь оставлять нельзя — волки растащут».

[—] Ну, а как думаешь, Семен, на счет нашей охоты? Есть

ли дудаки (дрофы) в степи и стрепета: пролет, наверно, уже начался. Каждый день с борзыми ездить нельзя, ни собак, ни лошадей не хватит, а хотелось бы пожить в степи дней 10.

— Чем дольше, тем лучше! Время свободное — с хозяйством убрались, а на счет лёта, так правду скажу, так настоящего еще нет, ведь дудаков и гусей самым снегом гонит. Стрепетов по степи много, а куропаток, сами знаете, что блох на паршивой собаке — если патронов не жаль. За дудаками надо ехать на большие солончаки, там их большие партии пасутся, — будем засады делать.

Приятные были разговоры. Позвали еще Федора посоветоваться и вином его угостили. Я любил его разговоры, немногословные, но красочные. Трудно сказать, сколько было Федору лет. По его рассказам и воспоминаниям выходило — 60 и больше, а по походке и выносливости — моложе молодых; в квадратной короткой русой бороде были видны редкие седые волосы. Он был владикавказский слобожанин, Помнил я его давно, когда, будучи еще мальчишкой, при его помощи вместо училища на охоту за зайцами или вальдшнепами удирал. Было у него во Владикавказе какое-то хозяйство огород и сенокос, но он им мало занимался, оставив на жену и старшего сына. До службы у меня, он каким-то промыслом занимался, в зависимости от времени года: лошадьми торговал, осенью за зверем в горы ходил, или форель ловил. Большой знаток и любитель лошадей и любил побарышничать и, думаю, больше крадеными лошадьми. В Терской области это было не только воровское дело, а удалое и спортивное, и не малое, так как угоняли друг у друга иногда целыми табунами. Молодой кабардинец, чеченец, ингуш и даже казак, не был женихом и джигитом, если коня не угнал. Знал Федор все дороги и все тропки в Терской области, все табуны и всех конокрадов. Человек Федор был независимый, но спокойно-почтительный, особенно в трезвом виде, а исполнительный всегда. А если ему давали ответственное поручение, тут он был незаменим: растолковывать и указывать — не нужно. Немного подумает, почешет бороду, и скажет — «постара-

юсь» — и будьте спокойны. Охоту он любил и знал ее каким-то звериным чутьем. Такие люди создавались только на полудиких окраинах России и в обстановке борьбы, опасности и находчивости, тде каждый хуторянин был не только защитником своего добра, но и дипломатом. Угонят быков или лошадей, — к властям редко кто обращался: бесполезно, только зря время и деньги потеряешь, а ехали к знакомым старым горцам. Пили чай, о том о сем разговаривали, а потом — к делу: «вот третьего дня скотину угнали, думаю, что такието, помоги мне вернуть скотину». Старик долго отказывался, говорил, что нынче плохой народ пошел, стариков больше не слушают..., но в конце концов для дорогого кунака соглашался разузнать, верны ли подозрения. Через неделю, после хорошего торга и угощения, скотина опять у хуторянина по степи ходила. Если связи и знакомства в горах были, можно было за треть цены скота или лошадей их обратно откупить и вернуть. Соседи болтали про Федора, оттого что у него ничего никогда не пропадало и он ночью в лес ездил, что он и есть сам проводник воров и конокрад. У меня за все время его службы до самого конца ничего не угнали и упрекнуть его я ни в чем не могу, разве что иногда загуливал и дня два пропадал.

Дело подходило к вечеру и я попросил хозяина, не угостит ли он меня стаканом чая на ночь, чтобы пораньше лечь спать — вставать нужно было рано, до света. Семен бурно запротестовал: «что вы, как же это спать, я ведь гостей к вашему приезду назвал! Помните, прошлый раз говорили, что хотели бы посмотреть на внучку Марьянки, той, что у Толстого в «Казаках» описана, так вот я ее с мужем позвал, да еще кое-кого. Бал устроим и вина попьем. Нет, уж не обидьте! Может и не так, как в городе, покажется, а уж как умеем, по старинному — и песни споем и потанцуем, а спать в степи будем, теперь ночи долгие». Ну, что же... пожалуй, Семен прав: в станицу, да еще такую как Старогладковская, редко попадешь. Гулять, так гулять, а в степи отоспимся. Просил только Семена не слишком гулять, чтобы завтра охоту не прозевать.

Для вечеринки мы перешли в старую хату, где старики Семена жили на том же дворе. Старая, низкая, камышем крытая хата точно в землю вросла. Глиняный пол, чисто убранный, у образов в углу длинный дубовый стол с такими же скамьями. На свеже-выбеленных стенах кое-какие хозяйственные вещи висят: старая синяя конвойская черкесска, — видно, старик конвойцем был — одноствольное пистонное ружье и пук полыни, это чтобы комаров и блох гнать — не любят они этого запаха. Пахло свежим хлебом и степными травами... Перекрестились на образа, поздоровались со стариками, и гости стали подходить. Бабы держали в платочках гостинцы: пряники, орешки, а казаки каждый по пузатому графину вина нового урожая, чтобы всем попить и посравнить — таков обычай. Послал и я скорее Федора за гостинцами. А вот и внучка Марьянки — она в старинном казачьем наряде: смесь русского с горским и скорее — горский. Фигуру обтягивает казакин с серебряными чеканными путовицами, с серебряным поясом и большой застежкой, и ожерелье из серебряных и золотых монет. Голова плотно обвязана платком, вроде повойника. Она очень мила: невысокого роста, слегка полная, сероглазая, чернобровая, с пушком на верхней губе, с чуть задранным веселым носиком, и ямочками на щеках, как все гребенские казачки, — сильно подрумянена и набелена, это старая здесь мода. Она знает, что вечер устроен, чтобы на нее посмотреть, делает строгое лицо, но видно, что смех и неудержимый запас внутреннего веселья рвутся наружу и вот-вот брызнут веселой шуткой или беспричинным смехом. Семен взял ее за руку и тянет ко мне, она слегка упирается. — «Ну вот, это и есть внучка Марьянки!» Здороваюсь с ней и все мы смеемся. Она перебирает пальцами монетки ожерелья и говорит, что «все это напридумано; какой-то Толстый написал, сказывают, про бабку мою, а она такая, как в книге, наши старики сказывали, совсем и не была. Я читать не умею, по рассказу знаю. Вот тоже наши станичники, Сехины в Ерошке своего деда признают. А кто его знает, какой он был, наверное, как все наши мужья — пьяница, да на охоту шлялся, а хозяйство — на бабу. Да об этом еще книги писать!.. А вы вот лучше нашего вина отведайте», — и она побежала за толстым графином.

Загуляли стаканы, защелкали орешки на крепких белых зубах, начались шутки да смех. Мягкими альтовыми тонами взял гармонист какой-то акорд и сразу с визгом перешел на наурку. Кто теперь ее не знает, а тогда ее играли только на Тереке. Кто-то из молодых казаков вывернулся из-за стола, волчком, выгнулся, выпрямился и поплыл в легкой наурке. Эх, что за танец! В нем душа кавказских народов: дикий, звериный прыжок обрывается и переходит в гордую сдержанность, легкое плывущее движение, полное невидимого напряжения, чтобы снова сорваться в дикий бешеный порыв. В этом танце бурная душа, сдержанная вековым адатом (обычаем), тихая жизнь аула и бешеная скачка набега. Гребенские казаки чисто-русские люди в своем прошлом, но за четырехсотлетнюю жизнь на Тереке — то войну, то дружбу — многое взяли от горцев и во вкусах и в правилах.

Наверное, за полночь, с хорошим хмелем в голове, я сбежал спать, но все же разыскал Федора и наказал ему будить всех и чтобы все было готово до света к выезду в поле. Федор, если назначено, беспощадно всех растормошит, если даже сам будет еще пьян. Разбудили меня — еще было темно — голова гудит и во рту отвратительно. Скорее чай с лимоном. Пришел Семен. — «Эх, Семен! перехватил я вчера вашего чертова чихиря: вливается легко, а выходит тяжело». — «А вы вот чай пьете — это что за напиток, когда на коня садиться... зря в животе булькать будет. Вы бы лучше рюмочку чатинки выпили, да рыбцом, или огурчиком закусили, а потом стакан вина — сразу все покажется иначе».

Вошел Федор и сказал, что кони поседланы и все готово, что день хороший будет, приморозило и ясно. Заря занималась, когда из дома вышли. Месяц на ущербе еще светил. Лужи застыли и мерзлые кочни покрылись инеем, точно белой травой поросли. Видно, сильный туман с вечера стоял и моровом его осадило. Подвели мне моего Ингуша — добрый был

конь, какая-то смесь кабардинца со степняком, крупный, широкий костью, а, главное, хода были... Не шел, а плыл по степи и ногами был верен. Охоту знал: лису раньше собак и охотника видел и собак не топтал. В это утро я лишний раз на него полюбовался. Весело и приятно принял меня мой конь, слегка осел, выправился, как пружинный, широко забирая задом, хлюпая по мерзлым лужам, легко и сильно подал вперед. Взяли мы на это утро всего шесть собак, разобрав их по сворам, кроме Акуса. Он всегда шел свободно, немного впереди и сбоку моей лошади.

Оставшиеся собаки с возами и вещами и прислугой пошли к месту первой ночевки. Караногайских собак не нужно брать много: все они по характеру и по природе одиночные и не любят, чтобы им помогали другие. Лучше пускать на каждый угон двух, но редко это удается, потому что сгоряча охотники бросают свои своры понапрасну.

Мы выбрали ближайший путь, чтобы скорее выехать из широко-раскинувшейся станицы на выгон в сторону ближайших бурунов. Морозило и было тихо, трубы еще не дымились, когда мы выехали на выгон, белый от крепкого утренника. Лошади просили поводья и шли широкой степной ходой; через полчаса мы были уже у первого ряда бурунов. Я оглянулся назад: следы лошадей по заиндевевшему полю черными лентами тянулись к станице. Из станичных труб уже потянулись вверх дымки и над Тереком клубился туман.

Восток раскраснелся. Сейчас брызнет по степи первыми огненными лучами и степь покроется сеткой огней паутины с застывшими каплями, заиграет, как золотая ткань, расшитая драгоценными камнями, но ненадолго. В ноябре солнце еще теплое и через полчаса от этой утренней зимы не останется и следа.

Мы были уже почти на верху буруна, пробираясь между высоким бурьяном и зарослью тальника, когда Федор остановил нас и показал плетью прямо на восход. Шагах в пятистах от нас, у подножья буруна, около большой застывшей лужи стояла лиса; смотрела она в другую сторону и нас еще не

заметила. Крупная красная лиса... она сейчас уйдет в буруны и мы ее потеряем в зарослях; надо отрезать ей ход по гребню. Я выбираюсь на другую сторону и большим ходом иду вдоль гребня. Федор с двумя собаками остается на месте, следить за лисой, а Семен с молодыми собаками идет мне в след.

Собаки еще на сворах, только Акус скачет по самому гребню, он уже по ходу дела понял, что что-то есть и, скорее, лиса. Он идет легкими широкими скачками, потягивает ноздрями и окидывает своими зоркими глазами даль. Мне скакать трудно: склон крутой и песок оседает, лошадь скользит. Но вот я вижу, Акус сразу метнулся в сторону степи и исчез за бугром: мое дело сделано и я кричу, чтобы Семен сбросил молодых собак со своры. Мне только бы не потерять из виду собак и я выскакиваю на верх буруна и вижу, что Акус уже далеко, шагов за 300-400, мелькает среди бурьянов в степи. Мимо меня проносятся за Акусом две молодые собаки. Спешу за ними, но собаки пропали из глаз и, чтобы не морить зря коня, еду рысью по самому гребню. Вдруг вижу далеко в степи три белых пятна мечутся по бурьянам и понимаю, что залавливают. Если нет вблизи нор, лиса никогда не уйдет от Акуса. Кричу Семену, показываю направление и скачу к месту. Уже издали вижу скучившихся собак и возню на месте. Взяли! Сделали это молодые собаки, дети Акуса — урок отца. Подскакиваю, еле осаживая коня, и вижу, что Акус крепко держит в загривок крупного лисовина с выкатившимися от удушья глазами. Молодой кобель, Шайтан, впился лисе в зад, а лиса держит мертвой предсмертной хваткой молодую суку, Куклу, за губу. Соскакиваю и бегу выручать собачку, с трудом охотничьим ножом открываю челюсти лисе. Сука озлобилась и тут же перехватила лису за бок. Хороший почин: будет добрая собака. Оставил лису собакам, чтобы молодые как следует потрепали — их первая лиса. Подъехали Семен и Федор. — «С полем — хорошая, красная!» Федор говорит, что сверху всю охоту видел, и что первой заловила лису Кукла. да неумеючи... и сама заловилась. Акус потом за загривок взял. Федор предпочитал лисиц тут-же обдирать, чтобы коню лисьей тушей спину не набивать и собой лисьих блох не кормить. Как лиса начнет стынуть, все лисьи блохи на охотника полезут, а если обдерешь еще теплой и шкуру легче снять и плетью выбьешь и все блохи высыпятся. Речи правильные и пока Федор занимается лисьей анатомией, мы с Семеном из баклаги потягиваем чихирь: от скачки пить захотелось, да нужно и вспрыснуть почин молодых собак. У бедной Куклы морда припухла и она смешно от боли перегибает голову, точно одним ухом к земле прислушивается. Ничего, Кукла, окрещена охотой и будешь знать, что лису опаснее за хвост хватать, чем в загривок.

Подтянули коням подпруги, разобрали собак по сворам и тронулись дальше в степь, разъехавшись на 200-300 шагов друг-от-друга и в линию.

Тихий день был и солнце начало пригревать, по бурьянам и травам легла пелена осенней паутины с искрящимися капельками от растаявшего инея — последние дни бабьего лета. Кончились песчаные бугры и мы выехали на ровную солончаковую степь, усыпанную кое-где круглыми серебристыми шарами «перекати-поле» и коричневыми пятнами полыни. Здесь уже земля твердая — точно убитая.

Зорко смотрит охотник — места́ открытые и видно далеко. Кто был охотником, особенно с борзыми, тот знает это напряженное ожидание и желание увидеть дичь.

И сам охотник ест глазами степь, и конь насторожил уши, и собаки вытянули свои стройные шеи и приподняли уши. Взлетит сова, взмахнув крыльями точно тряпками, или сорвется с треском стая куропаток — и вздрогнут лошади, и прыгают вверх на сворах собаки.

Лунь (белый ястреб) тихо плывет над бурьянами и застыл на месте, затрепетав крыльями — что-то увидел — и снова плывет и вот упал белым камнем вниз. Взлетела стая стрепетов, развернувшись серебряной звенящей лентой.

Подняли двух-трех русаков, но собак не пускали: место неподходящее — кругом бурьяны — собак только путать зря. Степной и особенно солончаковый русак осенью после пер-

вых морозов несравненно лучший скакун, чем русский и даже кавказский предгорный русак. Солончаковый заяц меньше черноземного зайца, но гораздо резвее и выносливее. Лежит он, особенно матерый, не в бурьянах, потому что боится, чтобы его волк или лиса врасплох не захватили, а на чистых местах, подобравшись под куст перекати-поля или полыни, чтобы ястреб сверху не разглядел. Сразу на ровном месте, точно из-под земли, выростает он серым комком, пойдет сначала небольшими прыжками, туда-сюда метнется, оглядывается, спросонья соображает, ушами перебирает. Заулюлюкали охотники, бросили собак, и понял русак в чем дело, заложит ушки назад и полетит, точно стрела, в направлении лучшего для него бега по ровному солончаку, где нет ни травы, ни кочек, сдерживающих скорость его бега, потому что он знает, что нет у него врага, равного ему по резвости. Глаза у него навыкат и видит он всё, что сзади делается: от собак и охотника уходит, а видит их, точно они перед ним бегут.

Побудился первый русак от Федора и на хорошем месте. Федор бросил со своры собак, потому что собаки сразу завидели. Прянул русак ушами — матерый, и сразу заложился на большие солончаки. Далеко, шагов за 150 от меня было, а видал я их, как на ладони. У Федора на своре были две собаки: молодой кобель, Лачин и дымчатая сука, Ведьма, резвая на коротках и необыкновенно поимистая, но силы не имела на дальнюю скачку. Нажала Ведьма и сразу расстояние — а заяц побудился шагов за 70 — уменьшилось наполовину, но так на этом расстоянии и застыла, шагов 200-300 проскакала и поняла, что не хватит сил дать угонку: потеряла душу собака. Тут я увидел, что Лачин дошел до Ведьмы, выровнялся на момент и обошел ее, но не нервными, надрывными скачками, какими псовые борзые иногда вырывают изпод носа у первой борзой угонку, или скаковая лошадь обходит у столба другую, но ровным, сильным, почти летящим бегом, который свойствен только кровной монгольской борзой. Акус сразу увидел охоту и точно белая птица летел слегка наискось в угонку. Резвые у нас были лошади, но сразу русак и собаки ушли вперед. Знал я, что если собаки не дадут на первых тысячи шагов угонку, то пойдет надолго: заяц крепнет и набирает ходу до 2-3 верст, а потом сразу кончается. Видел вдали, что висят над русаком Лачин и Акус, а угонки дать не могут.

Версту проскакали и от напряжения зрения и скачки залило слезой глаза, и вдруг вижу, что гонят собаки обратно, значит, дали угонку и заяц повернул обратно к бурьянам. Русака еще не видно и Акус и Лачин почти рядом идут и прямо на нас. Ближе, ближе... вижу, Лачин впереди на два корпуса от Акуса. Русак у Лачина в нескольких саженях перед носом висит и идет уже комком, из всех сил выжимает и вздрагивает его тело и точно живые машины идут за ним Лачин и Акус, сжимаются и разжимаются их стальные тела в ровных и длинных скачках. Шагов сто до нас, когда расстояние между зайцем и собаками было всего 2-Зсажени, сжался Лачин и в несколько прыжков дошел до русака, ухватил его и опрокинулся, но в тот же момент подхватил его Акус и понес, только стриг заяц лапками в воздухе... Обернулся Лачин, увидал русака в зубах Акуса и... не двинулся: заяц его, по совести, но он спортсмэн, а не душитель...

Подлетела Ведьма, давно уже болтавшаяся у лошадей, и перехватила зайца у Акуса, и он ей уступил — души, мол, его. Трудно дался русак — пяти других стоит. Понял я сразу, что за собака Лачин и отчего ногайский мурза своей породой так дорожился. Не одно поколение, а десять создает такую расу — и уходом и подбором и страстью к охоте. Тот, кто не охотник, не коневод, не наездник в степи, не поймет сколько усилий вложено в хорошего коня, или борзую собаку: цены им нет. Знала старая Русь и монгольские кочевники эту красивую, гордую забаву и любили ее. От отца к сыну шли заветы и советы, как кормить, как лечить и вываживать.

Приторочили русака. Акус и Лачин тяжело дышали, дали им отдохнуть. Оглянулись, где Семен? За скачкой про него позабыли, а он за дальностью своих собак не бросил со своры. Когда тронулись в путь, увидели его: он со стороны ехал, значит, тоже травил. Когда съехались, то увидели, что он тоже с русаком; в бурьяне побудился заяц и собаки его быстро заловили, не дав ему вырваться на солончак. Хвалил Семен обеих собак, но особенно Куклу: «оборотистая она и не ошибается».

Кукла и Шайтан — одного гнезда и так похожи, что издали не различишь. Кукла только больше оформилась, грудь глубже и зад шире, как сука, она раньше брата взматерела.

Решили пойти к ближайшему колодцу, который знал Семен. Лошадей и собак попоить и самим закусить — время подходило к полдню. Собак решили не пускать, разве если лиса недалеко вырвется, чтобы на коротких взять. Версты две проехали и увидели в ложбине между песчаных бугров шест с пучком соломы — метка, чтобы колодец издали увидеть. Колодцев в ногайской степи много, вода близко — тричетыре аршина, — но вода плохая, солоноватая, лошади и собаки пьют, а нам воды не надо. Согласно словам Семена: «да разве воду пьют! от ней все болезни! Вода для скотины и огорода, а добрым людям Бог чихирь дал».

Коней поставили к стогу прошлогоднего овечьего сена. Не сено, а сплошной бурьян и лошади не едят, а от скуки по травинке вытягивают. Сами мы развалились на солнышке, на откосе бугра, вокруг переметной сумы с провизией. Разложил Федор на салфетку пирожки и копченого сала с ребрышек и огурчиков и сазана (род карпа из Терека), запеченного в духовке, одним словом, охотничья полевая еда. Собакам дали по лепешке, чтобы червячка заморить. Собаки развалились на солнце и спят — устали, это первая охота. Шайтан во сне взвизгивает и ногами дергает, видно, снится ему, что все еще русака или лису залавливает.

Тепло как в октябре, степь согрелась и полынью пахнет; куропатки недалеко скрикиваются, наверное их ястреб разогнал. Небо синее и редкие облака точно комья ваты плывут на запал.

К вечеру, часов в пять, доехали мы до хутора одного тавричанина (овцевод), где условлена была первая ночевка. Палатки уже стояли у большого стога сена, у входа в палатку

над огоньком грелся котелок с готовым борщем. Пришел старик-хозяин хутора с обидой, что не у него в доме остановились. Я знал эти степные хуторские хаты: сразу блохи и клопы заедят. Благодарил его и сказал, что нарочно из города уехал, чтобы не в комнате, а в палатке и у стога сена поспать и у костра посидеть. Звал его нашего борща попробовать и вина попить — на том и помирились. Через час он вернулся и принес блюдо с громадным жареным индюком — традиционное угощение степных хуторов, и вынул из необъятного кармана бутылку Сараджевского коньяка (самый распространенный коньяк на Кавказе). Просил брать сена лошадям и хвороста для огня.

Запылал костер из тальника и полыни, запахло полынным пряным дымом. Огонь и тепло — вечная радость: промокнешь, продрогнешь в степи, а вспыхнет костер, завьются столбом искры и станет и телу и душе хорошо и радостно.

Мы болтали этим вечером про охоту, овец, скотину. Жаловался старик-хозяин на грабежи: на-днях пару быков угнали. Земля и труд дают — жаловаться грех, — а злые люди обирают и защиты нет... Верно это было — крепко затеречные горцы грабили степных хуторян. Земля и климат так обогащали их хозяйства, что пришлые овцеводы хохлы (тавричане) в несколько лет богатели и грабеж был своего рода данью за право быть поселенцем в этих благословенных местах. Таков древний закон кавказца — «хорошо тебе жить, плати дань не только в Казну, а и лихим людям». Старый это закон, как сама степь, через которую шли племена и народы из Азии в Европу. Старые степные курганы, «могильники», всё это видели и когда-то наши древние, древние предки тоже здесь шли и также платили дань жителям год и ущелий и, наверное, также, как мы сегодня, жгли охапки тальника и полыни и, может, в этих курганах сложили свои кости.

Ночь ясная и холодно — опять подмораживает. Большая куча жара переливается всеми огненными оттенками. Взрываются в изломах головешек зеленоватые и голубоватые языки и шепчет огонь что-то, а что — не разберешь, наверное,

самую древнюю, неразгаданную сказку, как у огня создался и вырос род человеческий. Спина стынет и все тело ноет приятной усталостью от дня, проведенного в седле.

Хорошо забраться в теплый меховой мешок, выкурить еще одну папироску, о чем-то помечтать, что-то приятное вспомнить и утонуть тем сном, который знают только охотники и бродяги.

П. Штейнгель

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1

Мы все уходим парусами В одну далекую страну. Ветра враждуют с облаками, Волна клевещет на волну.

Где наша пристань? Где-то! Где-то! Нам рано говорить о ней. Мы знаем лишь ее приметы, Но с каждым днем они бледней.

И лишь когда мы всё осилим И всякий одолеем срок Освобождающе под килем Прибрежный зашуршит песок.

И берег назовется ясным И чистым именем своим. Сейчас гадать о нем напрасно И сердца не утешить им.

Сейчас кругом чужие земли, Буруны, вихри, облака, Да на руле, когда мы дремлем, Немого ангела рука. 2

Время! Спутник мой таинственный На моих земных путях! Враг смертельный! Друг единственный! Наслаждение и страх!

Кто-то умный (не оспаривай!), Но конечно не поэт, Объяснил, что ты лишь марево, Что тебя и вовсе нет.

Пусть! Но раз еще мы связаны С нашей медленной землей — Мы с тобой дружить обязаны И дрожать перед тобой.

Я тебя в беспечной младости Не берег и не ценил, Лишь сейчас, и то без радости, Огорченно полюбил.

И слежу вперед известное: Как, не глядя мне в лицо, Всходишь ты чужой невестою На соседнее крыльцо. 3

Мы с детства самого в плену Всечеловеческой неволи, За чью-то древнюю вину Несем ярмо жестокой боли.

Вину людей? Вину богов? Кто объяснит нам эту тайну? От тех далеких берегов Был пройден путь необычайный.

И всё смешалось, поросло Тяжелой ржавчиной забвенья, Переплелись добро и зло, Созданье и уничтоженье.

Поверим, будто мы одни Всему виною. Ведь иначе Невыносимы станут дни В краю небесной неудачи!

4

Моя душа! Мой гость «оттуда»! Ты собралась в обратный путь... Постой! Не поскупись на чудо! Повремени еще! Побудь!

Но нет... Ты расправляешь крылья, Тебе как будто всё равно, Ты смотришь мимо... Звездной пылью Твое чело окаймлено. Я стал немил тебе, я знаю, С тех пор, как на твои слова Всё чаще я не отвечаю, А то и слышу их едва.

Тебе нужна вся свежесть плоти, Весь жертвенный ее порыв, Что за тебя собой заплатит И не иссякнет, заплатив.

А я... Но полно! Кто ответит Мне в подошедшей тишине? Так повелось уже на свете: Простор — тебе, разлука — мне!

5

Мне больше ничего не надо, Ни даже девушки влюбленной. Но если б мягкий сумрак сада И чтоб туда сойти с балкона,

И где-то в глубине аллеи Густой сирени куст высокий, И там, от радости шалея, Сложить наивнейшие строки!

Не те, где мне сейчас так трудно, Где сердце мечется и молит, А те, где юность безрассудно Себя влюбленностью неволит.

Влюбленностью в весенний вечер, В звезду, в страданье, в незнакомку — В тебя, что девушкой навстречу Ко мне торопишься в потемках.

6

Ты дал мне непосильную задачу: Быть человеком и познать Тебя. И вот я пробиваюсь наудачу, На тьму догадок истину дробя.

Но не пробиться, знаю это точно. Так для чего-ж на звезды я гляжу, Молюсь Тебе, не засыпаю ночью И темными стихами ворожу?

Что от всего мне этого осталось, Что сбереглось к усекновенью дней? Неудовлетворенность и усталость, Да сердце бьется глуше и больней.

Иль может быть вот в этом сердцебьеньи (Как после возвращенья с высоты!) Верней, чем в чудесах и откровеньях, Залог того, что существуешь Ты!

1960-61

Д. Кленовский

ЗАЛОЖНИК*

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

В Тарритоне они сняли номер. — Проникновение зла. — Удача реки. Приключения Клауса. Новая цивилизация. — Выборы. Необратимый процесс. — Аудиенция.

1

Ранним утром, никого не предупредив, с одним чемоданом, они выехали на старом студебейкере в Тарритон. Те же пламенные листья над Гудзоном; розовые клены, фиолетовые буки, неопалимые кусты, темный, серый лозняк, осинник, а там дальше, притаившаяся стопочка ядовито бледной елочки, ждущей своего часа. Позавтракали в ресторане с красными фонариками, располагавшими к нежностям. Адриан выпил к утке бутылку розэ и Синтия села за руль. Снова солнце, сияющий ветер, а внизу Гудзон большой и потусторонний, дымящийся под ярким небом. После одного крутого подъема, Синтия тихо спросила, не хотелось ли бы ему еще раз посмотреть на синий домик с мезонином, где он встречал Диану: вон там, прямо за рекою... Адриан отрицательно мотнул головою.

- Странно, говорят, что убийц тянет к месту преступления, а меня это попросту не занимает.
 - Значит ты не преступник.
- Вот именно. Я монстр, как многие мои грешные знакомые и в этом разрешение загадки.

Синтия засмеялась и наддала скорость; но вскоре, заметив рыжую просеку, круто свернула и в изнеможении обняла

^{*} См. Кн. 60, 61 и 62 «Нов. Журн.».

его. Адриан с удивлением и восторгом чувствовал, как движется, греет, пахнет ее живое, акуратное тело, под свежим, добротным платьем.

«Простая тайна. Мы кажется незаменимы друг для друга, но если бы здесь очутилась Диана, было бы по-иному, но тоже рай».

— О чем ты? — спросила.

Он объяснил. Она подумала и согласилась:

— Да, бесцельно лгать и притворяться. Я тоже люблю Диану и вполне понимаю это. Ты не должен беспокоиться.

В Тарритоне они сняли номер и пошли к реке. Сырая земля была вся усеяна крупными листьями, похожими на раковины.

— Помнишь, как ты тонул? Вынесло отливом и три часа отсиживался на срубе в заливе?

Снисходительно улыбнулся: какая наивность, разве можно забыть агонию. Первый серьезный опыт: одно родилось, а другое отмерло в душе. Возникновение нового цвета.

— Как тихо всё и как пахнет, — щебетала Синтия.

Пахло сытно и кисловато (взопревший сильный зверь или невыпеченный ржаной хлеб).

- На пляже, когда садилось солнце или парус уплывал в море, ты часто смотрел на часы. Уверял, что надо запомнить время и место, где был счастлив, говорила она.
- Да, со вздохом: Я тогда старался реабилитировать историю.
- Не знаю. Но ты целовал меня и вдруг глядел на часы. Меня это сердило. Теперь ты тоже иногда смотришь на часы?
 - Да, кажется.
 - Но уже не при мне.
- И не при Диане. Содержание изменилось. Но счастье все еще здесь. И пока оно существует человек будет хоть минутами добр и свят.

Но Синтию тянуло в прошлое:

— Мать уверяла, что ты странный и запрещала нам **в**стречаться.

- Мы ее считали развратною женщиной, может быть потому что она была такой красавицей.
- Но ведь я очень похожа на нее! восторженно и смущенно вскричала Синтия. И поспешно продолжала, словно ожидая еще большей радости от этой беседы: Помнишь, Гай ударил тебя и убежал а ты метался под окнами их дома и умолял его хотя бы взглянуть. А когда он выглянул, ты начал избивать себя, кувыркаться в грязи и рвать свое платье...
 - Нет, не помню, удивился Адриан.
 - Да, да. Мы не могли понять почему ты так себя вел.
 - Должно быть, он меня очень обидел.
- Твой первый форд: 50 миль в час, а машина опрокинулась! с ужасом и восхищением рассказывала Синтия. Ты тогда лакал пиво и крал бензин.

«Как она некстати все это болтает», — болезненно хмурился Адриан, тоже, однако, отдаваясь волне памяти...

С детских лет призванием Адриана считалось естествоведение; кроме личной склонности, тут еще некоторую роль играли подводные семейные течения. (Мать, — рано умершая, — была неудачной поэтессой; отец восторженный бюрократ, розовый социолог; дядя модный пастор... Все эти отрасли, как будто, отпадали). Мальчик, начитавшись соответствующих книг, занялся кроликами, лягушками, котятами и щенками. Синтия храбро помогала — еще в своем кресле-самокате: если бы он чеканил фальшивую монету, она бы так же не отставала! Уже первый их самостоятельный опыт достоин внимания (Адриану тогда еще не минуло двенадцати лет). Если поставить курицу посередине начертанного круга, правда ли что она не перешагнет? Мелом обвели черту и убедились: цесарка изящно отбежала, пренебрежительно покосившись на естествоиспытателей.

— Видишь, — говорил возмущенный Адриан: — Видишь, как это все в действительности.

Самый крупный опыт, поставленный Адрианом, при восхищенном внимании подруги, получил название — «исконно-

го патриотизма». Началось это случайно, с игры, повторялось много раз в продолжении ряда лет, прежде чем все разрозненные звенья соединились в одно чудесное целое и предстали взору отважного экспериментатора, не догадывавшегося долго о пути на который он вступил...

В центре острова, где низкорослые березы, карликовые ветлы, заросли осоки, камыш и сеть маленьких, но глубоких озер, иногда окруженных дюнами, а иногда отвесными древними скалами — протянулась цепь муравейников. Вот там происходила и годами длилась своеобразная игра. Адриан брал на лист бумаги группу муравьев и подносил к соседнему муравейнику. Сбегавшиеся муравьи № 2, — ничем не отличавшиеся по виду от первых, — нападали на пришельцев и разрывали их на части; причем, бросался в глаза, полный паралич муравьев № 1, с готовностью и даже удовлетворением, дававших себя казнить (не пытаясь защищаться или убегать). После этого, Адриан подносил группу муравьев № 2 к первому муравейнику. Повторялась та же история, с тою разницей, что бывшие жертвы теперь оборачивались палачами, а бывшие палачи становились мучениками, безропотно страдающим меньшинством. Третий этап, заканчивавший повидимому серию опытов, заключался в том, что горсть муравьев № 1 и № 2 соединялись на нейтральном газетном листе. И героических замашек, как не бывало! Растерянные переселенцы, поблекшие, осунувшиеся, кроткие, удрученно сновали, ощупывая сяжками газету, друг друга, — врагов и друзей, — не проявляя склонности к легендарным подвигам.

В то лето, когда он чуть не утонул, аналитические и творческие способности Адриана получили неожиданно резкий толчок: возможности наблюдения н обобщения сразу увеличились, расширились! И многое казалось болезненно искривленным, точно раздутым за счет других сторон жизни. Зрение его обострилось, слух окреп, душа напряженно откликалась на любое раздражение, которого он бы раньше, пожалуй, не ваметил. А материал, как нарочно, подворачивался особенный, жестокий, однородный и злой. Вот мальчишки полчаса возят-

ся, вытаскивая с мели огромного краба (horse-shoe). Безобразное зрелище: исполин, вероятно поедавший сонм морской мелкой живности, очень похожий на подкованное копыто, яростно и беспомощио защищался от случайно напавших на него детей, собиравшихся его принести домой для забавы или наживки. И погиб. Это происходило вблизи того места, где Адриан тонул и показалось ему репликой к собственной судьбе. Бурый, желтый, грязно-рыжий свет объемлет залив.

На той самой, уже знакомой косе, поросшей посередине чахлым кустарником, Адриан раз под вечер заметил низко летевшую птицу; приглядевшись, разобрал, что это ястреб, должно быть преследующий добычу. И действительно, по песку с голышами и сивой, жирной, грубой травою, несся суслик, не разбирая дороги, объятый последним, смертельным трепетом. Грызун приближался, Адриан лег за сопку, осторожно выглядывая: сразу это место превратилось в какое-то особенное, отмеченное, проклятое и все стало походить на сон (так в машине, когда откажут тормоза — давишь изо всех сил ногой, но без проку). Ястреб, — тень его накрывает грызуна, — подался вперед и вытянул лапу: ловко налету вцепился в спину жертвы. Но поднять добычу, при полном разгоне, не мог. Суслик несется слепо вперед, увлекая за собою хищника: птица бьет крыльями и не выпуская левой лапы из шерсти зверька, правой шарит кругом, хватаясь за встречные стебли, лозы. Вот попался куст ольховника — ястреб уцепился! Его ноги нелепо растянулись: левая держит зверька, правая не выпускает прут у самого корня. «Ну еще, еще, наддай», — молит Адриан. Но грызун уже внутренне сдался: смертельно заверещав, он остановился. Тогда хищник, — это уже было в нескольких шагах от сопки и отлично видно, - подтянул несчастного и нанес ему два аккуратных удара клювом по голове. Жертва облегченно замерла. Ястреб выпустил лозу ольхи и уже обеими ногами взобрался на добычу; хозяйственно оглянулся, расправил хвост и стремительно поднялся с ношей вверх.

В дневнике Адриана и Синтии того периода часто встре-

чалась одна фраза, выражавшая, повидимому, их настроение: «Откуда взялось всё это?» Причем, имелось ввиду не случайное зло, преходящее, которое можно исправить, а коренное, безусловное, являющееся базой кругового оборота. Наблюдения над сексуальной жизнью животного мира наполняли сердце еще большим страхом.

Вечером голубизна переходит в синеву, синева в черноту; после гибели солнца на западе в желто-кроваво-зеленоватой отмели, луна бросала свой дрожащий покров, совершенно преображая знакомую действительность. Залив тихо дышал, он мирно пульсировал, доказывая этим присутствие, где-то далеко, космического центра: слышно было только, как осыпается вслед за откатною волною, сухая, обточенная тысячелетиями, галька. Млечный путь, исчезнувший в городах, протянулся с юга на полнеба. Светляки упоенно давали последние влюбленные сигналы (если раздавить жучка, то светящаяся материя еще долго будет клеиться к пальцам). Упоенные цикады, словно лже-пророки, иступленно заливались, ни на минуту не задерживаясь. Скошенная трава на лужайках против потемневших вилл благоухала (из окон доносился детский плач или смех). Синички щебетали, баюкая невинных отпрысков. И весь мирок, — что говорить! — славил Творца, принимая участие по своей воле в одной красочно-звуковой, ольфактивно-осязательной гармонии. Обман! Адриан знает... вот теперь в воздухе, на земле, под почвою идет резня, разбой, насилие, беснование: голод, жестокость и пол кружатся в хороводе с необходимостью, себялюбием и глупостью. Миниатюрные раковины и молюски усеяли морское дно толстым слоем: их тибель должна была продолжаться миллиарды лет и началась задолго до грехопадения Адама. Червь точит корень и плод и падаль; птица клюет личинки, подкармливая птенцов живой рыбой и насекомыми; хищники уносят в душных объятиях кроликов, белок и пташек (словно ангелы души детей). Человек лопает живых и мертвых, а червь подбирается к человеку, замыкая нехитрый круг. И вот, поди же: дымная голубизна переходит в синеву, синева в черноту девственной

пучины (на воде пятна темных лодок). Мы во Млечном Пути. Снежная фата невесты, венчающейся ночью. Оазис в пустыне. Какой оазис, какая пустыня... Светляки прекрасны. Синтия. Между красотою и добром нет ничего общего. Вот что узнал Адриан и этого слишком много для одного лета.

- Есть ли разница между закатом и восходом? спрашивает Синтия и морщит свой лобик: все им кажется важным и требующим определения.
- Заход судорожнее, болезненнее, точно солнце перед смертью выжимает последние соки, отвечает Адриан. Восход плавнее, ровнее, спокойнее.

Они по-новому оглядывают ждущий объяснения мир.

Озера, в центре острова, замерзали зимою; давно при жизни матери, Адриан раза два провел там Рождество (отца в ту пору он редко видел). Была такая памятная прогулка его — с коньками и собакою к озеру! Берега казались особенно живописными и торжественными: деревья пухлые, игрушечные. Все замерзло, застыло, дожидаясь сказочного часа или посетителя. Лед покрыл озеро; только от скалистого берега, наискосок, протянулась длинная и узкая полынья, в которой стремительно неслась бурная вода. Всплеск и захлестывание ветра образовали по краям ледяные валуны. Немного загибаясь, не достигая противоположной стороны, полое пространство кончалось — здесь поток, узкий и сильный, внезапно уходил под высокий, зазубренный лед. Там Адриан заметил лисицу с пушистой трубою: она тоже увидела его и пустилась наутек. Но чем дальше убегала, тем более съужалась полоска между отвесным берегом и черною полыньею. Лиса вскоре поняла, что попала в ловушку и слыша за собою шотландского террьера, бросилась в воду. Легко поплыла на ту сторону промоины. Достигнув края, начала взбираться на лед, но мерзлый вал мешал! Все же, если бы она тут, сразу приложила все старания, то вероятно выкарабкалась бы. (Адриан впоследствии неоднократно убеждался: лучшие шансы нам даются в самом начале, но мы не удосуживаемся воспользоваться ими по-настоящему). Лиса скользила дальше по кромке,

стараясь зацепиться когтями, зубами, иногда поднималась из воды почти до половины и смятенно оглядывалась. (Теперь, теперь Адриан знал смысл всех этих судорожных перемещений). Она снова срывалась. А течение сносило ее дальше и ниже: туда, где бурлящая воронка устремлялась прямо под слоеный лед. Чуть-чуть было не удалось вылезть, но когти опять соскользнули — и окунулась с головою. Силы ее иссякали, а наледь чем дальше, тем выше и неприступнее. Конец промоины с осью течения уже близок: там вода с клекотом запихивает себя в черную дыру. Лиса теперь вполне понимала, угрожавшую ей смертельную опасность (а попала так неожиданно: вышла проветриться). Адриан метался по скалам, не зная как ей помочь; собака жалобно визжала, тоже сочувствуя (что не мешало бы суке через минуту выполнить свой потомственный долг). Лиса продержалась еще мгновение, с острою мордой поднятою к молочному небу. (Адриан теперь знает: все ей на минуту показалось невозможным сном). И вот последний стон: слабый, недоумевающий, возмущенный. Она окунулась в студеную воду, всплыла и вильнув, ставшим жалким, хвостом (какая там труба!), скрылась мягко под плотным, сиреневым льдом. (Адриан тоже забыл про нарядный crawl, когда барахтался щенком). А поток продолжал нестись и всплескивать и все кругом оставалось таким же как и раньше сказочно-живописным.

Может это происходило на самом деле несколько иначе, но именно в таких тонах представлялись Адриану его предыдущие похождения и впечатления... Одно лето выдалось наредкость неудачное, погода подвела — сплошные холода, дожди; в довершение — настоящий ураган, пришедший с Караибов, основательно потрепал остров. Чудовищный ветер; грохот нарастает, рассекаемый уже не другим звуком, а безжалостною, стихийною молнией. Издалека было видно, как в океане сталкиваются темные громады: они выдували из себя огонь и новую твердь. Пузырь лопался, откат, выдох и опять сначала! Было несколько жертв на берегу и в море. После шторма, Адриан и Синтия, одни из первых, на моторном боте,

проехались по заливу. У самого мыса, на бурунах обнаружили разбитую парусную баржу, оставленную экипажем. Уже смеркалось, когда они приблизились: судно лежало на боку и тоскливо скрипело. Обрывки снастей безнадежно свешивались в воду. Одна мачта уцелела и там что-то шевельнулось! Не сразу разглядели большую крысу: сидела, цепко прижавшись, на рее. Когда бот проходил мимо, крыса рванулась и решительным броском прыгнула по направлению лодки. Ей бы это удалось (а дальше что?), если бы не шальная волна: крыса промахнулась (пустяк!) и шлепнулась в тустую, маслянистую гладь. На секунду всплыла, заметалась, точно оглядываясь (Адриан заскрипел зубами) и сразу исчезла под тихой, размашистой волною. Ржавый, ржавый свет, клейкая, клейкая среда.

Эти приключения, разрозненные годами, упорно объединялись памятью и укладывались совсем рядом, образуя организованную и убедительную мозаику. Найденный верный или мнимый ключ вызывал их всех из забвения и утверждал в сознании.

Адриан выезжает с удочкою на озеро. Попалась противная добыча: кусающаяся черепаха (snapping turtle). Протащил ее на лесе, — Синтия гребла, — до берега. Весила больше двадцати фунтов; укус такой должен быть страшным: шея, когда топором рубили ей голову, походила на стальной канат. Почему она не сделала сверх усилия, — вполне мыслимого, — и не оборвала лесу: любой ценою! Эти черепахи кусают, кроме того переводят уйму рыбы, а пользы никакой: здесь ее никто не ест. Адриан смотрел, как ее убивали: совсем не легкое дело. Выпотрошенное, отделенное сердце все еще продолжало мощно и медленно биться. В брюхе обнаружили нечто похожее на палец детской ноги. В половых органах нашли 60 с лишним яиц — она оказалась самкою. Было ясно: если не уничтожить, надо примириться с приплодом.

.

[—] Откуда пошло все это? — спрашивал Адриан, углубляя морщинку на лбу. — Что это такое, наконец?

4

В 1913-1914 годах, почти одновременно с неудачной экспедицией Седова, были предприняты разведки Земли Санникова ледокольными пароходами «Таймыр» и «Байгач». Суда поднялись вдоль недавно открытого острова Вилькицкого и заметили еще один островок — Жахова. Но большой земли обнаружить не удалось. Спустя десять лет, в тех же местах дрейфовало норвежское судно «Мод» и тоже земли Санникова не видало.

В 1937 г., производя океанографические измерения в море Лаптевых, ледокол «Седов» задержался слишком долго и не смог вернуться на зиму в гавань. Тоже случилось с «Малыгиным» и «Садко». «Седов» не был освобожден из льдов даже следующим летом и дрейфовал в одиночестве до 1939 г., поднявшись к 86°39′5″ с. ш. (почти на целый градус выше «Фрама»). «Садко» получил задание искать Землю Санникова и плыл на север по меридиану острова Котельного. У 78° тяжелые льды заставили его повернуть к меридиану острова Беннетта; измерения дна показывали, что «Садко» все еще находится в пределах материковой отмели — а это давало возможность предполагать существование и других островов невулканического происхождения.

Шланги «Седова», недостаточно высушенные, замерзли! Но еще Нансен доказал, что на глубине 200 метров проходит теплое течение Атлантики, согревающее слой воды до 2° ц. Седовцы погрузили шланги на эту глубину и через сутки извлекли их совершенно оттаявшими. Так при умении можно пользоваться дарами Мексиканского Залива у самого полюса. В старину путешественники погибали от жажды у берегов Бразилии, пока туземцы не посоветовали им погрузить ведро глубоко в океан: они достали пресную воду! Амазонка своим мощным потоком, вливаясь в океан, течет сплошным руслом еще несколько десятков миль, не смешиваясь с соленою водою. Это снова приводит к вопросу об удаче и неудаче. Если цель реки поскорее достигнуть моря и раствориться в нем, то

Амазонка, истоки которой находятся в Андах, почти в виду Тихого Океана, совершает роковую и бессмысленную ошибку, беря курс на восток и преодолевая тысячи миль среди джунглей, чтобы добраться наконец к Атлантическому океану. Но если удача не в том, чтобы достигнуть, реализовать, поставить точку, а в том, чтобы двигаться, течь, орошать, оплодотворять, питать, будоражить... тогда все наши представления об успехе и победе должны быть пересмотрены. Об этом надлежить помнить солдатам, морякам, ученым, святым и поэтам.

Дрейфующий «Седов» дважды пересек во время полярной ночи район предполагаемой Земли Санникова. Самолеты воздушной экспедиции, снявшие большинство людей с дрейфующих «Садко», «Малыгина» и «Седова» перерезали эту площадь по меридианальному направлению: там когда-то Яков Санников и барон Толль узрели массивные столовые горы... Никакого острова самолетами не было обнаружено. Однако, в то время года, лед и снег еще покрывают Арктику и трудно конечно отличить берег покрытый белой корою от замерзшего моря. Летом же земля эта, если существует, должна быть скрыта сверху от самолетов, неминуемым теплым туманом. По этому же курсу, без последствий, прошли ледоколы «Ермак» и «Сталин», направляясь к затертому льдами каравану.

И все же зимовщики, высаженые в 1938 г. на острове Генриетты, сообщали, что весною над ними пролетало множество птиц, направляясь к северу. В таком случае, Земля Санникова, если птицы тянули туда, должна лежать значительно дальше на северо-восток от Котельного, чем это раньше предполагалось.

Вопрос о Земле Санникова, казалось, решался в отрицательном смысле... И вдруг стало известно, что в 1944 г., русские опять организовали большую авио-разведку района к северу от Котельного, то-есть именно участка предполагаемой Земли Санникова. Судя по официальным отчетам, суши открыть не удалось. Возможно, что горы были расположены на ископаемом льде ледникового периода; с общим потеплением Арктики, залежи эти растаяли и возвышение исчезло, оставив

на дне следы песка и других древних образований. Так, по-жалуй, окончательно рассеялся миф о Земле Санникова.

— Они нашли этот остров, я там был! — раздался истерический крик из глубины амфитеатра.

Адриан растерянно смотрел на возбужденно жестикулировавшего немца Клауса; тот упрямо твердил

- Они открыли, я знаю!
- Тише, тише, удалось мне пробраться к нему и схватить за локоть. Я верю. Мы потом поговорим. Успокойтесь теперь.

С лицами заговорщиков, мы сидели втроем в комнате Адриана. Все были чудесно возбуждены. Волнение Адриана я могу объяснить только чарами Земли Санникова, увлекшей и погубившей столько разнообразных и смелых душ. Откупорили бутылку кентокского бурбона; немец повествовал, часто возвращаясь к уже известным нам фактам. Была ли это глупость, или прирожденная хитрость, но он распространялся насчет малозначительных событий, очень скупо делясь сведениями относительно интересующего нас предмета...

5

Однажды, Клауса с партией наиболее стойких заключенных пригнали к Лене и погрузили в трюм баржи. Они плыли до Тикси, а там перегрузились на пароходный ледокол. Через семнадцать дней пристали к острову, который по словам Клауса был Землей Санникова: никто этого не скрывал! Четыре необозримые столовые горы, затерянные в безбрежном молочном море. Там добывают уран и другие редкие породы. В шахте, опять при искусственном свете, Клаус увидел Мартина Бормана, которого все считают мертвым. Но это не всё.

— Верные люди мне показывали маршала Блюхера, Каменева и многих других знаменитых казненных, чьи имена моя память не удержала. Да, большевики сумеют воскресить нужных им покойников и еще раз удивят мир. А с Борманом мне удалось беседовать, от него я получил некоторые полезные сведения. Там я провел пять лет и стал другим человеком. Да здравствует советская система концлагерей, ура! — Клаус швырнул на пол пустую бутылку, но не разбил ее.

Немецкий лагерь был расчитан примерно на восемь месяцев, а советский планирует жизнь человека, скажем, на восемь лет. Режим разумнее и целесообразнее. Осужденному дают время от времени отдохнуть, поправиться, а потом снова эксплоатируют. Не люди уничтожают их, главным образом, а силы природы и это не так обидно. Кроме того, занимаются развитием человека в определенном направлении: и эта сторона не оставлена без внимания, что может даже льстить заключенному. Там, например, Клаус впервые прочитал несколько лучших немецких книг — за русским полярным кругом!

Система советских лагерей тем замечательна, что построена в мирное время и учитывает все возможности современной войны. Тюрьмы расположены в глухих, пустынных местах, население привыкает ко всяким лишениям. Люди незаметно перерождаются и создают очаги, способные выдержать грядущую ночь: темнота становится родной стихией. И оттуда пойдет начало нового существования.

— Чтобы понять какого рода жизнь имеет шансы продолжаться, надо изучать культуру лагерей. Это общество, строй, психология грядущего, — воодушевился Клаус, словно касаясь заветной мысли. — Я думаю, что надлежит и здесь в горах и саваннах строить подобные же учреждения. Застраховаться! Создавать гнезда, способные продержаться при любых обстоятельствах, которые и превратятся в дальнейшем в рассадники новой цивилизации. Об этом я докладывал в Вашингтоне! — Клаус вдруг смолк, бессмысленно уставившись в свой стакан.

Полярная ночь сама по себе уже тюрьма с непроницаемыми стенами. Природа постоит за себя, силы истощены и особого надзора не требуется. Но Клаус их обманул: сексуальная жизнь его поддерживала. Весной 1951 г., его повезли на советскую концессию Шпицбергена; там он бежал, проделав рекордный путь через девственные ледники, без консервов и портативного кислорода. Экипаж норвежской шхуны его подобрал полумертвого и выходил.

- Можно обернуться за одно лето, хвастливо уверял Клаус. Клянусь. Даже если судно на обратном пути вмерзнет, нас отнесет к «Северо-Восточной Земле». Необходим самолет, чтобы в случае опасности перебросить важных заключенных: русские наверное снарядят погоню.
- Да, да, поддакивал я. A вы сможете нас высадить на Земле Санникова?
- Доставьте меня на меридиан Тикси и я ручаюсь за успех! поклялся Клаус: Ehrenwort. И высажу всех: я знаю такое местечко. Нужны нарты и собаки. И современное оружие, несколько противотанковых пушек, много гранат. Двести опытных бойцов. Totsicher!

Адриан молча слушал, не делая никаких замечаний; я счел уместным обратиться к нему:

- Мне доподлинно известно, что пресловутая Земля Санникова открыта большевиками и давно эксплоатируется. Мой друг, Жан Дут, вот уже шестой год томится там. Вместе с ним действительно обретаются славные сановники. Насчет Бормана не знаю, но тоже допустимо. Неужели вы думаете, что это фантастичнее всего остального, происходящего кругом...
- Послушайте, послушайте, отозвался наконец Адриан, меня это увлекает. Но я специалист и много времени потратил на этот гиблый остров. Представьте себе, его нет! Нельзя ли тогда подойти к берегам Сибири и разгромить другой лагерь: там их, говорят, много. На худой конец...
- Конечно, конечно, быстро согласился я. Но вы забываете, что я стремлюсь освободить Жана Дута, а он на острове именуемом Землей Санникова, это факт! Важные опальные сановники тоже приманка. Кроме того...
- Кроме того, прервал Адриан, Земля Санникова манит, манит...
- Так вы согласны? воскликнул я и мы обменялись рукопожатием.

Мы успели доконать вторую бутылку; судя по приглушенному звуку, раздавшегося звонка, алкоголя было выпито вдоволь. Вошли Диана и Синтия, удивленно и приветливо поздоровались (только один Клаус поднялся и щелкнув каблуками, вытянулся у своего стула).

- Что, едем на Землю Санникова? оживленно спросил Адриан, морщась от зрелища галантно-похабно застывшего Клауса.
 - Нам специалистки пригодятся, поддержал я.
 - И даже очень, осклабился немец.

Дамы нерешительно смотрели: уж очень мы вели себя возбужденно (а на столе только одна, почти пустая бутылка).

Адриан пространно объяснил им сущность дела. Диане слова «Земля Санникова» почти ничего не говорили; но Синтию сразу затрепала лихорадка, знакомая всем исследователям. Впрочем, она же первая вспомнила:

— А что скажет шеф?

Но Диана успокоила:

- Ничего, устроится! А немец с нами поедет? налила себе остатки бурбона.
 - Ты на него тоже имеешь виды? спросил Адриан.
 - Может быть. А что?
- Интересно, свальный грех имеет какие-нибудь принципиальные границы?
- Боюсь, что нет, участливо отвечала Диана, смакуя бурбон. Море, если верить океанографам, всюду одинаково, как только выходишь за пределы территориальных вод.
- А нельзя ли вернуться в территориальные сферы? вмешался я, нравоучительно и пожалел: таким презрительным взглядом они меня наградили. Даже Клаус нашел нужным осклабиться.
- Искусственно возвращаться значит только обманывать себя, честно, со вздохом, возразил Адриан. Да и нет этого «назад»: мы оторвались от земли потому что берег провалился.
 - Когда предполагается экспедиция? деловито осве-

домилась Синтия. Она облачилась в передник и собиралась хозяйничать.

— Вот, что решат на Конференции, — заспешил я: — Уговорите Нарциса, повлияйте еще на других членов собрания: я вас познакомлю с ними! Вы и Диана можете оказать нам исключительную услугу.

Мне положительно нравились женщины Адриана (чем он их только притягивал)... В моей жизни, кроме случайных приключений, была одна Лоренса: странная ночь, полная привидений, болезнь ее братишки. Педро, он теперь взрослый, вместе с Жаном Дутом прошел все испытания русского плена. Может быть, чтобы еще раз взглянуть на Педро, я затеял всю эту полярную эпопею. Как он походил на Лоренсу. Время, ты без жала. Безжалостное время.

— Ты уже голосовал? — напомнила опять Синтия, — теперь пусто, успеешь до обеда.

Адриан поспешно схватил пиджак; подталкивая Клауса, я тоже вышел. Меня всегда поражало: умение западных людей, несмотря на все внутренние кризисы, четко выполнять свои обязанности. На месте Адриана, я бы давно запустил занятия на факультете и наверное уже не голосовал бы за Стивенсона или Айзенхауэра. А вот он с готовностью застегнул 60-ти долларовый пиджачек и побежал вниз по лестнице.

По унаследованной привычке, спускаясь в подвальное помещение на 121-ой улице, Адриан забормотал Отче Наш. Он испытывал противоречивые чувства. Был и прежний трепет, как при соборной службе или причастии; а с другой стороны, холодок, даже презрение... За кого голосовать? Какая разница? Но он всегда сознавал: еще немного и эта старая игра может превратиться в святую, великую, внехрамовую литургию... Или же, наоборот: еще унция равнодушия, себялюбия, сребролюбия и все станет откровенным балаганом, торгом, условностью.

Девица, старая знакомая, улыбнулась ему (сразу нашла в толстой книге страницу с его именем); она поблекла, расплылась, постарела. Адриан ее встречал только на выборах:

потом исчезала, Бог ведает, где пряталась (а ведь жила в этом квартале). Хотелось обратиться к ней и поговорить как с близким другом, пошутить. Но отголосовав, Адриан сразу забывал о ней, а через несколько лет вдруг опять натыкался! Бескорыстно принимала участие в этой незаметной общественной работе и только тихая печать времени на лице и во взгляде, свидетельствовала о том, что она тоже жила все эти годы. Виновато вздохнув, Адриан расписался в указанном месте.

«Когда-нибудь приду, а ее уже не будет здесь. И тогда пожалею, что ни разу не побеседовал вплотную. А говорить нам не о чем. Для меня она глупа и сера. Ее мама любит и поэтому терпит. А я никого не люблю и только то, что люди умрут делает их еще в моих глазах ценными. Самое великое в человеке, что он умирает! Не будь агонии всё вообще превратилось бы в мусор. Да здравствует необратимый процесс», — вот с какими, примерно, мыслями Адриан проник в шалаш, похожий на библейские кущи. Задернул полог и начал медленно, сосредоточенно опускать рычажки, сверяя некоторые имена по шпаргалке: он успел отметить стоющих депутатов и сенаторов, за которых собирался голосовать. Вышел из навеса и тусклая девица, улыбаясь, кивнула головою, точно поздравляя с причастием.

«Какая жизнь, какая большая жизнь, прекрасная и горькая, — вздохнул Адриан полной грудью. — Я хочу участвовать в этой невозвратимой жизни».

8

Все эти дрязги отвлекли Адриана от его главных забот. За несколько дней до суда, — по делу о быстрой езде, — Нарцис сообщил, что добился наконец аудиенции у шефа.

И Адриан, в назначенный срок, один подъехал к знакомому магазину. Его подняли на самый верх, но вместо амфитеатра, где происходило первое свидание, он очутился неожи-

данно в узкой, бесконечной оранжерее, уставленной кадками с тропическими, вспотевшими растениями; оттуда его провели через деревянную калитку в сверкающий, звонкий, по-модному обставленный кабинет, с видом на соседние небоскребы.

Шеф встретил его подчеркнуто строго: Адриан даже смутился, до того изменилось поведение и выражение лица старика: на улице, пожалуй, не узнал бы. Условно хорошенькая, точно из пластмассы, секретарша оставила их наедине, хотя изредка входила без стука в комнату и шопотом докладывала что-то; скрываясь, она неизменно улыбалась Адриану, на манер заводного ангела.

- Я хотел с вами посоветоваться, нерешительно начал Адриан.
- Да, я слушаю, он вдруг мучительно закашлялся и Адриан почувствовал укол жалости. Словно в ответ на это, шеф приветливо улыбнулся и тихо заговорил:
- Вот, пора на отдых, а смены нет. Если бы только враги мешали. Нет, удручает, что метафизические попутчики вредят. Тратят силы, выдумывают сложные потехи и теряют драгоценное время. Да, опыт, опыт. Если бы мы только научились фабриковать личный опыт!
- У меня опять неприятности, вяло продолжал Адриан, почему-то думая о своем отце, которого вообще редко вспоминал: пропал без вести, вероятно умер в японском концлагере. Да, я говорю у меня много неприятностей, как бы встряхнулся он. Вот теперь суд. За быструю езду или воображаемую драку с полицейским.
- Что же, Нарцис вам объяснил. Очень просто, вас могуть засадить не касаясь соблазнительной темы. Накажут, а те концы в воду.
 - То же самое Нарцис говорит.
 - Нарцис многое понимает.
- Меня удивляет... Нарцис, будто бы, умен и не у дел! Ведь вы его по-настоящему не используете.
- Мы его держим для особых поручений и не желаем компрометировать. Его дружба основана на недоразумении и

по первому знаку он вас покинет. Но вы правы, он созерцатель, а нам теперь нужны умные люди, умеющие пользоваться своими руками.

- Помните, как в бреду произносил Адриан, вы предложили присоединиться к вам, двойное посвящение...
 - Конечно, помню.
- Вот, какое задание мне поручат? Я хочу знать точно, что от меня потребуется?
- Ваша жизнь внешне останется такою же. Будете преподавать, если испытываете склонность. Вероятно очень скоро станете директором отдела, а дальше и деканом провинциального университета. Так что изменения скорее в приятную сторону. Больше денег, больше власти и больше ответственности. Ибо кому много дано...
 - Это все?
- Чего же еще? беспомощно развел руками шеф: он походил на милого дедушку, защищающегося от напраслин. Но в эту минуту секретарша зашептала на ухо и старик оскалился ясным и грозным взглядом. — Что же еще? — повторил, но уже деловым тоном: — Разумеется, нельзя вести себя легкомысленно и свободно. Даже если убъете кого-нибудь, не станете цинично об этом распространяться. О том что не раскаиваетесь надо забыть! У вас теперь две девицы: это не годится! Придерживаете дверь в собвее и думаете, что творите вечерю с Господом. Ребенок! Акты, слова, мысли, и чувства такого рода выдают вашу природу. А выживут, как я уже изложил, только гады или притворившиеся ими. И ваща задача ничем не выделяться из их ряда. Опыт с Чарли Удом можно считать провалился и не стоит распространяться. Скажу только, что такие затеи я рассматриваю как чрезвычайно опасные. Образумьтесь, необузданный мальчик. На худой конец, мы сохраним хотя бы сорняки.
- Ну хорошо, это все какие-то негативные требования, а что же положительного от меня ждут? Вам нужны люди с умными руками, для чего? Для чего?
 - Слушайте, медленно начал Шеф, во всем мире

подготовляются списки людей, подлежащих, по первому сигналу, заключению в модернизованные концлагери. Мы входим в критическую зиму, когда лучшее, чистое, доброе и поэтичное берется на учет и рискует быть уничтоженным без следа. Надо во что бы то ни стало успеть проникнуть в управление этих усовершенствованных застенков, получить там голос и влияние.

- Мне всегда думалось, что несмотря на всё, любовь и добро неминуемо восторжествуют, возразил Адриан, улыбаясь, словно при встрече с близким знакомым: действительно, он вспомнил капитана Авеля.
- Быть может да, быть может нет, шеф ловко перелистывал рукопись поданную ему ангелом; налитые, пухлые пальцы, и Адриану трудно было оторваться от их быстрых, кровожадных движений. Пока человек хоть изредка счастлив он, подобно свету, стремится согреть этими лучами и окружающие существа. Но можно себе представить грядущую эпоху, как планомерно, научно, стопроцентно исключающую всякую личную радость. И тогда добро погибнет. Уже опыт последней войны многое доказал, шеф опять поперхнулся, но справился, отпив воды из стакана.
 - Что же делать?
- Изнутри вести учет существ, сохранивших светильник и спасти их для будущего. Если ночь рассеется опять, тогда уцелеют эти отмеченные нами братья и начнут свое служение. Если же тьма не прояснится, то вообще ничто не имеет значения! Основной наказ эпохи, чтобы наряду с гадом, имеющим шансы выжить, пробрались бы к другому берегу и несколько замаскированных боговдохновенных созданий. В этом вы им должны помочь, притворяясь кадровым заплечных дел мастером.
 - Вы думаете, я подхожу для такой роли?
 - Безусловно, заверил его шеф.
- Странно, обиделся Адриан. Меня всегда учили, что надо открыто бороться за правду.
 - Уже немыслимо. Бесполезно тягаться со стихией, не

обеспечив себе искусственным путем, квази нормальной среды. Пилот, ведущий ракетный самолет, сидит в непроницаемой кабинке с постоянным атмосферным давлением и нужным процентом кислорода. Только защищенный от внешнего, пришедшего в движение мира, он сумеет удержать руль. Так и мы с вами, берущие в свои руки управление, должны оказаться в изоляции, иначе нас сметет вихрь. Вот настоящие, современные катакомбы: бронированная башня, толстые стекла и кнопки, кнопки воздействия... Нельзя высунуть руку: отморозят, откусят, сожгут лучами.

- Хороший образ, похвалил Адриан. А как вы относитесь к Конгрессу? видя удивленный взгляд шефа, добавил: Внутренние эмигранты.
- А это, отмахнулся он. Между нами существенное различие. Мы стараемся завоевать влияние, а они избегают пускать корни. Впрочем, там у нас много своих парнишек.
- Я собираюсь принять участие в съезде, сказал Адриан.
- Не возражаю. Повестка на этот раз даже интересная. Убежища под землею или в стратосфере! Впрочем, это идея древних катакомб, и несколько устарела. Они отстают от событий.
- А как вы относитесь к экспедиции на Землю Санникова?
- Мелочь и притом вредная. Мы не можем рисковать лучшими людьми для каких-то русских. Проект наверное провалится.
- А мне, признаться, нравится! вызывающе заявил Адриан.

Мало ли что нравится. Вот привлекательная секретарша, но это не значит, что каждому позволительно ею увлечься. Мы не дети. Раствор насыщен, начинает кристаллизоваться и все процессы теперь становятся необратимыми.

— Но помочь пленникам, скомпрометировать большевиков...

- Вздор. Большевики уже давно скомпрометированы. А помогать трудное дело. Вот вы подобрали бродягу на улице и пробуете его поставить на ноги, а что получается? Чуда нет и не могло случиться. Довольно авантюр и бесцельного разбрасывания сил. Нужна плановая мобилизация. Долой партизанщину. Вспомните Чарли Уда и смиритесь. А дело ваше в суде мы замнем. И деньги получите назад. Однако, мои коллеги уже начинают терять терпение: сроки истекают.
- Если бы опыт с Чарли удался, вы бы не смели так говорить! оживился вдруг Адриан. А между тем, эта неудача случайная.
- Докажите, ощетинился старик. И тогда поболтаем.

«Странно, — думал Адриан, досадливо морщась. — Тору Гейердалю точно так же сказали д о к а ж и т е и он построил Кон-Тики и отправился с товарищами на острова Океании. А мне почему то для своего торжества надо ухаживать за вонючим алкоголиком. Это несправедливо. Я хочу тоже парус, живую воду и синий ветер».

В. С. Яновский

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Черный Данте в облетевшем скверике Замышляет бронзовый сонет. Поздний вечер наступил в Америке, А в его Флоренции рассвет.

Ветер над равниною этрусскою Розовые гонит облака, И проходит улочкою узкою Тень твоя, блаженна и легка,

Беатриче! Нет тебя желаннее... Семь веков — как семь весенних дней: И опять — любовь, стихи, изгнание; Темный сквер и быстрый бег огней.

2

Вихрь без поклона Спрыгнул, как вор, — Сбросил с балкона Швабру во двор;

Щебет стекольный И тарарам; Стук недовольный Спущенных рам. Снова к постели, В порванный сон... Вдруг корабельной Палубы склон, —

Гавань и скалы В дальней стране, Той, что искала Тщетно во сне.

3

Согреться — да не знаю, где бы: Лишь снега синяя верста, Да замороженного неба Оранжевая пустота.

Вдруг — первый огонек селенья, И запах дыма и коров, — Как первый вздох стихотворенья, Еще не слышащего слов.

Слова клубятся где-то выше, Еще их, темных, не прочесть... Пусть над окном не видно крыши, Но, если светит, крыша есть!

Лидия Алексеева

Л. Н. ТОЛСТОЙ

(МАЛЕНЬКОЕ ПОЛЬСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ О ВЕЛИКОМ РУССКОМ ЛОВЧЕМ)

Высокомерный противник истории и ликующий ее сокрушитель, Толстой сам в глубине глубин своих историчен. Все его существо — художник, мыслитель, человек — прочно вросло в почву, в народ, в эпоху, в общественный слой, с которыми его связала судьба. Одаренный яркой индивидуальностью, своевольной и своенравной — он все же является логическим порождением истории, общественного состояния и национального быта. Это не Достоевский. Так или иначе — он гораздо более «социологичен» чем Достоевский. Поэтому ему было труднее (много труднее, чем Достоевскому) высказаться в сверх-историческом смысле: в смысле универсалистском. В значительной мере образовала его историческая действительность, в которой он жил. В не менее значительной мере образовал он себя сам — особенно в своей борьбе с этой исторнческой действительностью.

Не иначе и в религии: реальный христианин восстал против исторического христианства. Не избежал он и другого стязания: со своей порывистой и чувственной природой. Какой-то закон необходимости царил в его жизни и управлял ею; какая-то логическая непременность, неотложность оформила эту жизнь. Его покаяние — неизбежное, роковое: личное и общественное. Искусство его с самой его молодости и до конца жизни именно такое же. Не только как целое, не только как синтетическая иллюстрация — историческая, социологическая и биографическая: Толстой — это, как кто-то сказал, «великий монолог о мире XIX века». Толстой любил мир, но любил его в себе и для себя. И тут также скрывается фактор пленения; однако дело не только в этом.

Исследовав и изведав до дна сущность жизни, ее иррациональную сущность, познав, как редко кто, психо-физиологию человека, Толстой показал в своем искусстве безответствен-

ную власть случая над реакциями жизни и его торжество над всякими попытками применения к ним рационалистической нормы.

Случай в толстовском мире стал законом, а конфликт между иррациональными стихиями и стремящейся к их порабощению властью рационализма — неизбежным, и собственно никогда не подлежавшим окончательному предотвращению. Этим объясняется его принципиальная, рационалистическая борьба с историей. «Рационализировать жизнь невозможно» — учит нас искусство человека, который в течение всей своей жизни ничего другого не делал! Трагическая антиномия. Выйти из заключения, из тюрьмы разума ему никогда не удалось, хотя он знал, лучше чем кто-бы то ни было, что эта тюрьма только непрочный шатер. Этот гигант, мудрый и проницательный как библейский пророк, от рождения одаренный чудесной способностью внимания и необычайной интуицией, зоркий, чуткий и бдительный, как хищник, оказался бессильным, когда ему пришлось стать лицом к лицу с тайной бытия. Человеческое это поражение и глубоко человеческое злосчастье. Он это понял и потому — он, одержимый во всю свою жизнь пафосом дидактики — не скрыл этого от мира в себе. Наоборот, с дерзновенным смирением рассказал о своей тоске людям и объявил им свой «проигрыш». Не только его: свой метафизический ужас.

Всеми чувствами и всей силой своей чувственности глубоко, страстно влюбленный в жизнь, уже nel mezzo del cammin стал он жертвой неотступной мысли о смерти. (Эта мысль навещала его и раньше, но не с такой силой). Мысль о смерти — это единственные врата открытые перед ним в мир метафизики. Эти врата ужасали его как мало кого ужасали и ужасают. Мысль о смерти, мысль о ее неизбежности толкала его к самоубийству. Сверх меры любил он жизнь. Он открыл свою муку миру. И эта личная исповедь стала его человеческим — во веки веков и для всякого живым словом. В этом кроется его особенное действие. Но кто мог так говорить? Кто мог т а к крикнуть, чтобы всеми быть услышанным? Именно он: Толстой. Но для этого нужно было жить в XIX веке. Кого бы ныне достиг его голос? После страшного шума 1914 года и еще более ужасного гула 1939 года мы уже не слышим таких голосов.

Всей душой устремленный к Богу, не нашел он Его ни в одной церкви и, как будто (об этом можно только догады-

ваться) никогда и нигде не прозвучал для него Божий призыв, не коснулась его Божья благодать. Он не Паскаль, хотя тот ему был так близок. Ночь 23 ноября 1654 года ему не была дана. Осталось только «пари» Паскаля. В этом заключалась его особая обездоленность, которую он вероятно испытал и познал глубже и в которой отдавал себе яснее отчет, чем многие думали и думают.

Противник культуры — он сам был культурным до мозга костей, блестяще отточила его чеканка социальной дифференциации и отшлифовала школа многовековой интеллектуальной традиции. Казалось поэтому, что судьба предназначила ему стать идеальным представителем духовной элиты — русской интеллигенции. Но он не любил ее и в своих романах предал ее своему барскому суду, приговор которого увековечила его колкая и ядовитая сатира.

Исключительной красотой засиял он однако тогда, когда по добровольному выбору нашел свой приют на лоне примитива. Аристократизм, утонченный христианской этикой, открыл для себя выход в том, что было его противоположностью. В этом акте расплавления своего огромного, гигантского Я в человеческой массе и в природе он испытывал особое наслаждение, наслаждение характерное для этого индивидуалиста-пантеиста. И тут он преодолел грозившую ему неотложно опасность банальности. Банальным этот открытый руссоист никогда не был. А добровольный отказ от своих привилегий в пользу угнетенных был актом возможным только для аристократа, актом вместе с тем логически завершающим его социальную роль в перспективе оценок этического порядка. Обвинения в демагогии отпали, как грязь, не запятнав его барского одеяния. Драгоценный камень и без оправы горел огнем своего таинственного состава и огнем своего тонкого гранения.

Напитанный «трудами мудрецов», «искусств вдохновенных созданьями», «преданьями и заветами минувших веков», разумевший «ручья лепетанье» и «говор древесных листов», «изведав и испытав всего человека» — как Гёте у Боратынского — «проникнуть он мог и в нищую хату и в царский чертог». И потому — дорог он одинаково и «первым последним» и «последним первым», и «малым сим» и «великим», и «глупым» и «мудрым».

Историзм, универсализм, социологизм, анархизм, панте-изм, индивидуализм, рационализм, иррационализм, интеллек-

туализм, примитивизм, сенсуализм, аскетизм, аристократизм, демократизм и т. д. — перечень дуализмов и антиномий возможно продолжать без конца. И все-таки Толстой представляет собой полное единство и цельность; это монолит, это личность, которую не разорвали и нравственно не уничтожили внутренние конфликты и разлады раздиравшие ее. Он был безгранично больше и глубже чем эти конфликты.

В этом кроется тайна особого обаяния его авторитета. Чудесно живой, могучий, неутомимый и неисчерпаемый, как будто предназначенный высшим приговором судьбы для вечного бытия в силе и стойкости, стал он под конец своей жизни чем-то вроде совести своего времени. Это один из величайших европейских гуманистов.

Болея над долей ближнего, страдал он все-таки более за себя и это страдание было самой дорогой его духовной пищей. Он верил, что всякий может и должен направлять себя к добру; в этом он видел возможность осуществления общественного порядка и спасение мира, и в этом предчувствовал залог бессмертия: добро умереть не может.

«О покаянии лишь непрестанном» учил старец Зосима и защищал инока от укора за уединение и заботу о собственном спасении. Тому же учил и Толстой. Но Зосиме поверили, а Толстому верить не хотели и не простили ему «эгоистического» желания достигнуть личного совершенства. А ведь он только удостоверял и живым примером свидетельствовал об имманентной нравственности в человеческом существе. Но Достоевский был бедняк, а Толстой барин, богатый и знатный: «легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому войти в Царство Небесное».

И многие даже среди самых «малых», не говоря уже о «мудрецах в лукавстве» считали себя в праве напоминать яснополянскому старцу о словах апостола Павла, о «языках человеческих и ангельских», которые суть как «медь звенящая или кимвал бряцающий» и о том, что «если имею д а р пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру»... и «если я раздам все имение мое», «а не имею любви, то я ничто» и «нет мне в т о м никакой пользы». А кто из них мог знать достоверно, что он «любви не имел»?

Этот враг всякого насилия, откуда бы оно ни шло, подвергался нападениям «справа» и «слева». Он стал в середине, в «среднем» человеческом пункте. За это не было ему пощады и как человеку ничего ему не простили, не забыв ни об

одном требовании, предъявляемом святому. А ведь он был простым смертным, а не святым.

Ища практического осуществления «правила» в жизни, разумом познав непобедимость того, что в жизни иррационально, этот верный слуга мысли лучше чем кто-бы то ни было знал непреодолимую анархию, произвол жизни и глубоко страдал от своего поражения. Чужда ему была умозрительная диалектика. «Практика» была искушением, против которого он никогда устоять не мог.

Враги, враги старые и новые, адепты «чистой мысли» не приметили и не поняли настоящего смысла этого поражения — его пафос был вне поля зрения их лилипутных глаз. На своем наглом языке они назвали трагедию Толстого «позором», обвинив в лицемерии и лжи того, кто всю свою жизнь ненавидел лицемерие и ложь.

Стихия, в которой он «практически» был непобедим и в которой он абсолютно — иррационально торжествовал: это его искусство. Его единственное в своем роде, незаменимое и ни с чем несравнимое искусство. А ведь оно сначала и до конца является его теорией и практикой. Этого они не хотят видеть и злобно радуются, что он от искусства своего отвернулся. И не понимают, что на такое отступничество решиться мог только он, он сам, он, бесконечно больше знавший чем то, что ему удалось выразить в своем искусстве. Он распознал его ограниченность в пространстве и времени, понял его «социологическую историчность» и воспротивился ему.

В этот раз решил он побороть свою собственную историю: устремил свои взоры в мир Божий и человеческий — не знающий ни начала, ни конца.

Поверили ему, но только в минуту его смерти. Поверили молчанию. Кто-же однако был прав: они или он?

PRO DOMO NOSTRA

(Ex ungue leonem)

В своей «Исповеди», рассказав об ужасающем потрясении, которое он испытал в самый полдень своей солнечной жизни, потрясении вызванном мыслью о смерти (а эта мысль заставила его переоценить все свое прошлое, взгляды, дела и достижения, а также свою дальнейшую человеческую судь-

бу), Толстой сравнил себя с человеком, который шел по улице, вдруг остановился, повернул и пошел в обратном направлении. Все, что было раньше с правой его стороны оказалось на левой. Дома и домики, которые тянулись справа стали тянуться слева.

Так случилось в жизни и творчестве Толстого и с нашим «домиком», с Польшей. Маленький был это домик, однако судьба его в этой жизни значительна. В начале писательской дороги появлялись в его произведениях проблески равнодушной недоброжелательности по отношению к полякам. Внимательный и опытный охотник, великий «ловчий» и загонщик человеческих душ отметил типы польской «дичи» и запечатлел ее отрицательные черты в с в о и х «Записках охотника». Позднее болел он над этим и объяснял свою «несправедливость» традиционным воспитанием, которое его образовало. Во второй половине жизни, после того «кризиса», наступило «пресуществление» и в этой области также. Появились новые проблески, но совершенно иные.

Однако, когда поляки, даже такие, как Сенкевич, обращались к нему по польскому делу, как к общепризнанному судье человеческих дел, они получали ответы, которые вызывали в них смущение, тяжелое изумление и даже тоску. На их политические письма отвечал рационалист, представитель индивидуалистической и утилитарной этики, стремившийся сохранить любой ценой последовательность своих принципиальных воззрений — отвечал противник государства, национализма и даже патриотизма. В ответ на жалобы касавшиеся например отчуждения от земли польских крестьян насильными мерами Прусского правительства, он объявил, что скорее скорбит над глубокой безнравственностью Прусского правительства, чем над участью польского мужика, который наверно как-то поладит с этим бедствием, что доля польского мужика завиднее доли его преследователей. В тени рационализма и рядом с ним заметна здесь также позиция барина-индивидуалиста, который больше заботился о личном нравственном самоусовершенствовании чем об уменьшении страданий крестьян, привыкших к ним с вековечных времен. Вспоминается невольно знаменитый разговор князя Андрея с Пьером в очаровательном эпизоде парома в «Войне и Мире». Упразднение крепостного права важнее для господ, говорил князь Андрей, так как оно развращает их данной им чрезмерной властью над народом и приводит к своеволию и разным позорным актам насилия, чем для мужика, который и раны свои быстро залечит, и даже к изгнанию в Сибири себя приспособит, продолжая свою «скотскую жизнь».

В ответе Сенкевичу можно распознать, как я уже сказал, проявления упрямого рационализма и дерзкого эгоизма Толстого времени, когда писалась «Война и Мир». Самым резким выражением этих тогдашних настроений Толстого является его письмо к гр. А. А. Толстой (14 ноября 1865 года), в котором он писал:

«Почему вы говорите, что я поссорился с Катковым. Я и не думал. Во-первых, потому что не было причины, а во-вторых, потому что между мной и им столько же общего, сколько между вами и вашим водовозом. Я и не сочувствую тому, что запрещают полякам говорить по-польски, и не сержусь на них за это, и не обвиняю Муравьевых и Черкасских, а мне совершенно все равно, кто бы ни душил поляков или ни взял Шлезвиг-Голштейн или произнес речь в собрании земских учреждений... И мясники бьют быков, которых мы едим, и я не обязан обвинять их или сочувствовать». (Кстати замечу, что в публичных выступлениях Толстого того времени таких заявлений найти нельзя).

Но вот в 1906 году, незадолго до смерти, в период, когда он ушел от своего великого искусства, Толстой, часто делившийся с друзьями угрызеньями совести по поводу своих грехов по отношению к Польше, написал один из своих самых прекрасных рассказов «За что?»

Весь рассказ основан на коротком отчете о реальных событиях из жизни польских песеленцев в Сибири в 30-х годах Мигурских, напечатанном в книге Максимова «Сибирь и каторга». Эта повесть Толстого пропитана уважением к польскому патриотизму, как и глубоким сочувствием к польскому мученичеству и громко звучит в ней негодующий протест автора против русского насилия. Толстой много потрудился, чтобы обогатить свой рассказ разными типично польскими историко-политическими подробностями и польской идеологией, а также введением правильных польских предложений и даже приведением латинских фраз из католических молитв. Каждый читатель, даже самый заурядный, не может не заметить этого усилия. Но тот, кто изучал жизнь и творчество великого писателя, найдет в этом рассказе нечто большее. Прежде всего поражает факт, что из малой прочитанной странички в книге Максимова, Толстой создал сложную и длинную повесть, с богатой и весьма драматической фабулой — а «Воспоминаний» Мигурского, которые появились в 1863 году

во Львове, Толстой не знал. Сопоставление источника с достижением бросает богатый свет на процессы художественного творчества Толстого. Далее, чтобы сделать польских героев рассказа возможно более привлекательными, он наделил их чертами своих любимых героев из своих величайших произведений. Это была своего рода «толстоизация» польских характеров, значит своего рода руссификация, против которой мы пожалуй протестовать не будем. Но это не все. Автор поставил своих польских героев в «сентиментальное» положение похожее на собственное, когда он был влюблен в свою будущую жену. Таким образом Толстой действительно из глубины сердца взял элементы для этого рассказа. Но этот факт значителен еще и потому, что он показывает, что когда Толстой внезапно вернулся к своему искусству — рационалист ушел в тень и забытьё. Снова восторжествовала стихия спонтанных чувств, не проверяемых разумом. Польский патриотизм получил неожиданное оправдание и великолепную санкцию автора вольтеровской сатиры «Христианство и патриотизм», в которой патриотизм высмеян и изобличен как источник политического зла. Затем — если мы рассмотрим эту вещь под углом общего отношения Толстого к полякам — мы найдем в ней трогательное подтверждение раскаяния в давнишних грехах и стремление загладить эти грехи, которые (впрочем) никогда большими не были. Ибо и польская проблема никогда большой не была для Толстого до критического периода его жизни. И вот здесь выявляется еще одна, скрытая, но значительная роль этого рассказа. Он бросает свет на этот самый кризис: открывается несомненная и глубокая правда кризиса и искренность борьбы со всем, что беспокоило совесть этого великого «кающегося грешника». Когда он начал выметать пыль и всякий сор из своего дома, когда он начал вырывать всякие плевелы ненависти и предрассудков в своем саду он не забыл и об этой маленькой крошке злости, об этой соринке прежней недоброжелательности. Важен поэтому этот рассказ, ценен и дорог не только для нас поляков, но и для всех тех, кто верили и продолжают верить в добрую волю и искренность «яснополянского пророка».

О художественном блеске «За что?» нет надобности распространяться — это жемчужина его искусства, которая безапелляционно опровергает всякие домыслы на тему мнимого истощения художника. Но странное дело, не лишенное иронии, — этот рассказ был мало известен не только в Польше. Мало читали его русские и редко кто из них его помнит. (В

англосаксонском мире его совсем не знают). А ведь легко в нем увидеть и узнать когти «великого Льва».*

В. Ледницкий

P. S. В ноябре 1960 года появилась книга The Short Stories by Leo Tolstoy (Translated by A. Mendel and B. Makanovitsky with an Introduction by Alexandra Tolstoy). Сборник включает также «За что»? под заглавием «Why»? Это вероятно первый английский перевод «За что?» (Переводчики об этом не упоминают). К сожалению перевод весьма неудачен по целому ряду причин. Переводчики не воспроизвели польских фраз, которые Толстой ввел в свой текст. А в своем переводе исказили их смысл; польские фамилии даны в транскрипции — чего не следует делать, т. к. польский язык пользуется латинским алфавитом; польские уменьшительные переданы неправильно, то же касается и исторических географических названий. Словом исчез тот особый польский колорит, который Толстой старался придать своему рассказу. А как усердно он заботился об этом доказывает хотя бы то, что он посылал свои «polonica» профессору Бодуэну де Куртенэ в Петербург для проверки и исправления. Должен сказать и о более досадных погрешностях. Константина Павловича (который был наместником в Царстве Польском) переводчики называют «Tsar Konstantin»! Вильно стало (Толстой писал Вильно) «Vilnius», что для времени действия рассказа является анахронизмом. Но есть и другие, более разительные анахронизмы. В своем примечании к рассказу переводчики заявляют, что Толстой усердно занимался восстанием 1863 года и собирал соответствующие материалы — тогда как рассказ Толстого связан с восстанием 1830-31 годов. Получается несуразность: с одной стороны Константин Павлович, умерший в 1831 году, Николай Первый, умерший в 1855 году — с другой восстание 1863 года.

^{*} Подробный разбор отношения Толстого к Польше дан мною в моей книге (Venceslas Lednicki) Quelques aspects du nationalisme et du christianisme chez Tolstoi (Les variations Tolstoiennes à l'égard de la Pologne) Cracovie 1935. (См. Travaux publiés par la Société Polonaise d'Etudes concernant l'Europe orientale et le Proche Orient, vol. XI).

ИЗ ЧЕРНОВОЙ ТЕТРАДИ

САМОЗВАНКА

Нет, ты не муза, ты — другая, Ее соперница, двойник. Самоуверенная, злая, Несдержанная на язык.

Не та, что царственно-спокойна Не скажет в гневе ничего. Обманщица, ты недостойна Гостеприимства моего.

Всё ж не гоню, тебя мне жалко. И ночь и глушь и дождь идет. Но помни, там, за дверью палка, Которая пребольно бьет.

ЧУЧЕЛО

Жизнь тебе наскучила, Жалкое ты чучело! Что ж, повесся, утопись, А не нравится — влюбись. Ты, пойми, упрямое: Это то же самое.

душа и тело

Душа моя, не бойся, не стыдись Любви земной, любви обыкновенной, Не порывайся в ледяную высь, Но в теле пребывай — несовершенном.

Ведь без тебя ему, о как прожить, Хоть не всегда оно с тобой согласно, А без него, как будешь ты любить Здесь, на земле, не по земному страстно?

Тебя хранит от легкости оно, А ты его спасаешь от паденья. Но меж собой враждуя, — вы одно, Одно в покое и одно в смятеньи.

ШАР

В этом мире правды нету, В царстве глупости и злобы. На свободную планету Перебраться хорошо бы

И взглянуть из жизни новой, Как во всем своем убранстве, Налит скукою свинцовой, Шар земной кружит в пространстве.

язык

В одиночестве моих ночей, В тишине, которой нет названья, Полюбился шум людских речей, Слов несовершенных сочетанье.

Дружен их таинственный полет. Кружатся, роятся, словно пчелы, Собирающие райский мед, — Прилагательные и глаголы.

Стройно всё — спряженье, падежи, Согласованность числа и рода. Вечное сопротивленье лжи, Языка послушная свобода.

Владимир Злобин

Л. Н. ТОЛСТОЙ — ДРАМАТУРГ

1

До сих пор иной раз высказывается мнение, что Л. Н. Толстой, подсмеивавшийся над оперно-балетными спектаклями и в «Войне и Мире», и в трактате «Что такое искусство?» и над драматической актрисой в «Воскресении», недолюбливал театр вообще. Это опрометчивое суждение опровергается длинным рядом фактов, теперь заботливо собранных и неопровержимых. Прежде всего — Толстой драматург. Драматургии его посчастливилось меньше, чем другим его произведениям. Литературоведы и критики с меньшей обстоятельностью вглядывались в его пьесы, и только в последнее время появились специальные монографии об этом двух советских исследователей — К. Ломунова и В. Лакшина, интересные не столько освещением пьес, сделанных с более, чем спорных «позиций марксо-ленинизма», сколько тщательной подборкой историко-литературных и театральных фактов. Часть этих данных используется в этих заметках, которые, в основном, имеют в виду подчеркнуть то, что, на наш взгляд, недостаточно выделено в критической литературе о пьесах Толстого: его удивительное и поучительное экспериментирование в этой области, крайне его интересовавшей. Иронизируя над театром изощренным, театром для «сливок общества», Толстой с постоянным вниманием относился к театру этическому (все-равно — сатирической или трагической окраски), к театру народному, воспитательному. И на протяжении своей литературной жизни он неоднократно обращался к драматической форме, в которую он облек или хотел облечь шестнад-

¹ К. Ломунов. Драматургия Л. Н. Толстого, Гос. Изд. «Искусство», М., 1956, и В. Я. Лакшин. Искусство психологической драмы Чехова и Толстого («Дядя Ваня» и «Живой труп»), Изд. Моск. У-та, М., 1958. Ломунов давно занимается изучением Л. Толстого, и монография его особенно интересна изложением сценической истории большинства толстовских пьес, что в данных заметках почти не затрагивается.

цать сюжетов. Идейно все эти толстовские опыты находятся в том же потоке его менявшихся взглядов и настроений, которые породили и его эпические сочинения. Повествователь по преимуществу, он пытливо доискивался, в чем же секрет различия между привычной ему эпической формой и формой драматической; последняя представлялась ему очень нелегкой, полной условностей, продиктованных во многих случаях театральной техникой.

В 1908 году в журнале «Театр и Искусство» было приведено признание Л. Толстого в трудностях, которые он стремился преодолеть, создавая драму «Власть Тьмы»: «Всю разницу между романом и драмой я понял, когда засел за свою «Власть Тьмы». По началу приступил к ней с теми же приемами романиста, которые были мне более привычны. Но уже после первых листков, увидел, что здесь дело не то. Здесь нельзя, например, подготовлять моменты переживаний героев, нельзя заставлять их думать на сцене, вспоминать, освещать их характер отступлениями в прошлое, все это скучно, нудно, неестественно. Нужны уже готовые моменты. Перед публикой должны быть уже оформленные состояния души... Такие высеченные образы в взаимных колизиях волнуют и трогают зрителя. А монологи и разные переходы с картинками и тонами — от всего этого тошнит зрителя... Правда, и я не удержался, и я несколько монологов вклеил в «Власть Тьмы», но, вклеивая их, я чувствовал, что делаю не то. Трудно старому романисту удержаться от этого, как трудно бывает кучеру сдержать лошадей, когда с горы напирает на них тяжелый рыдван».2

Из этих высказываний видно, что Толстой, во-первых, в принципе уже расходится с традиционными приемами драматургии и, во-вторых, отчетливо ощущает особенности эпического и драматического родов. Но это относится к периоду 80-х гг., в ранних же своих драматургических опытах он следовал былой традиции.

2

Впервые он попробовал написать пьесу в 1856 году, когда ему было только 28 лет. Он сделал тогда наброски комедии «Дворянское Семейство» (второй вариант — «Практический Человек»), где изображалось господское распутство в деревне; в том же году была задумана им вторая комедия —

² «Театр и Искусство», 1908, № 34, стр. 580-1.

«Дядюшкино Благословение» (другой заголовок — «Свободная Любовь») о барском разврате в городе. Фрагменты этих пьес сохранились. Из дневниковых записей Толстого видно, что он досадует на неудачу опытов. В 1864 году им была быстро написана комедия «Зараженное Семейство» — своеобразный отклик на споры по поводу тургеневской новинки «Отцы и Дети» (1862) и романа Чернышевского «Что делать?» (1863), при чем Толстой хотел показать опасность влияния «нигилистов», т. е. выступил против «базаровщины» и «рахметовщины». Ему настолько хотелось как можно скорее обнародовать свою пьесу, что он начал хлопоты об ее постановке в Моск. Малом театре. Намерение не осуществилось и, скорее всего, под влиянием знаменитого уже тогда драматурга А. Н. Островского, высоко ценимого Толстым. Островский, прослушав в чтении автора пьесу, дружески пожурил Толстого, посоветовал не спешить, а в письме к поэту Н. А. Некрасову, в то время редактору «Современника», более откровенно сообщал: «Это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения». Текст последней редакции пьесы, к сожалению, не найден до настоящего времени, но позволительно догадываться, что Островский осудил не столько задор пьесы, сколько ее формально-сценические недочеты: растянутость, вялость действия и т. п. Впоследствии Толстой и сам находил этот опыт не заслуживающим внимания.

В тот период влияние на него традиционной классической драматургии и ее техники было значительно. Он отлично знал ее, у него были любимцы из «классицистов» — Корнель, особенно Мольер, затем Шиллер, Гюго, из русских авторов Гоголь, Островский (кроме «Грозы»), по ним он изучал технику построения пьес, обильных монологами, не казавшимися ему тогда неестественными. Позже, в 1903/4 гг., в статье о Шекспире и драме, идя против общепринятых устоявшихся мнений, он сурово разделывается не только с Шекспиром, но и с рядом великих драматургов. Ему становятся чуждыми авторы вне этики, безрелигиозные. Противоречивость толстовских суждений, отрицание в его поздний период того, что принималось им раньше, — следствие его непрерывных исканий вообще и в том числе изменения его литературно-эстетических взглядов. Начинают изменяться и его драматургические опыты, к которым он не переставал обращаться. Нет, он не отвратился от театра вообще, ведь именно в статье о Шекспире мы находим знаменательные строки: «Одна из частей искусства, едва ли не самая влиятельная, есть драма... Она важное орудие прогресса». Здесь, конечно, речь идет не о прогрессе в общепринятом смысле, а о нравственном прогрессе людей вообще и каждого человека в отдельности.

После великого душевного и духовного перелома 80-х гг. Толстой с особенным вниманием задумывается над народным театром, т. е. театром для неграмотных или полуграмотных крестьян и городского простонародья. Живое слово, сценически воплощенные образы в рамке декораций, наряду с нравоучительной книжкой (напр., изд. «Посредник»), а то, может быть, и доступнее, чем книжка, могут стать громадной воспитательной, пробуждающей силой. Пусть это не будет понято в примитивном смысле наших дней, но позволительно сказать, что Толстой хотел театра нравственно-агитационного, утилитарного. Однако, к этому надо добавить, что Толстой имел в виду художественно-утилитарную драматургию, и во многих случаях это ему удалось.

Для такого типа пьес традиционные драматургические формы становились обветшалыми, нужно было снова искать и изобретать. Минуя пока его большие пьесы, а кратко касаясь только его народных пьес и сценок, нельзя не заметить новых его жанровых находок: в 1886 г. им написан «Первый Винокур» — живая нравоучительная пьеска против пьянства. Какова ее форма? В пьесе много наивно-веселого гротеска (изображение, напр., ада с чертями, их бухгалтерия, подсчитывающая число грешников из разных сословий, при чем наиболее грешат привилегированные), напоминающего комические сцены старинного западного мистериального театра и старо-русские интермедии и лубочные картинки, т. е. был выбран доходчивый жанр для неискушенных зрителей. Между 1883 и 1894 годами писалась другая пьеска — «Петр Хлебник» (Петр Мытарь) о перерождении надменного богача в христианского праведника, и вся фактура этой пьесы напоминает драматургические приемы опять-таки старинных жорамитэ, а написанные в 1886 г. по сюжету из сборника А. Афанасьева «Народные русские легенды» сценки о жестоком и наказанном царе Аггее похожи на миракли средневекового театра. Поистине экспериментируя, Толстой переходит от одного жанра к другому, имея в виду, с одной стороны, характер обрабатываемого им материала, а, с другой — аудиторию, к которой предполагалось обращаться. Так попытки написать автобиографическую драму «И свет во тьме светит»

(тема борьбы толстовских религиозно-моральных идей с домашними препятствиями, тема ухода из семьи) — попытки, прекращенные автором в 1902 г., связаны с использованием уже иного жанра — бытовой, психологической драмы обычного типа.

Самые популярные и особо ценные большие толстовские пьесы тоже написаны в разных художественных «ключах» и тоже представляются своеобразными экспериментами, обычно не очень удовлетворявшими требовательного к себе Толстого.

3

1886 год оказался очень плодотворным: помимо небольших пьес, Толстой писал и закончил пятиактную драму «Власть Тьмы». Фабула ее, заимствованная из тульского судебного дела, общеизвестна. Хотя в драме и сохранен бытовой и языковый местный колорит, ставший впоследствии камнем преткновения для актеров. Толстой поднял весь материал на большую общечеловеческую художественную высоту. Неоднократно русские и иностранные критики говорили о крайне тяжелой атмосфере пьесы, о натуралистичности некоторых эпизодов, в особенности 13-16 явлений четвертого действия, где запутавшийся в грехах Никита чуть ли не на глазах у зрителей убивает своего только что родившегося незаконного младенца, но Толстой сам предугадал необходимость другого варианта, написав одну из удивительнейших по художественной силе сцену, в которой через тонкий диалог девочки Анютки и старого работника Митрича дается понять о совершаемом преступлении. Атмосфера пьесы действительно сгущенномрачная: через цепь злых деяний влекутся темные женщины и Никита к мнимому счастью, которое им мерещится в обладании деньгами. Деньги открывают путь к распутству легкомысленного щеголя-бабника Никиты. Тьма царит в душах большинства героев пьесы. Эту тьму — корыстолюбие, чувственность, пьянство, предрассудки, дикость — некоторые новейшие советские литературоведы целиком обусловливают такой формулой: «Главная тема — распад устоев патриархальной деревни под натиском развивающихся в стране буржуазных отношений».3 (Будто бы патриархальная деревня не знала власти этих исконных пороков?). Обязательный «марксо-ленинский социологизм» ослепляет зоркого, по-суще-

в Напр., Ломунов, цит. соч., стр. 129.

ству, исследователя, который затушевывает истинный замысел пьесы, вполне ясно раскрытый самим Толстым, во-первых, в подзаголовке — «Коготок увяз — всей птичке пропасть» и, во-вторых, в эпиграфе, взятом из Евангелия о грехе прелюбодеяния (Мф. V, 28-29). «Корень зла» — в сердце каждого отдельного человека, человек же живет в обществе с его правдами и неправдами, с удачными и неудачными порядками, правилами и законами, в очень сложной обстановке жизни, которую, чаще всего, в единую формулу не вместишь; Толстой не мог не коснуться и всего уклада жизни, жестоко нападая на все его уродства, но всё это — побочные темы, а доминантой пьесы является жизнь отдельной человеческой души, в данном случае — Никиты, совесть которого сначала дремала, потом проснулась, растревожила, устрашила его, и он просветляется, а в финале всенародно кается, возвращаясь к забытому им Богу. В подавляюще-темной атмосфере пьесы слабым огоньком вначале мерцает образ отца Никиты — захудалого бедняка-мужиченки Акима. Этот образ косноязычного крестьянина, с его нелепым присловьем «тае, тае», как будто бы плохо соображающего, наивного — кажется исполняющим в пьесе функцию комического персонажа, его призывы образумиться, уйти от греха вызывают ласковую улыбку, но по мере развития действия пьесы этот комический образ вырастает в величественную фигуру, он заражает зрителя искренним и ликующим пафосом в конце пьесы, приветствуя перерождение Никиты словами: «Бог простит, дитятко родимое. Себя не пожалел, Он тебя пожалеет. Бог-то, Богто! Он во!»

Если в традиционной драматургии носителями морали, как правило, бывали так называемые «благородные отцы», резонеры, важно и степенно расхаживавшие по сцене, то у Толстого — это внешне смешной человек с внутренним величавым нравственным богатством, — не удивительная ли находка писателя?

Выше было приведено суждение Толстого о том, что в драме «нельзя подготовлять моменты переживаний на сцене», что «перед публикой должны быть уже оформленные состояния души», однако, Толстой скромно умолчал о том, что во «Власти Тьмы» ему в значительной степени удалось показать «текучесть», становление характера и не столько при помощи монологов (в этой пьесе они еще есть), сколько посредством диалогов, шаг за шагом подготовляющих катарсис Никиты, его покаяние (в особенности — в 5-ом действии — разговоры

его с Мариной, когда-то им обманутой девушкой, и с пьяным работником Митричем).

Когда «Власть Тьмы» в конце концов (в 1895 г.) была допущена цензурой к постановке в театрах, где пытались поразному ее трактовать (а теперь в советском театре «снимают» христианскую мораль, расставляя социально-обличительные акценты), Толстой не был вполне удовлетворен, считая, что и в этом его опыте что-то «не то», и вскоре предприняльновую попытку написать еще одну пьесу. Если «Власть Тьмы» в жанровом отношении можно отнести к морально-поучительной трагедии, то новая пьеса стала сатирической комедией, где автор нарочито использовал карикатурные ситуации, гиперболические очертания многих образов и гротескные краски.

4

Новая комедия — «Плоды Просвещения» задумана была еще в период создания «Власти Тьмы», но закончена в 1889-90 гг. Возможно, что окончательное ироническое название ее находится в каком-то внутреннем сродстве с названием предшествующей драмы: «Плоды Просвещения» (т. е. по Толстому — ложного просвещения) та же власть тьмы, окутывающая барское «ученое» общество. Сохранилось восемь редакций-вариантов — следы упорной, настойчивой работы и шлифовки, все это крайне интересный материал, для проникновения в писательскую лабораторию. Когда эту еще незаконченную пьесу, по инициативе Татьяны Львовны, дочери пи-сателя, решили поставить в Ясной Поляне любительскими силами, то, присматриваясь на репетициях к исполнителям ролей и к тому, как текст «ложится» на сцену, Толстой многократно и спешно перекраивал его, считая эту работу «низкой, но увлекающей» (в письме к П. И. Бирюкову). Если когда-то Толстому не удавалась динамика пьес, то этот новый эксперимент преизбыточно полон непрерывной суеты, органически вытекающей из быстро меняющихся ситуаций. Более тридцати действующих лиц пестрым хороводом сплетаются в веселой и шумной сутолоке, завязывая и развязывая маленькие и большие узлы перипетий, стройно служащих основному конфликту: трое мужичков-ходоков приходят в столицу к богатому барину-помещику, обещавшему крестьянам из своего поместья продать часть земли. Земля крестьянам нужна до зарезу, их собственная так им тесна, что «куренка, скажем, и того выпустить некуда» (эта фраза рефреном проходит через всю пьесу). Казалось бы, барину остается только выполнить свое давнее обещание, подписать договорную бумагу и принять деньги в задаток. Однако, барин, добрый и мягкий по натуре, в плену модных в 80-х гг. спиритических увлечений (комедия — отклик на «злобу дня»). Вместе со своими учеными друзьями он устраивает таинственно-волнующие спиритические сеансы, приглашает знаменитых медиумов и по всякому поводу спрашивает советов у спиритического блюдечка, которое в данном случае (по поводу продажи земли) говорит «нет». Мужики в отчаянии. Юная горничная Таня, живая, умная, смелая (по меткому отзыву чуткого В. В. Стасова, напоминающая мольеровскую субретку) решает помочь им: во время вечернего сеанса она при помощи ниток, фосфорных спичек и гитары подает «потусторонние сигналы», подбрасывает бумагу мужиков, которую барин и подписывает. Однако, все танины козни раскрыты мстительным лакеем Григорием, и можно было бы ожидать, что нелепо-суеверный барин и его приятели отрезвятся, а мужики снова окажутся ни с чем. Ничуть не бывало: спирит-профессор с важной ученостью объясняет, что «очень может быть, что девушка эта хотела обманывать: это часто бывает; может быть, она что-нибудь и делала, но то, что она делала, делала то, что было проявлением медиумической энергии... Даже весьма вероятно, что то, что делала эта девушка, вызывало, соллицитировало, так сказать, проявление медиумической энергии, давало ей определенную форму»... Это «объяснение» вполне импонирует барину. Взбешенная капризная жена его при челяди называет мужа дураком, но спириты непоколебимы. Таня выиграла мужицкое дело.

Эта комедия, во многих эпизодах построенная на мало вероятных коллизиях, выходит из рамок реалистических пьес обычного типа и превращается в фарс, где допустимы и даже нужны остро-комические и необычные эпизоды, но они у Толстого переплетаются с эпизодами, написанными в жанре «высокой комедии», — это сцены со взрывчатым социально-обличительным пафосом, картинки пустой, праздной, зряболтливой, мнимо-просвещенной жизни барского дома, чему противопоставляются сценки жизни и работы сбившейся с ног барской прислуги; больше того, — в образах ходоковмужиков, с изумлением смотрящих на господские причуды и безделье, заложен, при внешнем комизме сермяжного облика и закорузлой речи, подлинный трагизм: и нужда, и тяжелый труд и безнадежная зависимость от господской воли, хотя крепостного права уже нет. Сложность сценической функ-

ции мужицких ролей имеет что-то общее с ролью комикарезонера Акима во «Власти Тьмы».

Колорит всей комедии невольно напоминает о ранних толстовских драматургических опытах, о набросках комедий 1856 г. — «Дворянское Семейство» и «Дядюшкино Благословение». Нет ли в «Плодах Просвещения» отголосков, осколков, тех очертаний характеров, образов, которые, как «творческие заготовки» надолго было уснули в воображении автора, а затем через много лет вспомнились, ожили, перегруппировались, обросли новой, более совершенной плотью, появившись в самой технически удачной на наш взгляд, пьесе?

И тем не менее, оригинальная по комбинации формальных составных элементов, очень удобная для сценического исполнения, имевшая в долгой театральной истории безусловный успех комедия эта, по мнению самого Толстого, опятьтаки лишь один из опытов, — в одном из его писем (к Черткову) читаем: «Последнее время комедия, которую у нас играли, так захватила меня, что я больше 10 дней все ей занимался, исправляя, дополняя ее с художественной точки зрения. Вышло все-таки очень ничтожное и слабое произведение».

5

Казалось бы, не раз разочаровываясь в своих пьесах, Толстой мог и охладеть к драматической форме. Но притягательная сила этого рода произведений была для него до старости удивительно соблазнительна. Еще в период создания «Воскресения» воображение Толстого было взволновано судебным делом супругов Гимер, которые для разрешения своего семейного конфликта прибегли не к разводу, связанному со сложной и грязноватой консисторской процедурой, а к симуляции смерти супруга, подобно истории, рассказанной Чернышевским в его давнем романе «Что делать?» Тема «ухода от зла», кровно взволновавшая Толстого, разработка сложных психологических семейных взаимоотношений, а наряду с этим и обличение неправды общественных норм, законов и, в частности, путь дисгармоничного «законного» брака — нуждалась в особо выразительной форме, и опять Толстому притлянулась драма. К этому времени (1900 г.) Толстой познакомился с новой драматургией, с пьесами Чехова и западных и русских символистов. Совсем не принимая театр символистов, не одобрял он и пьесы Чехова, ценя его только как повествователя. Будничное, внешне кажущееся бесконфликтным

течение жизни, игру настроений, полутонов, замедленный темп речей с недомолвками, с тем, что теперь называется подтекстом роли, лиризм, акомпанимент музыки, сверчков, птиц. — все это казалось Толстому не театральным, его обычно привлекал театр исключительных положений, жизнь ярких страстей, бурных конфликтов, решительные душевные надломы, перевороты, т. е. традиционные элементы и приемы старой драматургии. Но вместе с тем, работая над «Живым Трупом», Толстой неожиданно заинтересовался новинками театральной техники, в особенности — вращающейся сценой. П. А. Сергеенко вспоминает признание Толстого по этому поводу: «...Когда я узнал о движущейся сцене, я подумал, как это было бы хорошо изобразить на сцене полностью какойнибудь эпизод, и написал... что-то, кажется, шестнадцать действий». 4 Действительно, в сохранившемся плане «Живого Трупа» больше картин, чем в той редакции, которую обычно играют на сцене (12). Толстой с радостью отбросил старый принцип деления пьес на 4 или 5 действий, что больше всего определялось трудностью часто менять декорации на примитивной, не механизированной сцене и, следовательно, принуждало авторов искусственно втискивать, подгонять материал пьес в узкую, условную форму, иной раз даже выбрасывая, в угоду этой форме, важные сцены. Новая техника несла драматургам освобождение от театральной рутины. Вспомнил ли Толстой при этом, что как раз в шекспировском театре — при намеках-декорациях — не стеснялись числом сцен?

Теперь в «Живом Трупе» Толстой непринужденно переносит действие из квартиры Протасовых в цыганский трактир, в дом Карениных, в отдельный кабинет ресторана, в камеру судебного следователя, в коридор окружного суда и т. д. Это дает автору возможность тонко показать как основной конфликт пьесы, так и ряд побочных коллизий, которые просто нельзя было бы развернуть в обычных формах. Эта техника в какой-то мере сближает с приемами романиста, легко перебрасывающего действие из одного места в другое. Но не только движущаяся сцена используется Толстым; замечал он это или нет, но он прибег к приемам... осуждавшегося им драматурга-Чехова. В самом деле, в пьесе обильно использован

⁴ Литературное Наследство, № 37-8, М., 1939, стр. 547.

⁵ Интересные наблюдения см. у В. Лакшина в выше цитированном сочинении.

музыкальный фон (цыганское пение) и не в качестве обычного в старых пьесах дивертисмента, а как органическая основа психологических переживаний героя; нельзя также не обратить внимания на многозначительные паузы в диалогах, что раньше не было типично для толстовских пьес; очень заметен в пьесе и так называемый «подтекст» (напр., в словесных поединках Лизы Протасовой и матери Каренина в 5-ой картине), т. е. когда под сказанными словами звучит скрытое, иногда противоположное переживание; наконец, в этой пьесе мы не найдем обычных монологов, — встречаются только у героев наедине с собой обрывочные слова-намеки, которые в самом деле, в состоянии нервного напряжения каждый из нас бормочет самому себе, вроде — «ну, да, ну, да. Только...», или «Нет, не могу, не могу...» (7 картина, явл. 2 и 4).

В. Чертков вспоминал, что Толстого очень интересовало, естественны ли речи героя наедине с собой и говорит ли, напр., Чертков когда-нибудь громко сам с собой. Он всегда считал развернутый монолог на зрителя крайней театральной условностью, и вот теперь преодолел ее.

Конечно, это все свидетельства эволюции толстовского мастерства, новых его экспериментов. Сходство некоторых его приемов с Чеховскими еще не дает права говорить о влиянии или заимствованиях, но констатировать наличие этих аналогичных черт следует, — они указывают на новаторские тенденции в драматургии Толстого. Новые же приемы понадобились ему для овладения жанром психологической драмы.

Характер главного героя — Феди Протасова — крайне «текучий», все время в изменениях, и изменения эти должны происходить, в основном, на глазах зрителя. Задуман Федя, как удивительно правдивый, честный, милый, добрый, всеми любимый человек. Любит его и жена его Лиза, несмотря на то, что он нерадив, невнимателен и беспутен в семейной жизни; он тратит на цыган нужные для семьи деньги, пропадает надолго в кутящей компании; служить ему стыдно, потому что в канцеляриях делаются неправые дела; его сердце полно сомнений, колебаний, даже смятения. Он сознает, что он плохой муж и отец, а потому, заметив тяготение Лизы к другу ее детства и к своему доброму знакомому — Виктору Каренину, хорошему, но суховато-рассудительному человеку, Федя решает [по совету простоватой певички-цыганки, начитавшейся романа Чернышевского «Что Делать?» (!!)] «само-

⁶ Цитирую по вышеупомянутому сочинению В. Лакшина, стр. 76.

устраниться» и стать «живым трупом» (как и в деле Гимер). Лиза и Каренин, после исчезновения Феди, женятся, и жизнь их складывается, видимо, счастливо, но шантажист-пройдоха, случайно узнав историю Феди, доносит полиции, начинается тягостный судебный процесс. Когда Федя узнает, что брак Лизы с Карениным будет расторгнут, а его, Федю, принудят, по всей вероятности, вернуться к семье, он по-настоящему становится трупом, — стреляется. Большинство других характеров в драме тоже «текучи», крайне сложна, напр., психология Лизы, у которой в сердце «двойная любовь», в зависимости от момента оживает то любовь к Феде, то к Каренину; трудна чистая любовь цыганки Маши к Феде, сложны душевные переживания респектабельного Каренина. Толстой задался целью показать весь этот спектр сложных чувств. Но закончил ли он эту работу? Пьесу с 1911 г., с легкой руки МХТ, охотно играют с большим или меньшим успехом, при чем актеры испытывают немалые трудности. Почему? Да потому, что пьеса эта только черновой набросок, незавершенный, неоконченный и совсем не удовлетворявший автора. Вот что он в 1902 году говорил по этому поводу Левенфельду (опубликовано 9 октября 1911 г. в «Русском Слове»): «Драма «Труп» только набросана мною вчерне, и я едва ли скоро или когда-нибудь возьмусь за нее, так как все еще слаб от болезни», а в 1904 году на просьбу А. Ф. Кони дать ему для прочтения рукопись пьесы, ответил: «Нет, это читать не стоит: оно не кончено, да и вообще мне не нравится, и я его совсем бросил».7

Незаконченность этого произведения бросается в глаза: главный образ Феди еще зыбок, неясен, задуманная симпатичность его не проявлена в том виде, в каком он предстает перед нами в черновых вариантах, он кажется не только слабовольным, но даже не вполне нормальным человеком, полное безделье его не оправдывается стыдом перед казенной службой, совершенно темным провалом является его жизнь, как «живого трупа»: он живет на какие-то таинственные деньги, кем-то посылаемые (Карениным?). Но тогда весьма религиозный и совестливый Каренин непонятен, — из предыдущего действия пьесы видно, что он поверил в смерть Феди, но сцены допроса у следователя вносят неясность в этот вопрос... Ни о каком труде, ни о какой «не стыдной» деятельности его неизвестно, никакого морального роста его не видно.

⁷ Обе цитаты приведены у Ломунова, стр. 350.

Конечно, более чем трудно играть такую пьесу, и не вина великого автора, что ради сенсации театры стали публике показывать незавершенную вещь. Это один из нередких случаев, когда под гипнозом великого авторского имени, незаконченные произведения ставятся наряду с авторскими шедеврами.

Однако, и сквозь черновой текст сверкают в «Живом Трупе» удивительные диалоги, чувствуется величавый замысел психологической драмы, которая могла бы стать вровень с лучшими толстовскими страницами.

Это был последний большой драматургический опыт Толстого (писателю было уже 72 года), не нашедшего силы и желания для его окончания и снова разочаровавшегося.

6

Итак, приведенный выше краткий обзор драматургических опытов и исканий Толстого (в течение сорока четырех лет) показывает как настойчиво и многократно возвращался он к драматической форме, которая, как казалось ему, как бы не давалась его гению, по крайней мере в такой степени, как эпическая. Гений Толстого вообще не знал покоя, остановки, пребывания в однажды обретенной и удовлетворившей его стадии, — весь Толстой «текуч», в движении, в эволюции, и это видно и в той, сравнительно незначительной части его писательской деятельности, которая была предметом этих заметок, — и в его драматургии. Предельная честность, требовательность к самому себе, приводили Толстого к убеждению, что пьесы его несовершенны. Он искал, экспериментировал, использовал разнообразные жанры: обычную форму бытовой комедии, формы сатирической комедии с элементами фарса, морально-поучительной трагедии, психологической драмы, формы мистериального и лубочного театров. В этих поисках, несправедливо-низко оценивая свои успехи, он шел от традиционной драматургической техники к новаторству, отбрасывая ложное, выдуманное, вычурное и подбирая из новых веяний то важное, нужное, цельное, что помогло бы сделать художественное произведение предельно жизненным, не условным, помогло бы автору быть от всего сердца правдивым, — а в этом весь Толстой.

БОРИС ЗАЙЦЕВ

(К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ)

1

Борису Зайцеву — восемьдесят лет. Младший современник Чехова и Леонида Андреева, Горького и Бунина, он теперь едва ли не последний из ныне здравствующих больших художников «серебряного века» русской литературы. Вспоминается такая лирема (лирическое отступление) одного из его рассказов:

«Давно привык видеть пустынную и светлую вечность. Всё же безмерно жаль земного! Жаль неповторимых черт, милых сердцу. Жаль своей жизни и того, что в ней любил. Возвратясь в свою комнату, взглянув на дорогие портреты, дорогие книги, с усмешкой подумать, что, может быть, через тридцать лет твоим Пушкиным будут подтапливать плиту, а страницы Данте и Соловьева пойдут на кручение цыгарок. Тогда летописец скажет слово и о твоей жизни. Какое это будет слово? Кто знает».

Так, с заметной тревогой вглядывается Зайцев в собственное творчество. Зайцева ценит не только эмиграция: его не забыли и в Советском Союзе. Только там бывают разные «летописцы». Одни «идеологически выдержанные», и эти относятся к его творчеству с предубеждением. Тон для них был задан литературоведом М. Морозовым, который называл Бориса Зайцева «старосветским мистиком» и, конечно, уличал в «реакционной идеализации» помещичье-усадебного быта и православных устоев. Эта точка зрения, — в значительной степени, — не пересмотрена и посейчас. Так, советский профессор Волков говорит и теперь о Зайцеве, как о «благочестивом старосветском помещике в русской литературе». Но в Советском Союзе есть и иные «летописцы», которые смотрят на творчество Зайцева несколько иначе. Тут нельзя не отметить эволюцию взглядов Корнея Чуковского.

«Зайцев — восхитительный поэт, — писал еще в дорево-

люционные времена Корней Чуковский, — но наше несчастье, наше проклятье — в том, что все мы такие же Зайцевы: вы только представьте себе на минуту огромную толпу, всю Россию, из одних только Борисов Зайцевых... И все они только и делают, что тают, вянут, никнут, блекнут... — хлибкие восковые фигурки...

А если один у Зайцева почувствовал: — Русь, Русь, горькая Рассея — грязь, нищета, тупость столетняя, ужас... то тотчас же уехал в Италию — таять, млеть, цепенеть, светиться, лучиться, как икона...»

Но так Чуковский, повторяю, писал перед революцией. В конце же двадцатых годов, на одной из публичных лекций в Ленинграде, Чуковский подошел к Зайцеву уже с несколько иной меркой:

«Россия Бориса Зайцева была для меня Россией догорающих лампадных фитилей... Но отчего же эти фитили всё догорают и никак догореть не могут?.. Значит есть в них какая-то крепость духа, которая стойко сопротивляется пламени. Искусство признает возможность сочетания не физических, а поэтических элементов... И проза Зайцева — это поразительный сплав воска с нержавеющей сталью».

Далее в этой же лекции, говоря о том, что русский импрессионизм еще не исчерпал себя до конца, Чуковский назвал Зайцева «крупным художником», имя которого должно быть названо сразу же после имен Чехова и Бунина.

О Зайцеве, как о большом мастере лирико-импрессионистского пейзажа в русской литературе, как о художнике, который чувствовал русскую деревню и русское крестьянство, а не одни только помещичьи усадьбы и православные храмы, в разное время и по-разному поводу упоминали Пантелеймон Романов, Лесник, Михаил Пришвин, Иван Соколов-Микитов, Константин Паустовский, художник-анималист Ватагин, художница-пейзажистка Лидия Бродская и другие. Нельзя также не отметить и то, что Борис Зайцев был высоко ценим Борисом Пастернаком, переписка с которым вспыхнула после выхода книги «Доктор Живаго».

Есть два русла некогда единой русской литературы: эмигрантское и оставшееся в России. Советской литературы в сущности нет, есть пореволюционная русская литература которая в лице лучших своих представителей мученически отстаивает право оставаться свободной, какой она была до варварского вторжения на ее «территорию» чуждой и враждебной

ей политики и идеологии. Связь между этими двумя руслами некогда единой литературы коть и разрывается искусственным, насильственным путем, но оборвана навсегда быть не может. Неиссякший интерес советских писателей к творчеству Бориса Зайцева — тому лишнее доказательство. И, отмечая восьмидесятилетие со дня рождения писателя и оглядываясь на пройденный им путь, невольно задумываешься над тем, что же в его творчестве остается незыблемым во времени и что так дорого обеим русским литературам — эмигрантской и оставшейся в России.

2

Как художник, Борис Зайцев самым тесным образом связан с русским импрессионизмом. Земли и воды, листья и травы, облака и воздух его лирических поэм в прозе (так правильнее было бы называть его ранние рассказы) не теряют своего реалистического образа, несмотря на тончайшие оттенки и смены настроений. В этом смысле лирический пейзаж Бориса Зайцева эмоционально менее зыбок, чем у других русских импрессионистов и занимает как бы промежуточное положение между прежним тургеневским и обновленным, чеховским и бунинским.

Если провести параллель между литературой и живописью, то интерес Бориса Зайцева к искусству Левитана представляется нам совсем неслучайным. «Был и художник, особенно его (т. е. Глеба, главного героя В. З.) поразивший — Левитан, — писал Борис Зайцев в «Юности», — на мысу, над слиянием двух русских рек, под сумрачно-величественными облаками — церковка в деревьях и погост — «над вечным покоем» в предвечернем скорбном свете из разрывов туч — так навсегда и легло в сердце». Я думаю, что эта левитановская церковка «легла в сердце» не только Глеба, но и самого Бориса Зайцева (впрочем Глеб в какой-то мере, — поэтическое воспоминание Зайцева о собственной молодости). Однако, углубляя эту параллель между живописью и литературой, мы не можем не увидеть, что зайцевский пейзажоказывается как бы «переходной формой» от пейзажей Федора Васильева и Саврасова — к левитановскому.

В. Ватагин, которому, как живописцу и скульптору животного мира и карты в руки, говорит, что в Зайцеве следует ценить и пейзажиста и анималиста. И это, конечно, верно. И когда в Зайцеве анималист и пейзажист соединяются воедино, благостное умиление вытесняется в его творчестве той

суровостью и ожесточенностью, без которых Россия не может быть правильно понята и познана. С этим соглашаешься, перечитав его «Волков», один из первых, принятых «толстыми журналами» рассказов. Вот характерный отрывок из этого рассказа:

«Высохшие, с облезлыми боками, из под которых злобно торчали ребра, с помутневшими глазами, похожие на каких-то призраков в белых холодных полях, — они лезли без разбору и куда попало, как только их подымали с лежки, и бессмысленно метались и бродили всё по одной и той же местности. Было тяжело и скучно в полях, и волки останавливались, сбивались в кучу и принимались выть; этот их вой, усталый и болезненный, ползал над полями, слабо замирал за версту или за полторы и не имел достаточно силы, чтоб взлететь высоко к небу и крикнуть оттуда про холод, раны и голод».

В эмиграции мастерство Зайцева-пейзажиста не ослабевало, а, напротив, крепло. Природа Франции и Греции («Афон») расширила горизонты художника. Но всё-таки большинство картин природы позднего Зайцева написаны скорее по воспоминаниям о покинутой им России, и написаны с такой художественной правдой, что читатель, открывая «Золотой узор», «Анну», «Путешествие Глеба», «Тишину», «Юность», «Древо жизни» — получает редкую возможность — вместе с героями этих книг — как бы проездиться по минувшей России, существующей наяву, а не во сне.

Есть некоторые основания предполагать, что, как признанный мастер лирического пейзажа в русской литературе, Борис Зайцев в недалеком будущем, вероятно, будет доступен широким кругам советских читателей, как им стал доступен Иван Бунин. Речь идет о возможностях переиздания не только его дореволюционных произведений, но и некоторых вещей, созданных Зайцевым в эмиграции. Но, конечно, и в этом случае значительная часть эмигрантского периода творчества Зайцева останется запретной. Это, в особенности, относится к Зайцеву, как художнику, проникшему в сокровенные глубины русской духовной жизни.

И предреволюционный и, в немалой мере, пореволюционный Зайцев — мастер слова, нередко разрабатывающий одну и ту же наболевшую, значительную, скорбную тему русской жизни. Подчеркнем, что к ней писатель подходит не как публицист, а как тонкий психолог и в то же время, как верующий христианин. Это — тема отрыва русского верхнего слоя от

народа, от корней народной жизни. Революционные потрясения и катастрофы — трагическое последствие этого отрыва. Революция показала, что и дворянство и русская революционно-демократическая интеллигенция, — принимавшая столь близко к сердцу интересы рабочего класса и крестьянства и готовая молиться на народ, оказались оторванными от народа. Интуитивное ощущение непредотвратимости и непреодолимости такого отрыва и составляет как бы нервную ткань всего творчества Бориса Зайцева.

Действующие лица его рассказов, повестей, романов, это, большей частью, люди заката, люди вечерних сумерек, когда утрачивается различие между человеком и его хилой, немощной тенью. Они обреченные, но они не приходят от этого в исступленное отчаяние, а находят в себе мужество примириться с собственной обреченностью, сохраняя в то же время внутреннюю сопротивляемость духовным опустошениям и потрясениям. Здесь то и вырабатывается тот «сплав воска с нержавеющей сталью», о котором сказал Корней Чуковский. Такое внутреннее сопротивление, такая духовная стойкость позволяет одинокому человеку очертить вскруг своей души тот магический круг любви и добра, через который бессильна прорваться ярость охваченных революцией масс.

«Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми, и с честью и с мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль неугасимым пламенем и со спокойной печалью умереть», — писал Борис Зайцев в рассказе «Сестра».

В революции Зайцев присматривается не к действиям разъяренной толпы, не к тому, как воля партии стремится организовать эту ярость и подчинить ее своей цели, а к бедствиям и страданиям отдельного человека. В отличие от идеологически выдержанных советских произведений, где массы и партия вытесняют человека, Зайцев предпочитает и стихийному анархизму и бездушности коллектива сокровенную жизнь одинокой человеческой души. Вот в этом смысле характерный отрывок из «Золотого узора»:

«Мы жили сами по себе. Не очень даже занимались революцией. Пусть развивается, как хочет. Пусть примыкают к ней, кому приятно... Я попросту живу... Такова жизнь, таинственная и густая ткань ее. Хочешь ты, не хочешь, рад ты или печален, надо утром выбегать за молоком, раздобывать картошку, разжигать печку, варить суп на примусе».

В революционной русской жизни произошли большие

перемены, создавшие и затяжную неустроенность быта и опустошенность духовной жизни человека. Борис Зайцев готов примириться с этой вечной неустроенностью быта, но он не может примириться с глубоким оскудением духовной жизни человека.

И зайцевский герой упорно и сосредоточенно, в невероятно тяжелых условиях, строит скит человечности и сострадания внутри самого себя, в собственном сердце. Душа человека отгораживается в этом скиту от того российского «мира», которым правит дух жестокости и самодовольства, где толпа поставлена на колени перед большими и малыми вождями, похожими на оживших языческих идолов. В рассказе «Улица святого Николая» Зайцев и показывает, как таких очеловеченных, грубо сколоченных «идолов» развозят на грузовиках, давящих прохожих:

«— А может задавить еще иной, легкий, изящный. В нем, конечно, комиссары — от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, от товарищей из слесарей — до спецов из совнархозов — эти буржуазны и походны.

Но у всех летящих общее в лице.

Как важно! Как веско!

И сияние славы и самодовольства освещают весь Арбат!» Так темное, злое начало в русской революции формирует биологически новую породу людей. Что же может противостоять этому началу?

«Пускай меня арестуют и сажают в тюрьму, я отбуду наказание и пойду туда, куда клонится мое сердце, в сектанты ли, в анархисты, или просто в незаметные, одинокие люди, великое преимущество которых: свобода от всех и от всего...

Призывай же любовь и кротость, столь безмерно изгнанный, столь поруганный».

И, призывая к человечности и любви, Зайцев призывает к сохранению, и укреплению православной церковности, не смущаясь, что это связано с необходимостью восстановления обветшалых и шатающихся обрядов, традиций, поверий.

В самом деле перечитайте его «Афон», где слова похожи на лепестки плодовых деревьев, расцветающих в монастырских садах: ведь это повествование об осколке Святой Руси, который продолжает жить хоть и замкнутой, но негасимой жизнью, проникнуто желанием доказать, что мир и любовь так долго удерживаются здесь потому, что внутрироссийский

процесс обветшания обрядовой стороны православной религиозности почти не коснулся Афона.

Идеологически выдержанная критика на той стороне считает эмигрантский период творчества Зайцева, так сказать, «обильно смазанным лампадным маслом». По ее мнению — елейный, ханжеский, реакционный, коленопреклоненный Зайцев целиком принадлежит эмиграции, ибо молодой Зайцев прислушивался не к одним колокольным перезвонам или пению соловьев в усадебной тиши, но и к выстрелам с революционных баррикад. Но всё творчество Зайцева говорит, что с этим согласиться нельзя. Зайцев — и это относится ко всем периодам его творчества, — художник двух крайностей российской действительности: революционной и религиозной.

Это верно, конечно, что молодой Зайцев присматривался к революции и, в какой-то мере, предвидел ее близкое торжество. Но вместе с тем он предвидел, что в революцию вселился дух великого сокрушения и что неистовый разлив миллионноглавой злобы угрожает России. В рассказе «Завтра» Зайцев писал: «Ты, великий дух, ты месишь, квасишь, бурлишь и взрываешь, ты потрясаешь залпом, рушишь города, рушишь власти, гнет, боль — я молюсь тебе».

И православная церковь всегда была для Зайцева укрытием от народной ярости, прибежищем от злого начала в бунтах и мятежах. «Далеко по склонам и перегонам, — писал Зайцев в рассказе «Миф», — видны поля в радужной дымке: окно церкви сияет как в алмазном венце; смиренные деревушки распростерлись под небом, льют кверху влажные и благовонные столбы — гимны... Когда я думаю о христианах, мне всегда представляется вот такой успокоенно-белеющий столб». И неудивительно, что революция побудила Зайцева с еще большей теплотой вспомнить о давно известном ему прибежище.

«Пусть дворянская называется улицей Карла Маркса, — читаем мы в книге «Москва», — но такая ж скачущая мостовая на ней, такие ж булыжники, пыль, запах дегтя, заборы и также милы сады Каширские — многояблонные, многовишенные — над ними звонят колокола белых церквей».

Борис Зайцев раннего периода творчества, задумываясь над тем, почему бунтующие мужики жгут помещичьи усадьбы и озлобленные рабочие устраивают баррикады, приходит к заключению, что народный гнев срывается с цепи из-за болезни корневой системы российской религиозной жизни, потому,

что православные устои расшатаны, поколеблены, дали глубокие трещины. В стихийном разливе народного гнева Зайцев видит не созидательное, а всеразрушающее начало. И писатель не столько приветствует этот разлив, сколько мирится с его непредотвратимостью.

Но Зайцев верит и в то, что великий гнев может быть сменен великим раскаянием. Куда же в таком случае пойдет на покаяние русский народ? Иных путей, кроме возврата к православной церкви, писатель ему не указывает. Вот почему Зайцев и становится ревностным защитником поколебленных устоев.

Однако, православно-религиозную настроенность творчества Зайцева нельзя упрощать. Восстановление устоев не может себя оправдать, если сведется только к восстановлению мертвой буквы. Восстанавливать надо нарушенное, поколебленное единство духа и буквы. И Зайцев хочет стать примирителем духа и буквы евангельской истины в восстановленном храме всероссийском.

Отношение Бориса Зайцева к религии нельзя понять без вдумчивого чтения его работы о преподобном Сергии Радонежском, где Зайцев хочет сделать далекое прошлое своего рода путеводным факелом, который сквозь эпоху войн и революций может быть вынесен в лучшее будущее. В работе о Сергие Радонежском Борис Зайцев писал:

«Сергий — глубочайше русский... В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый ее тип... В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательства, подлости — неземной облик Сергия утоляет и поддерживает... В поединке Руси с Ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России... Да Сергий был не только созерцатель, но и делатель... Исторически Сергий воспитывал людей, свободных духом».

Творчество Зайцева носит, преимущественно, созерцательный характер и только освящено тоской по несбывшимся, неосуществленным деяниям. И несмотря на это, Зайцев ввел в русскую литературу человека, который потерял всё, сохранив только одно: собственную духовную свободу... Этот юбилейный экскурс в творчество Зайцева мне хотелось бы закончить упоминанием о его воспоминаниях, и об опытах поэтических биографий Жуковского, Тургенева и Чехова. Это не исследования, не научные труды, а художественные произведения, если угодно, литературоведческие симфонии, где жизнь

и творчество трех больших писателей переложены на музыку слова.

Все книги Зайцева отличаются и глубокой искренностью и поэтичностью серебряного века русской литературы. Слава Богу, что в эмигрантской русской литературе есть еще такие художники, как Борис Зайцев.

Вяч. Завалишин

ОБОТЦЕ

(Я ОТНИМАЮ У КРЕМЛЯ СВОЕ НАСЛЕДСТВО)

Волнами мощными я выброшен вперёд... На твёрдом берегу лежу я одиноко. А море, как орган, победный гимн поёт, И грудь его опять вздымается высоко. Но в мёртвой глубине, где тихо и темно, Где властно мрак простёр тяжёлые объятья, Где всё придавлено и в сон погружено -Мои остались братья! И снится мне, что сквозь прозрачную струю Я вижу, как они стремятся к свету, к жизни, И вижу гибель их в отчаянном бою, И плачу я, и рвусь к покинутой отчизне. Гремучий вал морской, примчав меня сюда, Мне душу расколол и вызвал стон проклятья: Мой ум на высоте, но сердце там всегда — Где братья!

Это стихотворение Скитальца было опубликовано пятьдесят семь лет тому назад, в канун революционных событий 1905 года и по случайному совпадению, в год моего рождения.

Две эмиграции, две эпохи и как странно: если сравнить те далёкие времена с нашими, то в обоих случаях мыслящая часть русского общества, отражая настроение большинства нации, боролась и борется против правительственной деспотии, ратовала и ратует за духовное и экономическое раскрепощение. Тяжела судьба нашей родины. Тяжелее и не придумаешь: демократическая свободная мысль существовала и существует или в Сибири или в эмиграции.

Передо мной задача — в рамках журнальной статьи написать о моем отце, о Скитальце. (Степан Гаврилович Петров, 1869-1941). О чём писать: о Скитальце, — поэте и писателе, или о человеке и моём отце? Я хочу написать о главном, хочу

написать правду, а правда эта разбивает сплошь фальсифицированные кремлёвские писания о моем отце.

Казённые литературоведческие труды, выполняя установку на, так называемое, «идеологическое перетягивание», сделали всё от себя зависящее, чтобы скрыть от читателей отрицание моим отцом коммунизма. Если просмотреть работы советских авторов, А. Волкова, А. Трегубова, Н. Гамалия, П. Бейсова и других, то Скитальцу только и нехватало что партийного билета. О его идеологическом «грехопадении» упоминается вскользь и туманно. Нет ни слова о принципиальном расхождении Скитальца с Горьким и большевиками, произшедшем еще до первой мировой войны. Еще тогда большевистское мировоззрение мой отец определял как новую форму средневековой схоластики. Певец народных талантов, ярких фигур из социальных низов того времени, с их болезненной чувствительностью к идее справедливости, — он не мог одобрить такую «свободу», при которой всем полагалось бы думать по-одинаковому. «Хотят освободиться от одной казённой религии и навязать людям другую» — вспоминаются мне слова отца.

Надо отдать должное, указания на влияние Горького на него справедливы. Их дружба и общность народно-освободительных идей, в период предшествовавший лондонскому съезду РСДРП — 1903 года, — были без трещин. Трещина пошла значительно позже, когда Скиталец каким-то внутренним чутьём понял всю фальшь и антинародность ленинских установок, с его диктатурой пролетариата, и предугадал отношение интернационального коммунизма к русскому крестьянству. Об этом советским биографам писать, конечно, запрещено. Наоборот, им приказывается из народно-русского и безпартийного писателя, сделать писателя марксистско-ленинского образца, по партийной мерке. Для выполнения этого заказа биографы Скитальца и ставят акцент на первых шагах молодого поэта, определяя его рост влиянием Горького и всячески подчёркивая его связь с Лениным и положительное отношение к нему со стороны Ленина.

Вот несколько выдержек:

«Решающую роль в судьбе Скитальца-писателя сыграл А. М. Горький, который помог безвестному фельетонисту «Самарской Газеты» стать художником, чьи произведения получили широкое признание читателей. Горький ввёл Скитальца в литературный кружок «Среда», организатором которого был Н. Д. Телешов. В кружке принимали участие молодые пи-

сателн-демократы: Бунин, Серафимович, Куприн, Вересаев, Андреев, Гарин-Михайловский и др. Посещали кружок и писатели старшего поколения: Чехов, Короленко, Златовратский, Мамин-Сибиряк. На заседаниях горячо обсуждались новые произведения, составлялись протесты против реакционных действий правительства, писались петиции, слушались доклады на общественные темы». (А. Трегубов, «С. Г. Скиталец»— заключительная статья к «Избранным произведениям» Скитальца. Гос. изд. худ. лит. Москва, 1955).

«А. М. Горький вовлёк Скитальца в активную революционную работу. За пропаганду среди сормовских рабочих Скитальца и Горького арестовали 17 апреля 1901 года. Поводом для ареста послужило обвинение в приобретении мимеографа для печатания революционных прокламаций и воззваний. Горького выпустили из тюрьмы через месяц на основании врачебного заключения о плохом состоянии здоровья, а Скитальца — через три месяца с последующей высылкой в село Обшаровку под надзор полиции. Однако по пути на родину, в Самаре, его снова арестовали. В тюрьме им были написаны повесть «Сквозь строй», о которой хорошо отозвался Л. Н. Толстой, рассказ «За тюремной стеной» и цикл революционных стихотворений». (Там же, стр: 612 и 613).

Три месяца тюрьмы царских времён, когда было возможно такое поразительное явление, как освобождение по болезни, конечно с советской точки зрения, наказание смехотворное, но мало подчеркнуть революционность Скитальца, надо обязательно сблизить его и с большевизмом:

«Книга действительно имела успех у демократического читателя. Обратил на неё внимание и В. И. Ленин. Получив в Лондоне пятый том «Рассказов» — М. Горького и первый том «Рассказов и песен» Скитальца, он писал матери 7 июня 1902 года: «Горького, Скитальца получил и читал с очень большим интересом. И сам читал и другим давал». (В. И. Ленин. Письма к родным. Партиздат. 1934, стр. 284).

«В 1905 году состоялась третья встреча Скитальца с В. И. Лениным. (Познакомились Скиталец с В. И. Лениным в 1887 г. в Самаре, второй раз они встречались в 1903 году в Женеве). З декабря 1905 года была закрыта первая легальная газета большевистской партии «Новая Жизнь», на страницах которой печатались произведения Ленина и Горького. Экстренное заседание произошло на квартире Скитальца, где собрались, совместно с Лениным и Горьким, до сорока сотрудников закрытой газеты. Актуальность и злободневность те-

матики поэзии Скитальца в годы революции (1905) достигает наибольшей силы. Меткие характеристики, гневный пафос, бунтарские настроения во многих стихах определяли их конкретно-политическое звучание. В. И. Ленин использовал для характеристики предательской роли либеральной буржуазии образы стихотворения Скитальца «Тихо стало кругом». (В. И. Ленин. Сочинения. т. 10, стр. 194).

«Ярким примером может служить известный инцидент, связанный с стихотворением Скитальца — «Гусляр». В конце 1902 года петербургская газета «Курьер», напечатавшая это стихотворение, была закрыта на несколько месяцев. Скиталец, читавший своего «Гусляра» на литературном вечере, вынужден был покинуть столицу, а Л. Андреев, организатор вечера, был привлечён к ответственности в уголовном порядке за то, что не воспрепятствовал Скитальцу прочитать стихотворение, где пророчились революция и гнев народный». (Н. Телешов. Записки писателя. «Советский писатель» М. 1952 стр. 48).

И так далее, и так далее. Короче говоря, Агитпроп ЦК решил сделать из писателя революционера 1905 года — писателя большевика, скрывая от молодого поколения, что Скиталец ещё в первом десятилетии нашего века решительно и навсегда порвал с большевизмом. Это всё, конечно, известно фокусникам из Агитпропа ЦК, и уцелевшей части старой литературной гвардии.

Прежде всего, отец всегда был беспартийным писателем, мало интересовался политическими программами, да, пожалуй, — в них и не разбирался. И эсеры и эсдеки в равной степени были для него носителями народно-освободительных идей. Выйдя из ужасающей деревенской нищеты, зная трагический жизненный путь и своего отца и своего деда, описанный им в автобиографической повести «Сквозь строй», пережив лично все унижения мужицкого сына, Скиталец не мог быть иным. Весь свой талант, весь пламенный темперамент поэта он посвятил только одному: «так больше жить нельзя!» — «В письме к Е. Соловьёву-Андреевичу Горкий писал о поэзии Скитальца: «...стихи характерные, как голос тысяч людей, всё громче взывающих: — Я хочу свободы... Потому что жил я скованным рабом». (М. Горький и поэты «Знания». «Советский писатель» Л. 1958, стр. 35).

Но степень интереса Скитальца к теоретическим проблемам можно видеть, хотя бы, по такому отрывку: «Почти пятидесятилетний, но моложавый, в кудрях и усах, говоривший густым басом, он, в поддёвке, вышитой рубахе и сапогах, из-

редка появлялся на «пятачке» Невского, то есть, у Аничкова моста: облик у него был во-истину доброго молодца — красив и натурален. Когда подчас товарищи по перу пытались наладить разговор о литературе, (читай — о политике) — Скиталец выпрямлялся и гремуче возглашал: «Давайте-ка, братцы, я лучше спою». Пел он увлекаясь и увлекая слушающих». (Лев Пасынков. О Горьком. Лит. худ. жур. «Москва» № 6. 1957, стр. 135).

Портрет нарисован правильно. Таким я помню отца до первой мировой войны.

Характерно, что с первых же шагов произведения Скитальца чем-то неуловимым отличались от работ марксиствующих литераторов. Приведу, хотя бы, один документ: «Противоречивость политических установок в рассказе «Лес разгорался» верно была подмечена А. М. Горьким. В одном из писем в декабре 1905 года он писал К. П. Пятницкому: «Рассказ очень недурен, но сильно эсероват. Социалисты-революционеры возликуют — это вода на их мельницу». (Архив Горького, т. 4. Гослитиздат 1954, стр. 192).

Окончательный разырв с ленинцами, судя по нижеприводимому письму Горького, следует отнести к 1908 году. Вот отрывок из этого письма: «Три года тому назад наша страна пережила великое сотрясение своих основ, три года тому назад она вступила на путь, с коего никогда уже не свернёт, если даже и хотела этого. Неужели этот поворот историческое значение которого так огромно и глубоко, прошел для вашего героя незамеченным, не оживил, не расширил, не взволновал вашей души радостным волнением, не зажег огонь вашей любви к родине новым, ярким светом? Повесть говорит — нет, Скиталец остался тем-же, чем был до 905 года. Но — если так, бросьте перо...»

Не лишено интереса привести и короткий отрывок, освещающий позднейшее отношение Горького к Скитальцу:

«Алексей Максимович как-то спросил одного начинающего писателя:

- Что это вы, сударь, принарядились? Уж не женилисьли?
 - На-днях женился, Алексей Максимович.

Горький огорчённо всплеснул руками:

- Батюшки мои! Иметь свой роман допустимо, написав по крайней мере две-три повести. Уж не на купчихе ли женились?
 - Конечно нет, Алексей Максимович.

— Почему же нет, батенька? Ведь вон Скиталец, которому я не без права предсказывал доброе будущее, отставил в сторону молот кузнеца и женился на молодой купчихе, и теперь мой гороскоп не стоит ни гроша». (Лев Пасынков. О Горьком. Лит. худ. жур. «Москва» № 6, 1957, стр. 135).

Здесь мы видим другого Горького. Говорит уже не слезливый, добродушный дядя, каким его рисуют, а озлобленный приверженец большевистской партии, для которого любой инакомыслящий, это враг достойный казни. (Вспомним его слова на съезде писателей: — «Если враг не сдаётся, его уничтожают». Ссылка на «купчиху», не более как явное желание «классово» скомпрометировать бывшего друга; Горький прекрасно знал мою мать, человека из интеллигентной семьи, получившей консерваторское образование; крёстной матерью единственного ребёнка (то-есть пишущего эти строки) была Екатерина Павловна, — жена Горького.

И последнее: «Скиталец не понял смысла громадных исторических сдвигов, происшедших в результате Великой Октябрьской социалистической революции. Выехав в 1921 году на Дальний Восток, он оказался в рядах эмиграции». (А. Трегубов. «С. Г. Скиталец». Заключительная статья к «Избранным произведениям». Москва. 1955, стр. 620).

На этом я кончаю цитаты. Но позволю добавить несколько слов. Надо ясно указать, что бегство Скитальца из Советской России не носило «спасательного» характера. Его не притесняли и даже наоборот, — провинциальные власти Симбирска, где мы жили, относились к нему почтительно. Помню, что в Москву мы с отцом приехали в «штабном» вагоне, по записке Л. Троцкого. Это была первая и последняя попытка со стороны отца установить какие-либо отношения с советской властью. Он ехал в Москву, чтобы говорить с Лениным. Было это зимой, не помню точно, в конце 1919 или начале 1920 года. На Волге был голод, у крестьян отбирали последнее, они восставали, их жестоко карали, в Симбирской губернии обнаружились случаи людоедства и отец ехал хлопотать перед Лениным за крестьян.

В Москве выяснилось, что Горький ретировался на Капри, Шаляпина мы тоже не застали, он уехал за границу. Приходили в номер нашей гостиницы старые знакомые отца: А. Ф. Серафимович, А. С. Новиков-Прибой, А. С. Свирский, скульптор И. А. Менделевич, ныне здравствующий С. И. Гусев-Оренбургский, позднее эмигрировавший одновременно с отцом. Говорили что-то горячо и серьёзно, обсуждали.

На другой день, вернувшись из Кремля от Демьяна Бедного, отец сказал мне с мрачной иронией: — «Вот, посмотрел бы на нового буржуя... Придворов!.. Быть ему при дворе!..»

А ещё через день стало совсем плохо: мне никогда не приходилось видеть всегда спокойного отца столь раздражённым и расстроенным. — «Ха... слыхал?.. Как тебе нравится... Владимир Ильич не может вас принять! — повторял он. — Ясно, что не может, разговорчик был бы крепким!..» Отец ходил по комнате, постоянно разжигая дрожащими руками затухающую трубку. Табак — сырой, а тогдашние спички не зажигались: «сначала вонь, — потом огонь».

— И фамилия-то у секретаря какая: Воровской!.. Ха, подумать только, — Воровской!.. — Позднее я сообразил; разговор шёл о Вацлаве Воровском, впоследствии убитом в Женеве. Четвёртая встреча Скитальца с Лениным не состоялась.

Через несколько недель, уже в Симбирске, куда я вернулся заканчивать техникум, я узнал, что отец уехал в турнэ на Дальний Восток, а ещё позднее получил от него известие. Судьба разъединила нас на долгие годы.

Нет, Скиталец именно понял «смысл громадных исторических сдвигов», происшедших в конечном результате октябрьской революции. Он понял, что народ, поддержавший Ленина, был жестоко обманут и попал «из огня, да в полымя». Святая цель пламенного поэта-идеалиста, мечта поколений простых людей о свободе и справедливости, была захватчиками безжалостно растоптана.

В 1934 году, с волной возвращенцев из Харбина, Скиталец вернулся в Москву. У него, правда, были некие личные условия: Госиздат обещал выпустить полное собрание сочинений, советский консул в Харбине рассыпался в «гарантиях» и уговаривала литературная элита, на вершине которой «упираясь головой в самое солнце», стоял Максим Горький.

Встречали отца торжественно, с делегацией от Союза Писателей, с кинооператорами и корреспондентами. Первое время его жизни в Москве можно назвать периодом замасливания. Ему дали отдельную квартиру, что по московским понятиям было чем-то сказочным и вернули нашу крымскую дачу — «Скели», причём, дом № 8 в Хохловском переулке принадлежал к типу тех таинственных московских домов, где, по причинам о которых простым смертным можно было только догадываться, полагалось стоять постовому милиционеру. Над

квартирой отца жил брат Молотова, никому неизвестный, тихий и нелюдимый композитор, а внизу была квартира московского корреспондента «Нью Иорк Таймс». В эти дни у отца было полно гостей, — знакомых и незнакомых. Ждали, что популярное имя засияет отраженными лучами кремлёвской благосклонности, и кто его знает, может быть и возглавит советскую литературу после Горького? Но, не вышло. Произошла конфузия. В приветственном письме Скитальца не упоминалось имя Сталина. В Правлении Союза Писателей перепугались, но отец остался непреклонен и письмо появилось в «Литературной газете» от 22 апреля 1934 года.

В 1935 году вышли в свет «Повести и рассказы», в 1936 — «Дом Черновых» и «Избранные стихи и песни», а в 1937-ом в новом варианте повесть «Этапы». В журналах печатались воспоминания Скитальца о встречах с Л. Н. Толстым, Л. Андреевым, Н. Гариным-Михайловским, А. Чеховым, М. Горьким и Лениным. Причём, во всём написанном имени Сталина не упоминалось, а следует подчеркнуть, что это происходило в период свирепого разгула т. н. «культа личности», когда каждая, даже научная статья, должна была заканчиваться здравицей в честь диктатора. Я понял, что отец не переменил своего мнения о Кремле и вернулся только для того, чтобы умереть на родной стороне.

Помню, в 1936 году я слыхал от отца забавную историю. Проверяя гранки новой повести «Дом Черновых», он обнаружил кем-то добавочно написанную фразу, приставленную к концовке. Текст ее был примерно такой: «И он шёл навстречу восходящему солнцу, всем своим сердцем ощущая могучее дыхание великой, лучезарной страны». Я привожу фразу по памяти, но выспренний и лубочный смысл её передаю в точности. Отец обратил внимание корректора на эту стряпню, тот страшно смутился и сейчас же вычеркнул «агитационный довесок». — «Ты же сам понимаешь, — говорил мне отец, — что таких слов я не мог написать». Он, по всей вероятности умышленно, несколько раз отчётливым голосом рассказывал мне эту историю; квартиры нового дома были несомненно «микрофинированы» и мы обычно избегали откровенничать, молчаливо понимая друг-друга.

Помню вечернюю иллюминованную Москву, в октябрьские «праздники» — 1938 года. Мы остановились на Театральной площади. На сквере, перед Большим Театром, был воздвигнут один из многочисленных «октябрьских» памятников Сталину. Это был искусно сделанный из гнутой фанеры

гигант, высотой с трехэтажный дом. На другой стороне площади, у «Метрополя» виднелась его же не меньших размеров фотография. Отец с изумлением покачал головой: — «Это, при жизни-то...»

Возвращались молча, подавленные; отец недавно вернулся из поездки в родную Обшаровку, где наслышался о колхозной жизни, я же приехал из очередной кино-экспедиции в Среднюю Азию, где тоже навидался видов. В стране происходило чёрт знает что; хватали правого и виноватого, люди боялись собственной тени.

К этому времени харбинские возвращенцы были уничтожены, среди них погиб проф. Н. В. Устрялов, живший некоторое время у Скитальца, знакомые боялись заходить к отцу и даже звонить по телефону, ожидая его ареста, несколько позднее эта участь постигла меня. В 1940 году квартира отца в Хохловском переулке и моя комната в Большом Козихинском, были в одинаковой степени «под занесённой дубиной». Картина для тех времён обычная. Знакомые при случайной встрече боятся здороваться, а близких друзей приходилось просить об этом, для их же безопасности. Ко мне ходил только один друг, — Б. В. Лакман, администратор моей режиссёрской группы, славный в прошлом парень, причём я знал, что он завербован следить за мной, а к Скитальцу до самых последних дней ходил его долголетний друг, (у которого я мальчишкой играл, сидя на коленях) — семейный врач Евсей Маркович Аспис, порядочность и гражданское мужество которого были вне сомнений.

Умер Скиталец на третий день гитлеровской войны, в полном сознании и его последними словами были: — «Всё помню и ничего никому не простил».

Я долго задумывался над этими словами. Личных врагов у отца не было. Добродушный и, в лучшем смысле этого слова, деликатный с окружающими, нежно любящий муж и отец, он сказал эти страшные, нехристианские слова по адресу тех, кто разбил лучшие мечтания поколений простых людей и кто повернул развитие революции не за народ, а против народа.

Е. Петров-Скиталец

КОНЕЦ ТУРГЕНЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

— Прощайте, друзья! — сказал Пушкин и в это время глаза его обратились на его библиотеку.

Письмо Жуковского о смерти Пушкина

В сентябрьской книжке «Нового Мира» напечатаны воспоминания И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». В них много любопытного, и по-разному любопытного: есть страницы, посвященные русской жизни начала нашего столетия; есть характеристики парижских художников эпохи кубизма и «диких», портреты Модильяни, Пикассо, Диэго Риверы; есть воспоминания о Максимилиане Волошине в его парижский период. Перед первой мировой войной Эренбург жил в Париже, многих знал, всюду бывал, знакомился с людьми известными и неизвестными, читал книги, писал стихи. Одно из мест, где он просиживал часами, была Тургеневская библиотека. Вот что он пишет о ней:

«Книги я брал в Тургеневской библиотеке. Ее судьба драматична. В 1875 году в Париже состоялось литературномузыкальное утро с участием Тургенева, Глеба Успенского, Полины Виардо, поэта Курочкина. И. С. Тургенев, распространяя билеты, указывал: «Вырученные деньги будут употреблены на основание русской читальни для недостаточных студентов». Писатель пожертвовал библиотеке книги, некоторые со своими пометками на полях. Два поколения революционной эмиграции пользовались книгами «тургеневки» обогащали ее библиографическими редкостями. После революции библиотека продолжала существовать, только читатели изменились. В начале второй мировой войны русские писатели-эмигранты передали свои архивы на хранение Тургеневской библиотеке. Один из ближайших сподвижников Гитлера, балтийский немец Розенберг, который считался ценителем «россики», вывез Тургеневскую библиотеку в Германию. В 1945 году, перед самым концом войны, незнакомый

офицер принес мне мое письмо, посланное в 1913 году М. О. Цетлину (поэту Амари). Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распотрошенные ящики: русские книги, рукописи, письма валялись на земле; он подобрал несколько писем Горького и, случайно заметил на истлевшем листке мою подпись, решил доставить мне удовольствие. Таков конец Тургеневской библиотеки». («Новый Мир». 1960. кн. 9. Стр. 90).

Прочитав эти строчки, мне показалось, что я могла бы дополнить этот рассказ о гибели русского книгохранилища в Париже, тем более, что я была свидетелем вывоза книг из старого особняка на улице Бюшелери, который незадолго перед тем город Париж предоставил русской библиотеке. В этом «отеле Кольбер» расположилась «тургеневка» как бы «на вечные времена». Никто не мог предвидеть ее страшного конца.

Немцы заняли Париж 14 июня 1940 года. В начале августа я приехала в Париж на велосипеде из деревни, где у меня в то время был маленький деревенский дом. Других способов передвижения, кроме велосипеда, в те месяцы не было. Я выехала очень рано и была в городе около одиннадцати часов утра. Я вела в те годы записи, нечто вроде дневника. По этим записям видно, что я в тот день была в Тургеневской библиотеке и взяла том Шопенгауэра (в русском переводе), видела хроникальный фильм на Елисейских полях (где было представлено, как Гитлер со своим окружением приехал на автомобиле на площадь Трокадеро и обозревал Париж с высоты площади, выходящей на Марсово поле и Эйфелеву башню), затем ночевала у друзей в Булони. Через месяц я снова приехала в Париж и на этот раз зашла к И. И. Фондаминскому, вернувшемуся из Биарицца и жившему у себя на квартире, на авеню де Версай.

Кто в это время жил вместе с Фондаминским, мне неиввестно. Сам он по-прежнему занимал свой кабинет, темный и сыроватый, весь уставленный книгами. В течение августа месяца ко мне в деревню было привезено довольно много ценных вещей людьми, желавшими скрыть свое имущество. Главным образом это были картины. На чердаке лежали, тщательно укрытые старыми газетами и соломой, небольшогоразмера ван ден Вельде и довольно длинный и узкий Больдини. А. Н. Бенуа также доверил мне одну папку с рисунками 17-го века. Внизу, в так называемой гостиной, где непрерывно жили проезжавшие в «свободную зону» близкие друзья, и где иногда спали два-три человека, стояли на полках, смешанные с моими скромными книгами, «Русские Портреты» вел. кн. Николая Михайловича, первое издание комедий Мольера и другие ценнейшие книги, до поры до времени нашедшие убежище в этом углу Франции и таким образом уцелевшие. У меня была мысль предложить И. И. Фондаминскому перевезти ко мне наиболее ценные книги, чтобы их сохранить столько же от бомбардировок, сколько и от обысков, которые вот-вот могли начаться. Но я встретила с его стороны категорический отказ.

Он начал с того, что высмеял меня за «панику» и сказал, что бомбардировок он не боится, т. к. кабинет его в полуподвале (в этом, вероятно, он был совершенно прав), а что касается обысков, то ему они не страшны, так как у него теперь есть защитник — молодой немец, книголюб и ценитель русских изданий, который ходит к нему часто по вечерам, и с которым он беседует на самые различные темы. Немец этот (насколько я помню, это был штатский человек), заходит как свой, иногда и днем; он покупает у букинистов старые русские книги, у него громадная коллекция, и Фондаминский уверил меня, что он спокоен не только за свои книги, но и за самого себя. Делать было нечего. Я с грустью оглядела полки, на которых стояло столько прекрасных книг, и собралась было уйти, как раздался стук в дверь и в комнату вошел молодой человек, светловолосый, в очках, с улыбкой на довольно приятном лице. Это и был новый знакомый Фондаминского. «Мы сегодня решили сходить в Тургеневскую библиотеку, — сказал мне Фондаминский, знакомя нас, — я хочу показать, какие у нас там есть замечательные книги». Я вышла с тяжелым чувством.

Когда через несколько времени я снова приехала в Париж, начиналась уже осень. Самое трудное было в этих поездках передвигаться по городу с грузом — картофеля, молока, книг, — привозимых в город. Так как мне предстояло пробыть в Париже весь день, то я решила первым долгом завезти в «тургеневку» том Шопенгауэра, оставить его там (библиотека открывалась в четыре часа пополудни) у консьержки, а затем уже сделать все, что нужно в различных концах города; повидать кого нужно, купить кое-что, и вернуться в библиотеку к ее открытию. Отель Кольбер находится в маленькой улочке около моста Нотр Дам. Не было еще и десяти часов, когда я вошла в ворота. Весь двор был заставлен длинными ящиками некрашенного дерева, похожими на гроба. Они лежали и стояли стоймя, их было около

тридцати, а может быть и больше. Они казались пустыми. Я постучала в окошечко консьержки, которая меня знала, и попросила ее сохранить книгу у себя, обещав зайти за ней после трех. Она посмотрела на меня хмуро и сказала:

— Они там.

Я бросилась наверх. Двери были настежь. Два ящика стояли на площадке лестницы, два других — в прихожей. Шла быстрая, энергичная, ритмичная укладка книг.

Я помню, что я растерялась настолько, что стала спрашивать на плохом немецком языке, что собственно происходит, хотя сомнений не могло быть никаких. Мне ответили вежливо, что книги увозят. Куда? Почему? На это ответа не было, но в переднюю вдруг вышел человек — это был молодой коллекционер русских изданий. Он узнал меня, улыбнулся и спросил, не может ли он чем-нибудь быть мне полезен? У меня вероятно на лице была написана часть того, что переживалось. Он опять подошел ко мне. Мне показалось, что он хочет взять у меня из рук Шопенгауэра, и я помню, что в тот момент я бы конечно его отдала ему. Но он совсем не интересовался книгой, которую я держала подмышкой, наоборот, он очень любезно и с каким-то даже соболезнованием спросил меня, нет ли в библиотеке каких либо моих книг, и если есть, то он мне сейчас же их выдаст... В том состоянии. в котором я была, я совершенно не поняла его вопроса: хотел ли он, зная, что я пишу книги, выдать мне те, которых я была автором? Или он думал, может быть, что есть в библиотеке книги, мне принадлежащие? Я повернулась и пошла к дверям. И только внизу вспомнила, что ведь, действительно в библиотеке есть книга, мне принадлежащая: вместо залога (от бедности) я в свое время дала библиотеке «Поэзию Армении», толстый том под редакцией Брюсова, который и лежал где-то в задних комнатах, на случай, если я потеряю библиотечную книгу. Лежал он в библиотеке по крайней мере лет десять, если не больше. Но за «Поэзией Армении» я не вернулась.

Молодой коллекционер, конечно, задолго до прихода к Фондаминскому имел свой план действий. И знал хорошо о существовании русского книгохранилища в Париже. Но к Фондаминскому в то утро мне идти не захотелось, мне показалось, что нужно попытаться сделать что-то... но что? Я сомневалась всего одну минуту. В следующую я уже спешила на Монпарнасс, к Вас. Ал. Маклакову.

Со времени войны у Маклакова я бывала часто, он любил когда к нему приходили, настроение у него было угнетен-

ное, глухота все увеличивалась, слуховая машинка (одна из первых моделей) часто не действовала и приходилось громко кричать ему в ухо. Когда звонил телефон или звонок у парадной двери, в кабинете зажигались под потолком лампочки (звонков он не слышал совершенно) и это всегда действовало мне на нервы. Но что-то было и уютное кругом — отчасти в семенящей маленькими шажками сестре его, Марии Алексевне, отчасти в старой прислуге, отчасти в тех предметах и особенно бумагах и книгах, которыми был заполнен кабинет. Он принял меня в теплом бархатном пиджаке, удивившись и обрадовавшись моему приходу в столь странный час.

Когда я рассказала ему, откуда я, он думал несколько мгновений и затем взглянул на меня. И в эту секунду одна и та же мысль прошла в его мозгу и в моем, как это иногда бывает (и даже довольно часто). Мы оба подумали об одном.

— Я знаю, куда надо пойти, — сказал он, — и вы тоже это знаете.

Я молча кивнула головой.

— Надо предупредить советское посольство, ведь они с Германией в союзе. Они могут вступиться. Если, конечно, добраться до настоящего человека и суметь объяснить. Они остановят!

Через минуту он уже звонил председателю Правления Тургеневской библиотеки, Д. М. Одинцу, историку и сотруднику газеты П. Н. Милюкова «Последние новости». А через полчаса Одинец уже был с нами. 1

Мне пришлось повторить свой рассказ. Маклаков, которого очень утомляла машинка, выключил ее, и сидел неподвижно за письменным столом, не участвуя в разговоре. Одинец был совершенно согласен, что единственное, что еще можно сделать, это пойти в советское посольство на улицу Гренель и попросить вмешаться. «Кто пойдет?» — спросила я. «Надо мне идти», — ответил Одинец. Мы наскоро закусили и он ушел. Я осталась ждать его возвращения.

Забегая вперед скажу, что конец жизни Д. М. Одинца был довольно грустен: мы знали друг друга давно, и я несколько раз навещала его в больнице Валь-де-Грас, когда его оперировали (в самый разгар войны). Он лежал в общей палате и видимо страдал от недоедания, продовольственное по-

¹ К. И. Солнцев и другие члены Правления в это время были вне Парижа.

ложение перед концом войны было тяжелым. Его молоденькая, прелестная дочка варила ему какао на ночном столике, на спиртовке, он пил прямо из кастрюли, другие больные смотрели на это с завистью и тогда она варила и им. Оправившись после операции, он в 1944 году записался в советские патриоты и очень скоро выехал в Советский Союз, где ему позволили жить в Казани; там он через несколько лет и умер.

Но в тот день, в квартире Маклакова, ничто не предвещало такого необычного для эмигранта, русского антибольшевика, конца. Мы ждали долго. Маклаков стал нервничать, ходить из комнаты в комнату; я сидела у него в кабинете и старалась занять свои мысли чем-нибудь. Помню, я читала какой-то старый адрес-календарь членов Государственной Думы. Краткие сведения, год рождения, от кого выбран... Вас. Ал. подошел ко мне и сердито сказал:

- Я тут когда то ножичком выскреб год своего рождения. А теперь мне все равно. Пусть знают все, что я старик. Пусть. Не все ли равно? Дайте я его впишу, или впишите сами.
- Ничего не желаю вписывать. Пусть остается так. Да и вписать некуда вы тут все продырявили.

Он в этот первый год войны (и во второй год) выглядел еще сравнительно не старым. Только отсидев в тюрьме у немцев он потерял свой блеск, и уже навсегда. Помню, он позже рассказывал мне, что выйдя из тюрьмы он ни о чем не думал, как только о том, что ему не вернули шнурков для ботинок и ему приходится шагать с незашнурованными башмаками по улице, и держать брюки, потому что пояс тоже не вернули, и так как он сильно похудел в Сантэ (несмотря на передачи, в которых принимали участие все его друзья), то он боялся, что брюки упадут, и все это его занимало, а вовсе не мысли о том, что он наконец свободен.

Одинец вернулся часа через два. Его рассказ я тогда же записала. Его ввели в одну комнату, затем в другую. Он сказал, что хочет видеть первого секретаря, или заместителя посла, или, если можно, самого посла. Сначала он говорил с одним человеком, потом с другим, потом с третьим. Кто они были, осталось ему неизвестным. Он несколько раз объяснял, зачем пришел: вступиться за русскую библиотеку; Тургенев основал; Тургенев, — «Отцы и дети», «Рудин», — когда в Париже жил... На лицах не отражалось ничего. Это надо сделать скоро, иначе все книги уйдут... Но слушавшие его

люди только плечами пожимали: при чем тут мы? Эмигрантские дела! Нас совершенно это не касается. «И вдруг, — сказал Одинец, — словно меня осенило, и я сказал им: в этой библиотеке Ленин работал, там есть книги с его пометками, там есть книги, которые он оставил в библиотеке, там даже есть стул, на котором он сидел (у меня, сказал Одинец, работало воображение, как никогда в жизни)». И вдруг люди забегали, засуетились, позвали еще троих, заставили повторить слова о Ленине.

— Провожая меня, — закончил Одинец, — они провели меня через совсем другие двери. И они все отпирали их, и запирали их. И, представьте себе, мне показалось, что один из них даже обещал, что они что-то такое предпримут, хотя, конечно, мало это вероятно. А наверное одного телефонного звонка было бы достаточно!..

В ту ночь я опять ночевала у друзей в Булони, и когда на следующий день я пришла к отелю Кольбер, все было кончено. Гробы были увезены, двери заперты, наложены печати. Самое крупное русское книгохранилище вне России перестало существовать.

Фондаминского я больше никогда не видела. Шопенгау- эр остался у меня. 2

Н. Берберова

² Постепенно за эти годы, трудами бескорыстно преданных людей, озабоченных воссозданием русской библиотеки в Париже, коечто было восстановлено и работа по собиранию книг продолжается. В основу нового собрания положены дублеты книг (около 600), которые хранились в подвале отеля Кольбер и до которых немцы не добрались. Город Париж снова предоставил русскому книгохранилицу помещение.

ПИСЬМА М. ЦВЕТАЕВОЙ К Г. П. ФЕДОТОВУ

Г. П. Федотов был издавна большим поклонником поэзии Марины Цветаевой. Помню, с каким восторгом он читал ее «Поэму Горы». Но лично познакомился он с Цветаевой довольно поздно. Вероятно, посредником был наш общий приятель, пражский поэт Алексей Эйснер*, вернувшийся в 1939 году в СССР в награду за участие в Испанской войне. Помню, с каким восторгом он читал нам «Крысолова» и хлопотал об издании этой поэмы, напечатанной только в «Воле России». Деньги для издания собирались, вероятно, в недостаточном количестве и, увы, уходили на неотложные нужды.

Думаю, что рассказы Эйснера о чтении у нас «Крысолова» и о восторге Г. П. Федотова послужили поводом для первого письма Марины Ивановны с просьбой принять участие в прениях по ее докладу «Искусство в свете совести».

Дальнейшая переписка (всего 12 писем с 16-го мая 1932 года по 24 мая 1933 года) посвящена судорожным попыткам М. И. пристроить свои статьи и стихи, а также борьбе с сокращениями и исправлениями ее работ редактором «Современных Записок» В. Рудневым.

Я не знаю, почему переписка так резко оборвалась. Может быть, тут сыграло роль самоопределение мужа Марины Цветаевой — С. Я. Эфрона в сторону «возвращения на родину», к которому Г. П. Федотов относился с предельным возмущением. А, может быть, переписка стала ненужной, когда Марина Ивановна поселилась так близко от Бердяева, где Федотов бывал почти каждое вооскресенье и где она иногда бывала, так что общение могло продолжаться просто в личных беседах и во время прогулок.

Ко мне Марина Ивановна отнеслась крайне милостиво, несмотря на несколько презрительное отношение к простым смертным — не творцам и неспособным вдохновлять к творчеству

^{*} После многих перипетий (лагерь в Алма-Ата) имя Эйснера появилось в журнале «Новый мир».

(см. 305 стр. в «Прозе» Цветаевой, Изд. нм. Чехова, об Асе Тургеневой: «Я поняла, что внушать стнхн больше, чем писать стихи, большая богоизбранность, что не будь в мире Асн — не было бы в мире стнхов»). Эту точную формулировку я прочла сравнительно недавно, но тогда в своей наивности была искренно изумлена и даже возмущена ее словами, что существование матери Марии оправдано тем, что Блок посвятил ей стихи. Снисхождение ко мне с творческих высот так трогательно объяснено во втором письме от 26 ноября 1932 г., что перефразировывать его не стоит.

В заключение последняя трагическая встреча. Осенью 1938 года вся русская эмиграция, да и не только эмиграция, была потрясена похищением генерала Миллера в Париже, а также и убийством на швейцарской границе коммуниста Рейсса, повинного, насколько я знаю, в обличительном письме Сталину. Из наших слава Богу, бы в ш и х знакомых немедленно исчезли супруги Клепинины... и Сергей Эфрон. К Марине Ивановне сейчас же бросился покойный Ил. Ис. Фондаминский, всегдашняя опора всех «труждающихся и обремененных». Он рассказывал нам, что М. И. рыдала и готова была клясться, что Эфрон не мог участвовать в кровавом деле.

Через несколько месяцев я зашла к знакомой в небольшой отель (13, Бульвар Пастер) и она мне сказала, что тут живет Марина Цветаева с сыном н что, повидимому, она очень несчастна. Я решилась постучать в дверь. Марина Ивановна как будто обрадовалась посетительнице и стала объяснять мне, что она должна уехать в Россию, что нз Кламара ей пришлось бежать от соседей, мальчика нельзя было держать в школе (французской?) нз-за товарищей, что, наконец, ввиду надвигающейся войны она просто умрет с голоду, что и печатать ее никто не станет. Тут же она, к моей большой радости, прочла свою погребальную песнь Чехословакии: «Двести лет неволи, двадцать лет свободы». Впоследствии Ил. Ис. говорил мне, что он очень просил ее дать эту поэму для «Совр. Зап.», но что она уже, приняв роковое решение, вероятно, боялась печататься в эмигрантской печати.

В комнате был ее сын, который, не стесняясь посетительницы, не только не закрыл, но даже не приглушил радио. И вдруг понеслись ужасные сообщения. Диктор рассказывал этап за этапом гибель от пожара парохода «Париж» — двойника «Нормандии». Помню ее слова: «Господи, сколько человеческого труда погнбает».

На этом мы расстались. После ее отъезда пронесся слух, что, когда она уже была на пароходе, уносящем ее к роковому концу,

в Париж пришло известие, что Эфрон расстрелян. Проверить этот слух, конечно, не было возможности.

Мне невольно вспоминаются сейчас слова Пастернака, им сказанные Цветаевой шепотом во время чествования советских писателей в Париже: «Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк».

Е. Н. Федотова

Clamart Seine 101, Rue Condorcet 16-го мая 1932 г.

Глубокоуважаемый Георгий Петрович,

Обращаюсь к Вам со следующей просьбой: 26-го в четверг мой доклад — Искусство при свете Совести (основу которого Вы уже знаете через Эйснера). Не согласились ли бы выступить в качестве собеседника? Мне думается — тема интересная, и возразить: вернее отозваться — будет на что!

Очень благодарна буду Вам за скорый ответ.

М. Цветаева

Краткое содержание доклада на-днях появится в Последних Новостях.

26-го (?) ноября 1932 г. достоверно — понедельник

Милый Георгий Петрович,

Оказывается — муж может достать мне только Новый Мир, а этого мало, чтобы дать пастернаков фон. В Тургеневской Библиотеке я не записана. Так-что обращусь к Вам с просьбой: достать что можете. Чем больше достанете — тем живее будет вещь (о стихах можно писать только на примерах, т. е. возможно меньше говоря, возможно больше давая говорить).

Моя дочь часто бывает в городе, напишите когда и куда ей зайти, — а м. б. проще переслать, вернее пересылать по мере поступления — по почте? Книг задерживать не буду, тут же выпишу что нужно и верну Вам. Очень хотелось бы побольше материалу, но я здесь совершенно беспомощна, могу только написать. Прилагаемые стихи передайте жене, ей может-быть

будет приятно узнать (вспомнить) и такого Макса, а можетбыть — и ту меня, которую она — наверное единственный человек в Париже, если не шире, и к моему глубокому удивлению — хочется сказать: еще застала. («Мальчиком бегущим резво — я предстала вам» — позовите меня в гости [как нибудь вечером] и я вам обоим почитаю — и стихи той поры и теперешние).

До-свиданья. Спасибо, что вспомнили. Очень буду ждать книг.

MU.

Про съезд думаю и с ответом не задержу.

14-го дек. 1932 г.

Милый Георгий Петрович,

Ответьте мне по возможности сразу: могу ли я вместо Пастернака написать Маяковского, либо сопоставить Маяковского и Пастернака: лирику и эпос наших дней?

Все равно ничего исчерпывающего об остальных не могу дать, их много, книг мало, ненавижу безответственность.

Когда в точности дать статью? (Последний срок).

— Будут те-же 8 страниц.

Жду ответа. Сердечный привет Вам и Вашим.

МЦ.

16-го дек. 1932 г.

Милый Георгий Петрович,

Ваша книга наконец обнаружилась — запропала в дебрях при переезде — Маяковский, и Аля ее нынче же доставит в библиотеку, сказав, что Ваша. Если будет штраф, выплачу из гонорара, только скажите — сколько.

— Хорошо бы на Петре, т. е. на чудном Пастернаке, всячески выгодно, но есть страницы за две, еще место, на к-ом можно прервать.

Спасибо за всё и простите за Маяковского, о нем не пекитесь, нынче же будет возвращен.

МЦ.

Четверг.

16-го дек. 1932 г.

Милый Георгий Петрович,

Еще вопрос даже — запрос. С моим докладом на Съезде Православной Культуры не безнадежно, и вот почему: у меня есть начатая вещь: Две Совести (совесть перед вещью и совесть перед Богом: — хорошо сделано! и что сделано?) которую мне нужно было бы Вам показать, вернее — из к-ой почитать, ибо это, пока, непроходимый черновик. Если бы Вы нашли, что это подходит (думаю — да), я бы, тотчас же после сдачи Вам статьи для Нового Града, принялась бы за нее и сделала бы что могла.

Но — важный вопрос — выступление бесплатно? Ведь мне бы пришлось работать полных две недели, т. е. в это время не делать ничего для заработка, а как ни плохо оплачиваются самые случайные переводы — они все-таки что-то дают.

Нельзя-ли бы выяснить этот вопрос заранее?

Если же Вы заранее знаете, что безнадежно — или неудобно — что все выступают даром и т. д. — то и выяснять не надо.

Во всяком случае мне бы надо Вам вещь — и в черновом виде — показать, м. б. и не пригодится. Не совсем приятно также, что все эти ученые господа с радостью будут рвать меня на части, здесь отбиться я навряд ли смогу, — у них цитаты, а у меня только живые примеры, почти — бытовые примеры.

Хотите встретиться на будущей неделе? Не соберетесь ли Вы в Кламар (в любой день от 4 ч., по пепременно предупредив заранее), тогда обо всем рассудим. Книжку Аля обменяла, мне абонемент очень послужит для статьи.

М. б. удастся переехать до 15-го янв., так как новая кв. пустая.

Сердечный привет Вам и Вашим.

МД.

20-го дек. 1932.

Милый Георгий Петрович,

Не поможете ли Вы и Елена Николаевна мне в распространении билетов на мой вечер 29-го — Детских и юношеских стихов — термовый вечер, роковой, ибо кроме терма еще пе-

реезд! Цена билета 10 фр., посылаю три, четвертый вам обо-им, дружеский.

Сделайте, что можете! И еще — не знаете ли Вы случайно, что с «писательским балом»? Будет ли и есть ли надежды? Боюсь пропустить срок прошению, а неловко просить, не зная будет ли «бал»! Из-за полной нищеты нигде не бываю и никого не вижу. — Статья пишется и будет готова к 1-му.

Сердечный привет вам всем.

МЦ.

Р. S. Вчера писала Рудневу с просьбой дать мне 100 фр. авансу за конец «Искусства при свете совести» в январской книге, — уже получила корректуру. Не могли бы Вы, милый Георгий Петрович, попросить о том же Фондаминского? Идут праздники — уже на ноги наступают — а нам не то что нечего дать на чай, сами без чаю и без всего.

— Если можете! —

8-го янв. 1933 г.

Милый Георгий Петрович,

Вот, наконец, рукопись.

Обращаю все Ваше внимание на 16 стр. где вписка не совсем, не целиком заметна. Приоткройте лист, часть вписки слева и скрыта, у меня не было места, а вписка мне необходима. Приоткройте!

Работала над статьей *зверски*, не отрываясь, полных 3 недели, печатайте петитом, либо делите на два, но *не* сокращайте, иначе я впаду в отчаяние.

Руднев моих 3 стихов (иикл) Волошину не взял, говорит много — 117 строк, а одного я ему не дала. А сам просил кроме имеющегося «Дома» (38 строк) еще 2-3. Я послала волошинский цикл (117 стр.) прося отставить «Дом», тогда выходит 80 с чем-то строк т. е. как раз те 2-3 стихотв., к-рые Руднев просил еще. Вог его знает! Ненавижу торговлю, всегда готова отдать даром, но не могу я дать им место, к-го у них для Волошина и меня нет (Внутри нет!) А главное — Волошина здесь многие помеят и любят, и многие бы ему порадовались.

Кроме всего у меня переезд и перевод бердяевской статьи, пишу среди полного разгрома.

Очень жду отзвука на статью. До 15-го адрес прежний, после 15-го — 10 rue Lazare Carnot, Clamart. Название прошу без точек и с тирэ как у меня.

Сердечный привет Вам и Е. А.

МЦ.

Название, *либо как у меня*, либо (оно мне больше нравится, но как хотите, м. б. журналу важнее эпос и лирика)

Ворис Пастернак и Владимир Маяковский, т. е. если без эпоса и лирики, тогда Бориса на первом месте.

На выбор.

Корректуру умоляю. Простите почерк.

Среда

Милый Георгий Петрович,

Из опечаток, верней поправок — самая существенная — пропуск на 2-ой стр. Он у меня сделан тщательно, но к кому обратиться, чтобы не перепутали? Довольно с меня и моих «темнот» (NB! Убеждена, что пишу яснее ясного!)

Еще: необходимо цитату из Рильке напечатать так:

....die wollten blühn Wir wollen dunkel sein und uns bemühn

ибо первая строка — неполная, взята из середины. Я поставила стрелы.

зазывалы (как менялы)

7 стр. враздробь (NB слово существует!)

8 стр. — сокращение необходимое, а то жвачка.

Остальные опечатки — буквенные, кое-где добавила и упразднила запятые.

(Руднев напр. уверен, что перед каждым как нужна запятая, а это неверно. Человек как целое. Здесь, например, никакой запятой не нужно. Об этом есть и в грамматике, но Руднев — между нами — мне — от страха — всюду ставит!)

Еще раз спасибо за такое человечное редакторство. И — очень хорошо кончается на Петре. Только хорошо бы, чтобы без опечатки (конвульский) Сердечный привет

МЦ.

14-го февраля 1933 г., вторник

Милый Георгий Петрович,

По-моему, Вы очень хорошо поделили — как раз на Петре. Поделила бы совершено также, — естественное деление. Совершенно согласна, что никаких «продолжение следует», — такие оповещения только пугают читателя перспективами разверзающейся паскалевской бесконечности.

Просто заглавие, и

T

Корректуру исправлю нынче же и доставлю (на-дом, завтра).

Большая просьба о гонораре возможно скорее, дела хуже чем плохи.

И еще вторая просьба. На-днях доставляю Рудневу всё «Живое о живом» — о Максе. 90 машинных стр. по 1800 знаков в странице, т. е. 162 тыс. печ. знаков, т. е. поделить на нормальных 40 тыс. знаков — 4 печатиых листа. Пожалуйста убедите Руднева или Фондаминского, что они могут отлично разбить на два N и печатать без шпон, а то опять это отчаяние сокращений! Тем более, что я предлагала Рудневу написать отдельную статью о Максе, какую-угодно короткую, хоть в пол-листа, но он не захотел, и просил именно эту. Сделайте, что можете! Мне здесь не я важна, а Макс. Ведь больше у меня случая сказать о нем не будет, а у меня он правда, живой.

Вольшое спасибо за чудное обращение, так хорошо со мной, с времен Воли России, никто не обращался.

Сердечный привет Вам и Вашим. Корректуру — завтра.

MIL.

И — третья просьба, alle guten (или schlechten) Dinge sind drei: об отдельных оттисках статьи, ибо есть надежда переправить и в Россию. Сосинский этим займется охотно, мы с ним приятели. — Если можно!

4-го марта 1933 г.

Милый Георгий Петрович,

Умоляю еще раз написать Фондаминскому о гонораре, нас уже приходили описывать — в первый раз в жизни.

Привет

MII.

6-го марта 1933 г.

Милый Георгий Петрович,

Самое сердечное спасибо за аванс — как жаль, что меня вчера не застали, мы с вами так давно не виделись.

А вот строки из письма Руднева (между нами, а то рассвирепеет — и прощай, Макс!)

....Теперь, в порядке не редактора, а читателя, осмелюсь Вам сказать, что удивляет и несколько даже досаду вызывает Ваше (простите) раболенное отношение к М. В. Он — прямо какое-то божество, богоподобное существо, во всех отношениях изумительное. Это — неверно или невероятно, все равно. А важно то, что Ваша восторженность уже не заражает читателя, а наоборот, настораживает против М. В.

О моих личных впечатлениях и совместной и тесной жизни с М. В. в Одессе при случае расскажу.

Не сердитесь на меня? Но мне очень не хотелось бы для Вас оттенка некоего «ридикуля» в чрезмерной восторженности.

Преданный Вам, и т. д.

Милый Георгий Петрович, если бы писал читатель — мне было бы все равно, но читатель власть имущий есть редактор, и мне совершенно не все равно.

Поэтому не огрызнулась (а как могла бы! Простым разбором понятий раболепства и рудневского «ридикуля») — не огрызнулась, а ответила мирно — «не будем спорить — как никогда не спорил Макс» и т. д. ...

Мне важно, чтобы про Макса прочли все, а потом когданибудь, когда больше не буду зависеть от Руднева и Амари (à Marie) включу это рудневское послание, как послесловие. Но, в утешение, *чудное* письмо от бывшей жеиы Макса (25 лет или больше назад!) — Маргариты Сабашниковой, художницы, — Вы м. б. ее знали, или ее брата — издателя? Когда увидимся, прочту.

Когда — увидимся?

До-свидания, еще раз спасибо за выручку. *Руднев* — между нами. Но при случае воздействуйте в смысле принятия рукописи — она сейчас у него на руках, и он ее читает — от конца к началу и от начала к концу.

До свидания! Скоро в Кламаре будет чудно — приедете гулять.

МД.

Е. А. непременно покажите, — она ведь Макса знала и любила. Привет ей и дочери.

P. S. Это не мой герб, а герб Сосинского: его конверт.

3-го апреля 1933 г., понедельник

Милый Георгий Петрович,

Всё получила, — сердечное спасибо. А Руднев от меня сегодня получит мое последнее решение: порть вещь сам, я — устраняюсь. (В письме говорю иначе, но не менее ясно). Согласия моего на обездушенную и обезхвощенную вещь он не получит.

Очень жду Вашего ответа на то письмо, с докладом.

Еще раз спасибо. На Пасху — повидаемся? Вы же наверное будете у Н. А., м. б. и ко мне зайдете? Только пораньше, чтобы гулять. Будете писать — упомяните и об этом. Всего лучшего!

MД.

6-го апр. 1933 г., четверг.

Дорогой Георгий Петрович,

Постарайтесь мне продать несколько билетов, а? Такие отчаянные пасхальные и термовые дела. Цена билета 10 фр., посылаю пять. Знаю, что трудно — особенно из-за Ремизова — но — попытайтесь?

Умоляю возможно скорее прислать мне *тему* Вашего выступления, необходимо, чтобы появилась в следующий четверг. Некоторые уже поступили, но нельзя же — без Bac!

Очень прошу.

Только-что радостное, невинное согласие Руднева самостоятельно портить мою вещь (Волошина).

Милый Макс! Убеждена, что со своей горы («Большого Человека» — так будут звать татары) с живейшей и своейшей из улыбок смотрит на этот последний «анекдот».

— Hý, вот.

Вся эта история с Рудневым и Волошиным называется: победа путем отказа (моя — конечно!)

А нет ли художественного писательского Бога мстящего за такое самоуправство?

Умоляю — тему!

М.Ц.

24-го мая 1933 г.

Милый Георгий Петрович и Елена Николаевна,

Не забыла, но в последнюю минуту, вчера, отказалась служить — приказала долго жить — резиновая подметка, т. е. просто отвалилась, а так как сапоги были единственные...

Очень, очень огорчена. Знайте, что *накогда* не обманываю и не подвожу, — за мной этого не водится — но есть вещи сильней наших решений, они называются невозможность и являются, даже предстают нам — как вчера — в виде отвалившейся подметки.

Всего доброго. Дела такие, что о ближайшем «выезде» мечтать не приходится. Получила очередное письмо от Руднева о Максе — целый архив!

М.Ц.

БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ*

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ В 1907-08 гг.

1

С Курского вокзала мы направились в Столовый переулок, еще не решив, где остановимся. Дома узнали, что нам отведены две комнаты: спальня и кабинет папы (сам он переселился на время в мою комнатку). Мама сразу не вышла к нам. Когда я увидела ее, то слезы выступили у меня на главах, так она изменилась: из полной стала худенькой и напомнила мне ее мать, мою бабушку, скончавшуюся, когда мне шел восьмой год. На меня это произвело такое впечатление, что туман, в котором я жила, рассеялся.

Комнаты Яну понравились. В его кабинете, выходившем в гостиную, стояла тахта, большой письменный стол, над которым висел мой портрет гимназисткой, в профиль, увеличенный одним из моих приятелей. Ян любил эту фотографию.

Мы разложили вещи. За завтраком обменивались впечатлениями с нашими о лете. Ян скоро ущел к Юлию Алексеевичу; я, посидев недолго с мамой, отлучилась на курсы, они были в двух шагах от нас, чтобы узнать расписание экзаменов.

Ян вернулся с братом и Колей, который уже нашел себе пристанище, кажется, у той же хозяйки, где они с Митюшкой жили в прошлом году. Мама оставила их обедать.

За обедом Юлий Алексеевич сообщил, что Телешовы еще на даче. Они 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, пригласили своих друзей на целый день. Меня это огорчило, — в этот день рождение папы, и мне неудобно было бы уехать из дому.

Зайцевы вернулись из Италии, куда они поехали после Парижа, там встретились с друзьями, все влюбились в эту страну. Каждый мужчина купил себе панаму, загнул поля этой итальянской шляпы по-своему, и вид у всех был победоносный.

^{*} См. кн. 59, 60, 61 «Н. Ж.».

Недели три мы тихо прожили, Ян ввел кой-какие нововведения, попросил, чтобы на сладкое ему ежедневно варили яблочный компот.

В середине сентября он отправился в Петербург, надо было распродать написанное летом. Нужно было повидаться с Пятницким в «Знании». Вернувшись, с огорчением рассказал, что Пятницкий все еще за границей, ждут его к 30 сентября. Чаще всего Ян проводил вечера у Марьи Карловны Куприной, с которой с давних пор дружил и чье общество ценил, восхищаясь ее умом и остроумием.

Побывал он в издательстве «Шиповник», издателями которого были Копельман и Гржебин. Они решили выпускать альманахи под редакцией Б. К. Зайцева. Для первого альманаха «Шиповник» приобрел у Бунина «Астму». Ян отнес Зайцеву рукопись Нилуса «На берегу моря». Редактору она понравилась, Ян мгновенно написал автору, что вещь его, вероятно, будет принята.

В Москве появился некий Блюменберг, основавший издательство «Земля» и пожелавший выпускать сборники под тем же названием. Он предложил Ивану Алексеевичу стать редактором этих сборников. Шли переговоры за долгими завтраками. Ян был оживлен, но не сразу дал согласие. Сошлись на том, что редактор будет получать 3.000 рублей в год, условия хорошие. Ян принялся за дело с большим рвением.

30 сентября Ян снова поехал в Петербург, но Пятницкий еще не вернулся, — застрял на Капри. Он думал предложить «На берегу моря» «Знанию». Тогда он решил устроить вещь Нилуса в «Шиповнике», и это ему удалось. Дали аванс в 200 рублей, по условию, это произведение должно было появиться не позднее весны 1908 года. Зайцев обещал свое содействие.

Ян то и дело отлучался в Петербург, ему необходимо было повидаться с Пятницким, узнать, как идут дела «Знания». «Шиповник» переманивал его к себе, как переманил Андреева и некоторых других писателей. Но Ян уклонялся от окончательного ответа, хотя условия «Шиповник» предлагал заманчивые.

Гржебин, с которым я встретилась как-то у Зайцевых, — он у них тайно остановился, — сказал мне, что Иван Алексеевич «и самый легкий, и самый трудный из всех писателей». Он был прост, не напускал на себя важности во время переговоров, но добиться окончательного решения от него было трудно.

Художественный театр хотел поставить «Каина» в переводе Бунина, это было бы очень хорошо и в смысле материальном, — за два года Ян мог получить десять тысяч рублей. Но, к сожалению, это не осуществилось.

Четвертый раз Ян поехал в Петербург, но Пятницкий опять не оправдал ожидания, и Ян не знал, что ему делать. Желая устроить рассказ Нилуса «Госпожа Милованова» в журнале Марьи Карловны Куприной, он советовал автору переименовать рассказ и предлагал заглавие «Закат».

2

Выпал снег. У нас обедали Юлий Алексеевич и Федоров. После обеда мы сидели за самоваром. Разговор зашел об Андрееве, который недавно приехал в Москву: в Художественном театре репетировали его «Жизнь человека»; его сын Даниил воспитывался в семье Добровых, у сестры его покойной жены.

Раздался телефонный звонок. Старший из моих братьев Сева кинулся в переднюю.

— Легок на помине! Звонил Голоушев, просил передать, что они с Леонидом Николаевичем едут к нам, — сказал он взволнованно.

Я с Андреевым не была знакома. Как писатель, он не трогал меня, — мне нравились только некоторые его рассказы. Все же ожидала его с большим интересом. Меня волновало, что я должна увидать человека, перенесшего большое горе, — меньше года назад он потерял молодую жену. И я старалась представить себе, какой он? Я знала, что горе он переживал тяжело, что в Москве, где он был так счастлив, особенно остро чувствует свою потерю и что отчасти поэтому он переселился с матерью и со старшим сыном Вадимом в Петербург. В голове у меня мелькали обрывки рассказов о нем. Я вспомнила. как наш друг студент-медик Шпицмахер, придя к нам (вскоре после нашумевшей «Бездны»), сказал: «Знаете, кто такой писатель Андреев? Это тот самый красивый брюнет, который ходил по Царицыну в расшитой косоворотке и студенческом картузе, с хорошенькой барышней...». Вспомнила диспут по поводу «Записок врача Вересаева» в Художественном Кружке; зал набит битком; на эстраде яблоку некуда упасть; во втором ряду Андреев, а впереди него, причесанная на пробор хорошенькая, худенькая с мелкими чертами лица наша курсистка Велигорская, теперь Андреева, в легком черном платье, из-под которого виднеется маленькая, изящно обутая нога.

Но вот раздался звонок, а затем я услышала смех в передней.

Поднявшись навстречу гостям, смотрела на Андреева. Он немного постарел и стал полнее с тех пор, как я видела его в «Кружке», показался даже немного ниже ростом, потому что стоял рядом с высоким Голоушевым (Андреев был коротконог). Поздоровался он со мной с милой ласковой улыбкой. Я предложила ему чаю. Налила очень крепкого, — знала, что он пьет «дёготь».

Сразу завязался оживленный разговор, сначала о Горьком, о Капри... Я смотрела на черные с синеватым отливом волосы Андреева, на его руки с короткими худыми пальцами, на красивое (до рта) лицо, увидела, что он смеется, не разжимая рта, — зубы у него плохие, — что черный бархат его куртки мягко оттеняет его живописную цыганскую голову. Говорил он охотно, немного глухим однообразным голосом. Услышав меткое слово, остроумное замечание, заразительно смеялся. О Горьком говорил любовно, даже с некоторым восхищением, но Капри ему не понравилось, — «слишком веселая природа». Он решил построить дачу в Финляндии: «Юга не люблю, север другое дело! Там нет этого бессмысленного веселого солнца».

Затем начались разговоры о его работах. Он говорил о них с особенным удовольствием. Он только что закончил трагедию «Царь-Голод», а новая повесть его «Тьма» скоро должна была появиться в альманахе «Шиповник».

— «Знание», — говорил он, — не простит мне этой измены, но мне нужны деньги, а «Шиповник» гораздо щедрее на гонорары...

Затем он внезапно заявил: — Страшно хочется в «Большой Московский», — еще ни разу не был после возвращения из-за границы.

На отговаривание Голоушева он только лукаво усмехнулся:

— Не беспокойся, Сергеич, мы с тобой и в «Московском» будем пить только чай; а посидеть с друзьями мне очень хочется, ведь ни Ванюши, ни Юлия я еще путем не видал.

В передней, когда он накинул на себя дорогую шубу с серым смушковым воротником и заломил назад такую же шапку, Ян напомнил ему про старую отцовскую шубу, которую он носил по бедности в студенческие годы и которая была похожа, по словам Яна, на собачий домик. Андреев очень хорошо засмеялся.

Через четверть часа очутились в белом, огромном, залитом светом зале. Довольно долго выбирали где лучше сесть. Наконец сели, заказали фрукты, вино, а для Андреева чай. Я сидела рядом с Голоушевым. Он был дружен со многими художниками, почти со всеми московскими писателями, а с Андреевым особенно, проявляя по отношению к нему большую нежность и заботливость.

За разговорами мы и не заметили, что стакан чаю перед Андреевым стоит нетронутым и что в руке у него изумрудный на топазовой ножке бокал. Но в ответ на горестно-упрекающий взгляд Голоушева, он только опять хитро подмигнул и неожиданно сказал:

— А что, братцы, не поехать ли нам к Яру? Давно не был я в Петровском парке, страшно соскучился по хорошей русской зиме. Едем! Едем!

Голоушев попробовал было отговорить его, но быстро поняв, что это бесполезно, простился и уехал. Мы наняли лихача и «голубцы», небольшие сани парой — и разместившись — Юлий Алексеевич с Севой на лихаче, а Андреев с Федоровым и нами на «голубцах», — шибко понеслись по Тверской, по белому свежему снегу. Ночь была мягкая. Было необыкновенно весело от остро пахнущего воздуха, от бубенцов, от быстрой езды по пустынной улице, ярко освещенной гелиотроповыми шарами. За Тверской заставой нас то и дело обгоняли тройки, — Москва праздновала «первопуток».

Возбужденные этой скачкой, мы шумно ввалились в вестибюль и, сбросив шубы, направились в парадный светлый зал, такой высокий, что столики в нем казались странно низкими. Писатели опять начали обсуждать, где им сесть. Наконец место выбрано в углу у входа, шампанское, жареный миндаль заказаны.

Андреев, очень веселый и благодушный, опять говорил, как он рад, что он в Москве, среди друзей, неожиданно перешел на «ты» с Федоровым, которого называл шутя «Азорскими островами». Александр Митрофанович недавно возвратился из Нью-Иорка, куда ходил на пароходе со знакомым капитаном, во время остановки он побывал на одном из Азорских островов, а затем что-то написал о них. Леонид Николаевич продолжал рассказывать о своих новых произведениях, хохотал, слушая шутки Яна, который, глядя с каким удовольствием Андреев пьет, сравнил его с верблюдом «дорвавшимся до колодца после долгого перехода по пескам пустыни».

— Ох, Ванюша, — отвечал он, — когда я с тобой у меня щеки ломит от смеха.

Впрочем, все чаще и чаще он начинал впадать в грусть, опять вспомнив, что у него произошел разрыв с «Знанием» из-за «Шиповника», уверял, что Горький ему этого никогда не простит, говорил о своей финляндской даче: «Я хочу, чтобы она была мрачная, как финская природа!» Неожиданно он напал на Толстого и стал доказывать, что «Война и мир» не настоящий исторический роман.

Тут чуть не случился скандал, могущий плохо кончиться: какой-то военный, встав против оркестра, вынул саблю из ножен и стал дирижировать. Сева, найдя, что тот не имеет на это права, кинулся к нему. За ним Юлий Алексеевич и Федоров. Едва уговорили Севу вернуться к столу.

Уже светало, когда мы вышли и уселись по-прежнему. Андреев попросил проехаться по Ходынскому полю. Юлий Алексеевич с Севой поехали домой. А мы свернули к Ходынке.

— Ах, как я соскучился по снегу, — повторял Андреев упавшим голосом. — Нет, без севера жить нельзя. Горького, вечно сидящего на Капри, не понимаю! — прибавил он злобно.

Выехав в открытое поле, мы на минуту остановились. Он натнулся, захватил горсть снега и жадно понюхал его.

Бедный Федоров совсем осовел, застыл в своем легком пальто. Спрятав руки в карманы, он забыл о папиросе, которая, переломившись, смешно болталась в его посиневших губах. Я приказала ямщику ехать в «Лоскутную».

Андреев опять говорил о «Царь-Голоде», ему хотелось сейчас же прочесть его нам. У «Лоскутной» он настойчиво начал просить подняться к нему.

Федоров сейчас же простился и ушел к себе.

В номере Андреева, при утреннем зимнем свете, он с бледным похудевшим лицом, с горящими глазами, стоя, читал, как «Смерть ест бутерброд» и мрачно отбивая такт ногой, напевал:

— Там, там, там... Там, там, там...

Через несколько дней он читал эту пьесу у Добровых. Было много народу, много незнакомых нам лиц, непричастных к литературе, — Андреев любил, чтобы его слушали не только одни писатели. В тот вечер он был совсем непохож на того, каким я его видела в первый раз. Как всегда на людях, среди поклонников, он был серьезен, молчалив, даже несколько мрачен. Читал глухо, однообразно, ни на кого не глядя.

3

Через несколько дней, как-то вечером Андреев по телефону пригласил нас приехать к нему. Мы собрались и по-ехали.

Навстречу нам, кроме хозяина, встал еще кто-то огромный в блузе, с прямыми откинутыми назад каштановыми волосами, с необыкновенно мощной шеей, с бантом белого галстука, широко раскинутым по вороту блузы. Я сразу узнала Скитальца. На столе стояли две бутылки шампанского.

Андреев был бодр, оживлен, но очень бледен. Он больше стоял или ходил, держа бокал в руке, и все говорил, говорил:

— Хорошо было бы написать сказочку, как мать рассказывает больному сыну, нося его по комнате, что вот пришел великан, такой страшный, большой великан... и упал великан... и мальчик затихает, засыпает... Только и всего...

Я разговаривала со Скитальцем. Пугая меня своей шеей, которая, раздуваясь, выпирала очень большой кадык, он рассказывал о себе. Я слушала его с большим интересом: года два-три перед этим он гремел на всю Россию.

— Я бродяга, певец, писателем я сделался случайно, — рисуясь, говорил он басом. — Горького я боготворил. Я думал: вот настоящий друг! Верил, что он любит меня, Степана, а оказалось, что ему важны были мои писания да выгоды от них, а не я сам. Это самое большое разочарование в моей жизни.

Шампанское было выпито. Андреев позвонил. Лакей внес на большом подносе холодного каплуна, ветчину и еще две бутылки Мумма.

Андреев ничего не ел, только пил и, стоя, говорил, говорил. Я одним ухом слушала Скитальца, а другим отрывочные фразы Андреева.

- Понимаешь, Ванюша, понимаешь, меня все всегда настраивали и настраивают против тебя, даже покойная жена настраивала, а все-таки я люблю тебя.
 - A Куприна? спросил Ян.
- Нет, его не люблю, как писателя, в нем не душа, а пар, знаешь, как у собак.
- К чорту интеллигенцию! Вся она разделяется на три типа: инфлуэнтик, неврастеник и алкоголик.
- Да, тяжело одному, иногда хочется придти и положить на женские колени голову. Мне очень тяжело.

Вот пришел великан, большой сильный великан и упал великан, упал великан.

Я попробовала его уговорить лечь спать. Он усмехнулся: — Спать! Нет, спать я буду этак дня через два.

Засиделись опять до рассвета.

Из «Лоскутной» я прямо направилась за какой-то справкой на курсы, и мне было весело, что никому и в голову не приходило, что я провела бессонную ночь.

. . .

Приехал в Москву Найденов и тоже остановился в «Лоскутной». Иногда он обедал у нас. И я чем чаще встречалась с ним, тем больше чувствовала, как он мало похож на своих «славных» собратьев. Ян за это его любил. И не раз говорил: «тяжелый человек, но до чего прекрасный, редкого благородства!»

К своей славе он относился трезво, понимая, что зенит ее уже прошел, и никогда не пытался подогревать ее. Ян как-то при мне передал мнение о нем Чехова, что он может написать несколько пьес неудачных, а затем напишет опять нечто замечательное, но Найденов только усмехнулся. Не стремился он и к популярности. С большой мукой соглашался участвовать на благотворительных вечерах и когда выходил на эстраду, то, пробормотав что-то, как можно скорее уходил в артистическую.

По природе своей он был неразговорчив: в обществе, как я уже писала, чаще молчал, но в дружеском тесном кругу охотно рассказывал всякие истории из своей жизни. Любил разговоры о современной литературе, о писателях, о славах, которые вспыхивали в те годы, как римские свечи, а затем так же стремительно гасли; любил в шутку гадать: за кем очередь взлететь?

Актерской среды не жаловал. Однако, вскоре женился на актрисе, очень милой, живой, энергичной женщине.

4

Через неделю я покончила с экзаменами. И мы с Яном поехали в Петербург в отдельном купэ первого класса. Остановились в «Северной гостинице», против Николаевского вокзала. Первым делом Ян позвонил по телефону М. К. Куприной, она пригласила нас к обеду, сказав, что у нее будут адмирал Азбелев и Иорданский, оба сотрудники ее журнала.

С Азбелевым Ян встречался. Он был воспитателем Георгия Александровича, покойного наследника престола, рано умершего от туберкулеза. Знал Азбелев всю царскую семью, рассказывал, что Николай Второй искренне верил, что он помазанник Божий. Блюменберг решил издать Киплинга, Иван Алексеевич рекомендовал Азбелева, как переводчика и согласился редактировать эти переводы, а потому обрадовался, что увидит его и переговорит с ним. С Иорданским он тоже был хорошо знаком. Тот заведывал в журнале внутренним обозрением.

Редакция и квартира М. К. Куприной находились в то время у Пяти Углов. Нас встретила молодая дама, похожая на красивую цыганку, в ярком «шушуне» поверх черного платья. Приглашенные — адмирал в морской форме, небольшого роста с приятным лицом, человек лет пятидесяти и высокий с темными глазами Иорданский, еще совсем молодой, — уже ждали нас. Иван Алексеевич удалился в угол с Азбелевым и быстро сговорился с ним относительно его перевода рассказов Киплинга.

За обедом разговоры шли все время на литературные темы, говорили о «Шиповнике», который может убить «Знание», так как там печатается главным образом «серый» материал, а уход Андреева, действительно, может нанести удар этому издательству. Передавали, что Андреев сейчас в большой моде. Строит дачу в Финляндии, а пока живет широко в Петербурге, часто отлучается в Москву, чтобы присутствовать на репетициях «Жизни человека». Разговоры не переходили в споры, а потому мне было особенно приятно их слушать, — я впервые была в редакции популярного журнала, и при мне говорили обо всем свободно. И вот среди такой мирной беседы раздался телефонный звонок. Мы узнали, что через четверть часа приедет Александр Иванович и состоится первая встреча Куприных после разрыва.

Ян начал было прощаться, — мы пили кофий, — но Марья Карловна нас удержала.

Вскоре в дверях, немного сутулясь, появился Куприн с красным лицом, с острыми, прищуренными глазками. Его со мной познакомили. Александр Иванович молча, грузно опустился на стул между хозяйкой и мною, неприязненно озираясь. Некоторое время все молчали, а затем загорелся диалог между Куприными, полный раздраженного остроумия. Глаза Марьи Карловны, когда она удачно парировала, сверкали черным блеском. Иорданский, уставившись в одну точку своими

темными глазами, не произнес ни единого слова. Он скоро ушел, за ним поднялся и Азбелев.

Нас Марья Карловна опять не отпустила, видимо, не желая оставаться наедине с Александром Ивановичем. Конечно, бутылка с «коротким напитком», как Куприн называл спиртное, осушилась быстро.

— Мне говорили, что вы красивая, — неожиданно обратился он ко мне, — а между тем...

Я хотела ответить, но удержалась, видя, что он сильно во хмелю: «Не всякому слуху верь... мне говорили, что вы воспитанный офицер, а между тем...» (Когда я потом рассказала об этом Яну, он заметил, что и Анне Николаевне, его жене, Куприн при первом знакомстве сказал нечто подобное. «Вообще он любит в лицо сказать неприятность», добавил Ян).

Ян, чувствуя, что Марью Карловну тяготит это свидание, стал настойчиво звать Александра Ивановича в разные места. Не пришлось довольно долго уламывать его. Наконец он соблазнился. Прощаясь, мы условились увидаться с Марьей Карловной через два дня у Ростовцевых.

Куприн просил Яна заехать с ним к Елизавете Морицовне, — она, — говорил он, — волнуется как сошло свидание, а ей волноваться вредно, ибо она ждет ребенка. Мы заехали в Пале-Руаяль, излюбленную писателями гостиницу на Николаевской улице и застали Елизавету Морицовну на площадке, кажется, третьего этажа. Она была в домашнем широком платье. Увидав Яна, просила, даже взяла слово, что он привезет обратно Куприна. Ян обещал его не отпускать. И мы поехали дальше, побывали в каких-то ночных притонах, где я увидела мужчин с мрачными, испитыми лицами и женщин в ярких вызывающих нарядах. Везде стоял дым коромыслом. В длинном зале мы поравнялись с господином, одиноко сидевшим за бутылкой красного вина, Ян меня с ним познакомил. Это был Потапенко, поразивший меня сизо-бронзовым цветом лица. Куприн потащил нас дальше.

Наконец мы сели за столик, и Александр Иванович сообщил, что он свою новую вещь «Суламифь» запродал в «Шиповник». Ян высказал сожаление, что она не попадет в «Землю», где гонорары выше. Куприн обрадовался:

- Знаешь, Ваня, мне деньги вот как нужны, если дадите, и он назвал внушительную сумму за лист, то я пошлю всех к чорту, но деньги «на бочку».
 - Хорошо, дадим, дадим! ответил Ян, завтра днем

мы увидимся, и ты получишь требуемую сумму, если передашь мне рукопись.

Вернувшись в Пале-Руаяль, мы застали Елизавету Морицовну на том же месте, где ее оставили. Лицо ее, под акуратно причесанными волосами на прямой ряд, было измучено.

На следующий день Куприн вручил Яну «Суламифь» и получил гонорар. Это вызвало бурю: писатели заинтересованные тем, чтобы эта вещь была в «Шиповнике», так рассвирелели на Ивана Алексеевича, что не подали ему руки, особенно негодовали Арцыбашев и поэт Андрусов.

В этот день Ян побывал у Блока и приобрел у него стихи, заплатив по два рубля за строку. Блок произвел на него впечатление воспитанного и вежливого молодого человека. Вечером мы поехали в «Вену» и ужинали в этом популярном ресторане средней руки. Хозяин любил литературу и даже завел книгу, куда литераторы вносили свои впечатления. Около полуночи в зал стремительно вошел Блок с высокой, красивой женой, на ней было блестящее розовое платье и что-то похожее на золотую корону.

Опять засиделись далеко за полночь. Петербург гораздо позднее ложился, чем Москва. Мы уже чувствовали большую усталость, но мне все это было внове, а потому хотелось везде побыть подольше.

5

Собирались мы в гости к Андрееву. За окнами, сквозь кисею падающего снега, в ярком свете фонарей сверкал тяжкий памятник Александру III. Сели в санки, понеслись по Невскому. Снег залеплял глаза, леденил веки, то и дело закрывала тлаза меховой муфтой. Вот и белая Нева, длинный мост и наконец Каменноостровский. Остановившись у нового дома, вошли озябшие в подъезд, поднялись на лифте.

Хозяин встретил нас очень радушно. Познакомил меня со своей матерью, худой, еще не старой женщиной, в черном платье. Она сидела за самоваром. Вокруг стола, кроме Скитальца, всё новые лица. Леонид Николаевич меня познакомил: Серафимович, Юшкевич, Копельман.

Он указал мне место около матери. С интересом я смотрела на ее грустное лицо. Она была приветлива, обрадовалась, что я «москвичка»: к Петербургу она еще не привыкла, чувствовала себя в этом «холодном» городе как-то стеснительно. Слушая ее низкий, немного хриплый голос, удивляясь, как она много курит, я начала разглядывать сидящах за столом.

От смущения я не запомнила, кто Юшкевич, кто Серафимович, кто Копельман? Начала гадать. Господин с выпученными глазами уж очень не похож на писателя. Решаю и правильно: это Копельман, издатель «Шиповника». Но кто же Юшкевич, кто Серафимович? Никак не пойму: у обоих большие лица и почти нет волос, оба заикаются, хотя и по-разному. Только у того, что ниже ростом, огромные желтые зубы, калмыцкие скулы и почти совсем голый череп, который он часто, с какой-то ехидной усмешечкой, поглаживает. А высокий человек с большим темпераментом, прерывистым голосом что-то громко рассказывает о театре Комиссаржевской.

За ужином меня посадили между Юшкевичем и Серафимовичем. Но я все еще не могла определить, кто из них кто? Вино подняло настроение, все заговорили громче обычного. Закипели споры, посыпались имена: Городецкий, Сологуб, Арцыбашев. Громче всех кричал, больше всех горячился, восхищаясь этими модными писателями, мой сосед слева, — он-то и оказался Юшкевичем.

- Вы, как негр, Юшкевич, ласково обращаясь к нему, сказал Ян, как негр, который носит самые высокие модные воротнички.
- А вы, отрывисто бросает Юшкевич, вы не хотите никогда видеть в модном ничего хорошего, я же люблю и с к а т ь, мне старое быстро надоедает.
- Хорошее, талантливое никогда не должно надоедать, возражает Ян, да и откуда вы взяли, что я не хочу видеть таланта там, где он, действительно, есть? Только, на беду, я его так редко вижу.
- Нужно искать и искать! не слушая, кричит Юшкевич. Вот, например, Рукавишников.

Но мое внимание отвлек Копельман, который с нажимом произнося каждое слово и ударяя указательным пальцем по воздуху, поучал:

— Нет, теперь наступает время романа. Леонид Николаевич должен писать роман. Короткие рассказы отжили свой век.

Андреев, отхлебывая чай, слушал с усмешкой и молчал. Молчал и Скиталец.

После ужина мы сидели в темном кабинете у горящего камина. Андреев говорил со мной. Расспрашивал об экзаменах. И, узнав, что я с ними покончила, сказал: «Я думал, что вы всегда будете их держать...» Потом говорил, что, вероятно, я много слышала о нем дурного, как и он обо мне. Я, по

правде сказать, удивилась: кто мог обо мне говорить дурно и почувствовала, что это он говорит готовыми фразами. Сообщил, что скоро мы увидимся в Москве, опять в «Лоскутной». Я смортела на затейливо горевшие дрова. Огонь, пожары привлекали меня с детства.

Возвращаясь домой я расспрашивала Яна о своих новых знакомых, что они за люди? Неистовство Юшкевича, многозначительное молчание Скитальца, ехидство Серафимовича, — все удивляло меня.

— Юшкевич нравится мне, — заметил Ян, — он всегда несет и с Дона и с моря, но человек талантливый, живой, органический, а вот Серафимовича терпеть не могу. Обратила ты внимание на его лошадиные зубы.

6

У нас было так много приглашений, что на осмотр города не оставалось ни одного часа.

Выдался особенно трудный день. Мы приглашены к завтраку за город к нашему другу, профессору Политехнического института, Андрею Георгиевичу Гусакову. От Выборгской стороны по Самсоньевскому проспекту ходил паровичек, с несколькими вагонами (через несколько лет проложили трамвайный путь). За завтраком был Владимир Матвеевич Гессен, большой друг Андрея Георгиевича. Пробыли мы там не больше двух часов, так как у Яна были свидания по сборнику, а кроме того мы должны были нанести визит Рахмановым, которые уже не занимали квартиры при министерстве Народного Просвещения, а переехали на Николаевскую улицу, так как дядя вышел в отставку. Вечер мы должны были провести у Ростовцевых.

Хорошо, что журфиксы в Петербурге начинались почти в 11 часов, и мы могли отдохнуть после обеда.

Без четверти одиннадцать мы вышли из гостиницы и сказали извозчику везти нас на Морскую, где жили Ростовцевы. И все же оказались первыми гостями. Встретила нас хозяйка, Софья Михайловна, высокая, хорошо сложенная, со вкусом одетая дама. Сообщила, что Михаил Иванович в Мариинском театре, слушает оперу Вагнера. Она ввела нас в просторный кабинет с удобной мебелью, с большим письменным столом, на котором лежала наполовину разрезанная книга модного писателя, если память не изменяет, Сологуба.

Не успели мы сказать несколько слов, как стали появляться гости. Я восхищалась уменьем хозяйки вести непринужден-

ную беседу на различные литературные темы. Она была в курсе всех течений, ловко иллюстрировала несколькими строками только что прошумевшего поэта. Ян помогал ей, становилось интересно, весело. В полночь явился хозяин, небольшого роста, коренастый с умными глазами и свободными манерами, человек лет тридцати пяти. Он сразу заговорил о Вагнере, об опере, которую он только что прослушал, говорил с блеском, чуть улыбаясь.

Через четверть часа нас пригласили «на чашку чая». Все поднялись и направились в столовую, большую комнату с очень длинным столом. Пока рассаживались, появился профессор Кареев, которого я знала в лицо. Высокий, дородный, с широкой белой бородой, (вероятно, приехал с заседания). Моей соседкой слева оказалась писательница Леткова-Султанова, красивая, крупная, уже пожилая брюнетка. Из знакомых была только М. К. Куприна, она сидела с Яном, и они о чем-то оживленно говорили (думаю, что об Александре Ивановиче).

Перед каждым прибором стояла чашка чаю, на столе выстроились бутылки разнообразных дорогих вин. Лакеи начали подавать горячие закуски, подавали без конца. Вот так «чашка чая», подумала я. Влетел высокий, стройный с рыжими волосами на косой пробор, очень живой, весело смеющийся человек. От Летковой узнала, что это художник Бакст. Леткова сомной была очень мила, вероятно, почувствовала мое смущение среди почти незнакомых людей и старалась меня из неговывести. Расспрашивала о московской писательской среде.

Часов до двух ночи никто не трогался с места. Потом понемногу стали подниматься более пожилые гости. Первым: простился маститый Кареев. Недолго пробыл и Бакст. Часам к трем осталась небольшая компания: Марья Карловна, Котляревские — Нестор Александрович, академик и профессор порусской литературе, его жена, Вера Васильевна, высокая красивая дама, артистка Александринского театра, брат хозяина, военный, Федор Иванович и мы. Тут началось уже непринужденное веселье. Стоял неумолкаемый смех, Ян изображал мужиков, мещан, мелких помещиков. Ростовцев вставлял острые замечания, Софья Михайловна опять цитировала одного из современных гениев, Марья Карловна не отставала от нее, время летело так быстро, что, когда опомнились, оказалось уже половина шестого. Долго еще стояли в передней и, прощаясь, Михаил Иванович с Яном чуть ни поцеловали друг у друга руку, в последнюю секунду опомнились и от смущения друг перед другом выкинули антраша.

* * *

На следующий день Ян доканчивал свои дела, а вечером мы были на каком-то ужине, где присутствовали литераторы, адвокаты, общественные деятели. Там впервые я увидала поэтессу Крандиевскую. Ян знал ее мать, писательницу, а «Туся», как ее звал Ян, подростком приходила к нему читать свои стихи. (Об этом я прочла в ее талантливой книге «Я вспоминаю»).

Она приехала с мужем. С ним я была знакома в отрочестве; он был на редкость красив. Жил в качестве репетитора в знакомой семье, проводившей лето в Царицыне. Он узнал меня и сел рядом. Туся была прелестна в своем золотистом платье с букетиком фиалок у пояса. Поразил меня ее ровный цвет лица, оттененный легким румянцем.

Федор Акимович Волькенштейн, ее муж, был в то время уже известным присяжным поверенным. Меня удивило, как он говорил о жене, о ее творчестве, рассказывал, что она иной раз неожиданно уезжает одна в Финляндию, когда ей особенно хочется писать стихи. Приглашал к себе:

— Иван Алексеевич будет беседовать с Тусей, а мы с вами вспомним Царицын.

Я поблагодарила, но отказалась, так как на другой день мы должны были покинуть

7

В Москве шли разговоры о предстоящей премьере «Жизни человека» Андреева. Ян стал поговаривать, что следует хоть на месяц поехать в деревню. Материал для сборника «Земля» он уже передал Блюменбергу, сам дал «Тень птицы», и теперь свободен на некоторое время, а писать ему хочется. Я ничего не имела против того, чтобы пожить зимой в «Васильевском», такой глубокой зимы я еще в деревне не переживала. И мы решили после первого представления «Жизни человека» уехать из Москвы.

Тут обнаружилась черта Яна, — всегда откладывать свой отъезд.

Вскоре мы услышали, что Андреев в Москве. В Москву приехала и М. К. Куприна, которая нас как-то вечером по телефону пригласила в «Лоскутную».

У нее в номере мы встретили Леткову-Султанову в черном шелковом платье и Андреева. Леткова, глядя на его мрачное лицо восхищенными глазами, говорила:

- Ах, Леонид Николаевич, как я рада, что так неожиданно да еще здесь, в Москве, встретила вас! Мы с баронессой Икскуль ваши горячие поклонницы и всегда вместе читаем ваши произведения, потом обсуждаем, переживаем. Как все у вас глубоко, оригинально, как волнует! Вот теперь вернусь в Петербург, будем вслух читать вашу новую вещь в «Шиповнике».
- Я недоволен ею. Не вышло, что задумал, отвечал Андреев. Твоя, Ванюша, «Астма» гораздо удачнее, это лучшая вещь в альманахе, и знаешь, у меня ведь тоже астма, как прочел, так и почувствовал, что задыхаюсь.
 - Бог с тобой, какой ты астматик! смеялся Ян.
- A мне между тем все кажется, что я задыхаюсь, настаивал Андреев.

Он был в дурном настроении. Да и мы чувствовали себя натянуто, нас стесняло присутствие Летковой, восторженное преклонение которой перед Андреевым нарушало обычную непринужденную атмосферу наших ночных свиданий. Кто-то спросил Андреева, почему он сегодня не в духе?

- Я только что от Добровых. Видел сына, который все чему-то радуется, улыбается во весь рот.
- Но это прекрасно, значит, мальчик здоров, сказала я.
- Ничего прекрасного в этом нет. Он не имеет права радоваться. Не отчего ему быть жизнерадостным. Вот Вадим у меня другой, он уже понимает трагедию жизни.

Через некоторое время он встал и ушел, сказав, что у него болит голова. Когда наконец поднялась и Леткова, мы пошли к Андрееву, и он неожиданно встретил нас весело:

- А я уже хотел посылать за вами, только боялся, что моя поклонница все еще у вас. Вот сейчас принесут холодный ужин, и мы славно проведем время.
- И, действительно, ужин этот был особенно оживлен. Марья Карловна была в ударе, ее острый ум, беспощадный язык очень возбуждал собеседников. И о чем только они ни товорили! Кого только ни вспоминали и ни разбирали по косточкам, изображая всех в лицах!

Марья Карловна мне казалась взрослее меня, хотя, думаю, разница в возрасте была не очень большая. Может быть потому, что ум ее был чуть циничен, что она была находчива, стояла во главе популярного «Современного Мира» и со знаменитыми писателями была на короткой ноге.

Приехав по делам, она недолго оставалась в Москве.

После ее отъезда Андреев пригласил Юлия Алексеевича, Зайцевых, нас и еще кого-то в Прагу ужинать. С ним была его мать. Будучи нежным сыном, он брал ее в ресторан, когда хотел провести вечер с близкими друзьями.

- Я честолюбив, Ванюша, а ты самолюбив, сказал он неожиданно, обратившись к Яну, когда тот с удовольствием ел вечного своего рябчика.
- Пожалуй, ты прав, ответил с улыбкой Ян, я, действительно, очень самолюбив.
 - А я нет. А честолюбие у меня большое.

Он был хорошо настроен в ожидании постановки «Жизни человека». Вина не пил (вероятно, присутствие матери удерживало его). В этот вечер они с Верой Зайцевой перешли на «ты».

* * *

Николин день провели с гостями дома, а вечером отправились на именины Н. Д. Телешова. Там была почти вся «Среда». Мне очень нравилась хозяйка, которая была ко мне внимательна. Ее брата, Александра Андреевича Карзинкина я знала с тринадцати лет. Он был другом Алексея Васильевича Орешникова, на даче которого я видела его в первый раз. Он тогда только что вернулся из Туркестана, где у него были хлопковые плантации. Он принес из своего погреба бутылку старого вина, поставил ее перед Яном.

* * *

На первом представлении «Жизни человека» мы не были. Нас пригласили, к моему удовольствию, на генеральную репетицию. Впечатление у меня было странное, — я до конца не поняла этой пьесы. Успех она имела. Во многих газетах появились хвалебные статьи.

* * *

Наконец после долгих откладываний, мы накануне Рождества уехали в деревню, оставив в комнатах большой беспорядок, очень смешивший маму. Она говорила, что мы чем-то очень похожи друг на друга.

Взяли путь через Орел, где была пересадка на юго-восточную железную дорогу.

8

В Измалково мы приехали, когда было темно. За нами были присланы широкие сани и тулупы. Выехав в поле, мы увидели, что снизу метет. Ян сказал:

— Ведь это поземка! Будь внимателен, Илюша.

Некоторое время мы ехали по дороге, я с наслаждением смотрела на небо, на бесконечное снежное поле.

Неожиданно Ян крикнул:

— Илюша, ты сбился с дороги, разве не видишь? Мы съехали в овраг!

Лошади остановились, мы вышли из саней. Снизу сильно мело, а в небе были огромные звезды. Сириус так и сверкал своим синим огнем, голубая Вега и красный Арктур меня обрадовали, точно я встретила родных, — давно я не видела такого зимнего неба. А Ян уже со страхом в голосе кричал:

— Пропали, пропали!

И вместе с кучером куда-то тащил сани, которые глубоко увязли. Я стояла очарованная, не понимая, почему он так волнуется. Наконец после долгих усилий сани были вытащены на более высокое, твердое место, и он сказал Илюше, указывая на звезды, куда надо держать путь. Мы стали медленно подвигаться вперед. Через некоторое время услышали колокольный звон.

— Это на глотовской колокольне звонят, — сказал Ян, — поняли, что мы заплутались, хотят дать нам направление, нужно ехать по звону.

Софья Николаевна, Коля и Петя, действительно, были встревожены нашим запозданием. И как показалось уютно в теплом помещичьем доме!

Ян в деревне опять стал иным, чем в городе. Все было иное, начиная с костюма, и, кончая распорядком дня. Точно это был другой человек. В деревне он вел строгий образ жизни: рано вставал, не поздно ложился, ел во-время, не пил вина, даже в праздники, много читал сначала, а потом стал писать. Был в ровном настроении.

К праздникам относился равнодушно. Не выходил к гостям Пушешниковых. Сделал исключение для моих родственников, которые у нас обедали. За весь месяц Ян только раз нарушил расписание своего дня.

Мы иногда катались. Как-то поехали вдвоем на бегунках в Калантаевку. День был солнечный с синим небом, и все

было покрыто инеем. Мы пришли в такое восхищение, что Ян подарил мне в память этого дня свою книгу, надписав одно слово: «Иней».

* * *

По вечерам Ян не писал. После ужина мы выходили на вечернюю прогулку, если бывало тихо, то шли по липовой аллее в поле. Любовались звездами, Коля знал превосходно все созвездия. Когда, по болезни, он зимы проводил с бабушкой в Каменке, то с увлечением читал астрономические книги, изучая небо. Они с Яном отличались острым зрением и видели все, что можно видеть невооруженным глазом, не то, что я со своей близорукостью и редким астигматизмом, на который никто, да и я, не обращали внимание. В лунные вечера мы любовались искристым снегом и иногда одиноким Юпитером. Вернувшись домой, сидели в кабинете Яна, он чаще всего читал вслух новый рассказ или критику из полученной новой книги журнала, а иногда что-нибудь из любимых авторов. Он писал «Иудею», просматривал «Море богов», «Зодиакальный свет». Писал стихи. Начал переводить «Землю и небо» Байрона, а под самый конец написал «Старую песнь». Обсуждались и новые произведения, только что прослушанные. Коля заводил свое любимое: «Кто выше Флобер или Толстой»? Ян неожиданно брал книгу одного из этих авторов и читал нам смерть мадам Бовари, «Юлиана Милостивого», «Поликушку», или то место из «Анны Карениной». где v Анны в темноте светились глаза, и она это видит...

9

В Москву с нами опять поехал Коля. Мы опять остановились у моих родителей. Не помню точно числа, когда я впервые увидала Шмелева, но помню ярко тот вечер, когда я познакомилась с ним у Махаловых.

Хозяин дома, драматург Разумовский, собрал московских писателей на пьесу Шмелева. Была ли это «Среда» или просто литературный вечер? В памяти встают уютная квартира во втором этаже (по-русски) деревянного дома, гостепримные хозяева, обильный ужин с горячими закусками. Но ярче всех я вижу Ивана Сергеевича Шмелева. Небольшого роста, с нервным ассиметричным лицом, с волосами ежиком, с замоскворецкими манерами, он произвел впечатление колючего и самолюбивого человека. Видимо, он волновался и был рад приступить к чтению. Содержание пьесы выпало у меня из

памяти, но, вероятно, что-то из военной жизни, так как один герой был денщик. Ян после чтения сказал:

— Вот у вас денщик говорит: «Так что ваше благородие» — уж очень это истрепано, во всех анекдотах...

Шмелев неприятным тоном:

— А что ж, ему по-французски что ли говорить, прикажете?

Было не в обычае услышать такой тон среди писателей. Конечно, у Яна пропала охота делать дальнейшие замечания.

В конце января 1908 года празновался юбилей Южина, — шел Отелло. Мы на этом чествовании не были. А на другой день в Художественном Кружке был банкет, данный друзьями и почитателями юбиляра, праздновавшего свою серебряную свадьбу с Малым театром. В переполненном большом зале Кружка Николай Васильевич Давыдов от студенческого общества любителей изящной литературы приветствовал Южина и преподнес ему звание Почетного члена этого кружка. С речами выступали Баженов, Федотов, Боборыкин, Владимир Иванович Немирович-Данченко. Читались телеграммы от Златовратского, Леонида Андреева, Найденова, Модеста Ильича Чайковского и других, телеграмма Суворина вызвала шиканье. Потом говорили князь Долгорукий и присяжный поверенный Ледницкий.

Особенно восторженно были встречены приветствия председателей Государственных Дум Муромцева и Головина и членов первой Думы Иваницкого и Кокошкина. Закончилось все веселым рифмованным перечнем пьес Александра Ивановича, сочиненным и прочитанным остроумным актером театра Корша Борисовым.

Я сидела рядом с Телешовым, и Николай Дмитриевич называл незнакомых мне лиц, давал им краткую характеристику, так что мне все время было интересно.

10

Мы уже начали, как говорилось у Буниных, вырабатывать маршрут нашего весеннего путешествия. На этот раз в европейские страны. А в самом начале февраля пришла телеграмма из Грязей: о внезапной болезни сестры Буниных, туда выехали Настасья Карловна и Евгений Алексеевич, который недавно виделся с сестрой и нашел ее в очень хорошем виде:

— Какая ты стала гладкая! — сказал он по приезде недели две назад. На другой день пришло и письмо, в котором было сказано, что у Маши страшные боли в животе, после скандала с мужем. Доктор ничего не понимал, советовал везти в Москву. И дня через два мы встречали Настасью Карловну с Машей на Казанском вокзале.

Вид Марьи Алексеевны меня поразил: темный цвет лица, точно оно было под сеткой. С вокзала ее повезли в «Лоскутную» и поместили там вместе с Настасьей Карловной. В тот же вечер был у нее профессор Усов. Он нашел, что нужно обратиться к хирургу Алексинскому, который осмотрев больную, посоветовал перевезти ее в Иверскую общину, где он должен был сделать операцию. Мой дядя Всеволод Николаевич Штурм, создатель этой общины, помог все быстро устроить.

Привожу письмо Ивана Алексеевича к Петру Александровичу Нилусу о этих днях (20 февр. 08):

«Недели две назад я писал тебе, что привезли в Москву мою больную сестру и что у нас началась невыносимая жизнь — страхи, беготня по докторам, бешенные расходы и т. д. Позапрошлое воскресенье знаменитый хирург, предполагавший у сестры гнойник в кишках, сделал ей операцию, во время которой она едва не умерла от хлороформа, — и не нашел никакого гнойника, но сказал нам еще более убийственное слово: саркома, т. е. долгая и мучительная смерть. А у нас кроме того, есть старуха мать, которая умрет с горя, если умрет сестра, а у сестры двое маленьких детей и т. д. и т. д.

После операции мы созвали консилиум, который утешил нас: сказал, что есть слабая надежда, что не саркома, что надо сестру перевезти в терапевтическую лечебницу и начать лечить рентгеновскими лучами, мышьяком и т. п. И мы немного отдохнули. Но что будет дальше? И как жить, не имея возможности работать — до стихов-ли мне теперь! — и тратя пятьсот целковых в месяц?

А тут еще полиция: в ночь после консультации, ни с того, ни с сего — обыск. Я чуть не задохнулся от злобы.

... Мучительно хочется на юг, на солнце, отдохнуть хоть немного. Одна надежда на ошибку хирурга: теперь сестре лучше».

Да это были тяжелые дни. Братья были в панике. Слово операция их до-нельзя пугало. Марья Алексеевна тоже к этому известию отнеслась, как к казни. Кто только ее ни уговаривал согласиться. Мой брат Павлик, студент медик второго курса, часами просиживал у ее постели и даже проводил ее в операционный зал.

Когда Марья Алексеевна оправилась, ее перевезли в Остроумовскую клинику, где у нас был знакомый ординатор Н. Н. Аристархов. С его матерью и сестрой мы подружились в Крыму. И он часто заходил к Марье Алексеевне. Ей в клинике стало лучше, она уже вставала и ходила по палате, в которой была одна. Конечно, как в Общине, так и в клинике, мы по очереди ежедневно навещали ее. Она была трудной и требовательной больной. Нужно было привозить икру и всякие вкусные гостинцы. Ей казалось, что раз есть деньги на жизнь, лучшую, чем ее, то их можно тратить на все, и средства не иссякнут. Конечно, боясь ее огорчать, мы исполняли все ее прихоти. В клинике лечили ее рентгеном и лекарствами.

Привожу выдержку из письма Яна к Нилусу от 9 марта:

«Дорогой милый Петр, вчера была у меня большая радость — появилась надежда, что положение сестры, не так уже опасно: Голубинский, который осматривал сестру почти месяц тому назад, заявил, что у нее не саркома... а что именно покажет будущее».

Когда Ян навещал сестру, то он всегда смешил ее, представляя или пьяного или какие-нибудь сценки из их жизни, старался никогда не говорить о ее состоянии. Он очень томился и решил хоть на короткое время уехать в деревню и там что-нибудь написать, так как болезнь стоила очень дорого. Они с Юлием Алексеевичем видели, что на заграничную поездку нужно махнуть рукой.

Немного успокоившись, Ян уехал в Васильевское, а я осталась в Москве, так как Юлий Алексеевич, человек, легко теряющийся, чувствовал бы себя очень одиноко без нас обоих.

Из деревни Ян послал открытку П. А. Нилусу, 15 марта:

«...Я уже с неделю в деревне. Немного пишу. Встречаю весну средней России, от которой и уже много лет уезжал на юг. Грязно, мокро, ветер... Потягивает на юг. Пожалуйста, напиши мне сюда, — между прочим и о твоем плане пожить в апреле на даче. Меня это интересует, ибо кто знает, сколько я здесь пробуду».

И, действительно, недолго он прожил в деревне. Вскоре

вернулся в Москву.

Графиня Бобринская, «товарищ Варвара», решила издавать сборники «Северное Сияние». Бунин был приглашен редактором этих сборников. Это было очень кстати. Секретарем их был Лев Исаевич Гальберштадт.

Вскоре Ян получил приглашение выступить на вечере в Киеве. Он с радостью туда поехал. Из Киева отправился в

Одессу, хотел немного отдохнуть среди друзей-художников, но внезапно оттуда уехал, получив от меня письмо, — так он объясняет в письме из-под Конотопа П. А. Нилусу свой неожиданный отъезд.

Вероятно, я сообщила, что закрывается клиника, и нужно перевезти Машу в какую-нибудь частную лечебницу. По его приезде мы решили Машу поместить в санаторию доктора Майкова, приятеля Юлия Алексеевича. Она находилась довольно близко от нашего дома.

Сергей Федорович Майков, очень любезный человек, поседевший от рентгена, был внимателен к сестре Буниных: взял самую низкую плату, и когда Марье Алексеевне не понравилась комната, то ей отвели лучшую за ту же цену. И там продолжали ее лечить рентгеном. После временного улучшения, болезнь обострилась, Маше стало хуже. Она с каждым днем худела и слабела. Приглашались знаменитые хирурги, как Постников, знаменитые терапевты, как профессор Голубинский, и все безрезультатно, — никто не мог поставить диагноза, теряясь в догадках.

Марья Алексеевна принадлежала к трудным больным и от своего недоверчивого, вспыльчивого характера, и от мнительности, и отсутствия терпения.

Братья опять пали духом. Решили, что после Пасхи нужно ее перевезти в Ефремов. За ней должна приехать Настасья Карловна, энергичная, бодрая, сильная женщина. Мы решили, пожив недолго в Ефремове для матери, ехать в Васильевское. С нами на праздники отправился туда и Юлий Алексеевич.

Ян, как всегда, откладывал отъезд, дотянул до Страстной и внезапно решил ехать в Святую ночь, говоря, что «в эту ночь пассажиров будет мало», — взять билеты первого класса мы не могли, и он боялся бессонной ночи в вагоне.

Конечно, моей семье было грустно, что я опять не буду с ними у заутрени, не буду с ними разговляться. Я пробовала уговорить Яна, чтобы он поехал с братом, а я приеду к нему через два дня. Но он, живший в большой тревоге, ни за что не хотел расставаться со мной. Понятно, нас многие осуждали. А член судебной палаты Мальцев, снимавший в нашем доме квартиру, сказал мне:

— Ну, знаете, — это по-декадентски!

Я ответила, что мать Ивана Алексеевича, находившаяся в сильном горе, будет хоть немного утешена, если мы проведем с ней праздники.

11

Ян оказался прав: вагон второго класса был почти пуст, и мы имели отдельное купе, дав на чай кондуктору. Утром мы приехали в Ефремов.

Мы с Яном остановились в номерах Маргулина, прожили дней десять. Бунины сдали комнату дантистке, и Евгений Алексеевич завел с ней роман. Настасья Карловна очень волновалась. Братья взяли ее сторону и уговорили его «бросить эту историю», сообщив о состоянии Маши, но просили до привоза ее в Ефремов ничего не рассказывать матери. Евгений Алексеевич очень любил свою младшую сестру, относился к ней с нежностью, так как был ее крестным отцом, — она была лет на пятнадцать моложе его, и они почти всю жизнь до замужества Маши прожили вместе. Красивая зубная врачиха съехала от них, так как ее комната нужна была для больной сестры. Настасья Карловна после нашего отъезда отправилась в Москву вместе с Юлием Алексеевичем за Машей.

Матери было трудно: на ее руках оказалось двое детей. Пока мы жили в Ефремове, я почти все время проводила с ней и детьми. Сыновья, точно боясь оставаться с нею с глаза на глаз, почти всегда бывали в отсутствии, и мне было до-нельзя жаль ее. С детьми же я любила возиться.

Когда мы приехали в Васильевское, нас встретила изумительная весна, — все было в цвету. Я тогда была огорчена, что наша поездка заграницу не состоялась, а теперь я рада, что судьба подарила мне такую прелестную весну: снежная белизна фруктового сада, соловьи. Это напомнило мне мои детские и отроческие впечатления. Я дважды пережила такую чудесную весну в бабушкином имении Тульской губернии, Крапивенского уезда: первый раз, когда мне было семь лет, а второй в одиннадцать лет. Фруктовый сад у бабушки занимал двадцать девять десятин да вишенник — десять, так что впечатление было незабываемое. Здесь сад был меньше, но все же он буйно цвел. И мы наслаждались, по вечерам слушая соловьев, особенно в лунные ночи; по утрам и днем работали под кленом, тоже под трели соловьев. Ян писал стихи. Написал «Бог полдня» и прочел их нам, сидя под белоснежной яблоней в солнечный день. Редактировал переводы Азбелева, рассказы Киплинга для издательства «Земля». Писал «Иудею».

Я начала по его совету переводить с английского «Энох Арден».

* * *

Машу перевезли в Ефремов. Мы навестили ее. Она была до жути худа. Лежала в комнате, где жила дантистка. Решили пригласить к ней земского врача Виганда, который лечил ее и Людмилу Александровну. Жара несусветимая. В доме было душно. Жизнь бестолковая. Кроме Настасьи Карловны никто ничего не делал. Дети распустились.

После нашего отъезда был приглашен Виганд, который сделал то, чего не могли сделать столичные знаменитости, — Маша стала поправляться. На Кирики приехали братья Бунины и сообщили эту утешительную новость. Юлий Алексеевич прожил с нами дней пять и поехал через Ефремов домой. При нем опять приезжали мои родственники из Предтечева. Раза два и я одна съездила к ним. Мне всегда бывало приятно проводить время с Нюсей, остроумной и изящной моей кузиной.

Урожай яблок был редкий, целыми днями к шалашу в фруктовом саду шли вереницей бабы, девки, ребята, покупая или обменивая фрукты на яйца, хлеб, молоко. Издали в поле был слышен аромат плодового сада. Я послала ящик яблок своим.

За лето мы подружились с караульщиками; записывали сказки, поговорки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич взял в герои «Божьего древа», удивительный был склад его речи, почти вся она была рифмована.

Это лето было для меня полно незабываемых, впервые пережитых впечатлений.

12

В Москву мы приехали в конце августа. Опять остановились в Столовом переулке.

28 августа поехали к Телешовым на дачу, в Малаховку, половина которой принадлежала им. Они занимали у самого озера двухъэтажный дом в шведском стиле с большими террасами и болконами, сад-цветник доходил до озера. Мы провели там целый день. Погода была прелестная, — преддверие бабьего лета.

* * 4

Поехали в Петербург. Остановились опять в Северной гостинице. Ян распродал кое-что из летнего запаса. Приобрел материал для второго сборника «Земля» и для «Северного Сияния».

Были на обеде у Котляревских вместе с Ростовцевыми и

еще с кем-то. Нестор Александрович Котляревский, спокойный и очень располагающий к себе человек, слушая, как Иван Алексеевич изображает кого-нибудь из деревенских обитателей, или общих знакомых, все повторял:

- У вас необыкновенный юмористический талант. Вам необходимо написать комедию вроде «Сна в летнюю ночь», почему вы не попробуете? Жаловался на одного писателя, что он ему предлагал только что две пьесы и задумчиво произнес:
 - Иному отцу, если родится двойня, и то неловко.

Смеясь, жаловался, что жена кокетничает со всеми: с дворником, со стулом, с кем угодно!

* * *

Вернувшись в Москву, Ян стал говорить, что надо уехать в деревню. Мне не хотелось: 14 декабря было совершеннолетие Павлика, и мне приятно было бы провести этот день с ним. Но Ян был неумолим, и я утешалась тем, что ехали мы вдвоем, — Коля еще брал уроки пения, — я уже тяготилась родственниками Яна, с которыми он проводил почти все досуги, ему же хотелось, чтобы я слилась с ними.

В деревне жили Софья Николаевна с братом. Мне была приятна такая жизнь.

Ян перед писанием, читал стихи Случевского. Пересматривал еще ненапечатанное. Сказал, что хочет составить книгу нашего первого странствия. 6 декабря Софья Николаевна дала нам бегунки, и мы поехали в Колонтаевку. День был прелестный, все в инее, и мы опять наслаждались, катаясь по этой заброшенной усадьбе.

Через несколько дней после этого пришло письмо от Нилуса, который сообщал, что едет в Москву. Ян сказал, что он забыл переговорить с Блюменбергом об очень важном деле, что ему нужно поехать на несколько дней в Москву... конечно он не отрицал, что ему будет приятно побыть и с «Петрушей», но ехать обоим трудно, громоздко, и денег у нас было в обрез. Мне стало обидно: он как раз попадет на рождение Павлика.

13

На Святках, только что Ян принялся писать «Беден бес», как получил от Нилуса известие, что Куровский серьезно заболел: грудная жаба. Мы сильно встревожились. А вскоре и Ян свалился: «дьявольский» насморк, жар, гастрит. Приезжал

даже фельдшер из Предтечева. К счастью, через неделю стал поправляться. 2 января послал письмо Нилусу; делаю из него выдержки:

«Очень встревожен известием о Павлыче. Думаю, что сейчас дело еще не столь опасно, как показалось вам в первую минуту, но грудной жабе верю. Можно и с ней долго жить, но покой нужен, а Павлычу давно, давно пора отдохнуть. Уговорите его взять большой отпуск, придумайте хорошее место отдыха. Пишу и ему».

Далее Ян пишет, что Грузинский хвалит Нилуса за его рассказ. Сообщает адрес «Бюро газетных вырезок», сообщает условия и шутит, что он должен, как автор «На берегу моря» подписаться на самое большое количество вырезок. Просит передать Федорову просьбу дать как можно скорее для «Северного Сияния» рассказ в поллиста или в три четверти. Просит и у Нилуса «шедевра» для «Северного Сияния».

Поправившись, Ян принялся за писание и до нашего отъезда кончил «Беден бес», «Иудею» и отрывки перевода из «Золотой легенды».

12 января он посылает Нилусу следующую открытку:

«Забыл г л а в н о е, главное: в условии с «Шиповником» надо непременно обозначить срок, на какой продаешь книгу. Надо написать: «1 марта 1911 Я, Нилус, имею право снова выпустить эту мою книгу «Рассказов» в каком мне угодно издательстве, будет-ли распродано издание «Шиповника» или нет — все равно. Ив. Бун.». Сбоку: «Вера кланяется».

14

В Москве то и дело Ян простуживался, хотя и легко. Он стремился скорее уехать заграницу, в Италию. Я тогда не знала, что ему в молодости грозил туберкулез.

Перед самым нашим отъездом Андреев привез в Москву новую пьесу «Анатема». У Телешовых в то время не было большого помещения, и «Среда» была устроена у Зайцевых. Они жили на Сивцевом Вражке, снимали вместе с Таней Полиевктовой в особняке нижний этаж, где были две больших комнаты — столовая и кабинет.

Как всегда, на чтении Андреева было много людей, непричастных к литературе. Долго сидели в ожидании автора. Наконец он приехал, но читать пришлось Голоушеву. Послушав недолго, Леонид Николаевич поднялся и вышел в столовую, за ним последовало несколько приглашенных, мы в том числе.

Он сел в углу, у печки, его окружила молодежь. Андреев, держа бокал вина, уже еле говорил. Один юноша, смуглый, со смоляными волосами наставительно и проникновенно повторял:

— Нет, Леонид Николаевич, вы не имеете права говорить так. Мы все чутко прислушиваемся к вашему голосу, а вы между тем... Жизнь нельзя, стыдно, отрицать!

Андреев тяжелым взглядом уставившись в одну точку, односложно возражал:

— Нет, не так, это совсем не то... глупо...

Когда кончилось чтение «Анатэмы», слушавшие вышли из кабинета во главе с Голоушевым. Некоторые гости начали рассыпаться перед автором, выражать восторги, но ему стало скучно их слушать, и он быстро сел за стол, а за ним и остальные. Моим соседом оказался В. В. Вересаев. Он, конечно, слушал пьесу и укорял меня, что я ушла за автором. Когда-то в ранней юности я любила рассказы и романы Вересаева, он писал о молодежи и поднимал «проклятые вопросы». Я сказала ему об этом. К моему удивлению, он сконфузился.

Я была простужена, кашляла, кроме того мы были на отлете. Уже взяли билеты в Одессу; а потому мы раньше других уехали домой.

На извозчике Ян сказал: «Как жаль, что Леонид пишет такие пьесы, — все это от лукавого, а талант у него настоящий, но ему хочется «ученость свою показать» и как он не понимает при своем уме, что этого делать нельзя? Я думаю это от того, что в нем нет настоящей культуры».

15

В вагоне ларингит мой усилился. В Киеве была пересадка, но мы в город не поехали. Поезд от Киева до Одессы был гораздо лучше, чем до Киева.

Остановились в Петербургской гостинице. Ян известил Нилуса и через полчаса он с Федоровым и Куровским, который уже оправился от припадка, явились к нам. Они быстро ушли завтракать. На прощанье Ян посоветовал мне спросить завтрак в номер, заказать кефаль по-гречески.

Друзья пропали на весь день. Мне, конечно, было и скучно, и неприятно от ожидания. Выйти я не могла, боясь раз-

болеться перед отъездом заграницу. В Одессе мы должны были пробыть с неделю. У меня были там родственники, семья покойного папиного дяди, Аркадия Алексеевича Муромцова.

Вернулся Ян только в полночь в сопровождении Куровского. Ян был неприятен и задирчив, — я увидела, что лучше его не упрекать. Посидевши недолго, они опять исчезли, вероятно, пошли в пивную Брунса.

К счастью, ларингит быстро у меня прошел, и я стала выходить, знакомиться с городом. Зашла к родственникам. Они радушно меня приняли и старались развлекать. Со своим «дядей», которого я называла просто Володей, мы много ходили по улицам. Он был забавный, большой эрудит. Изучал химию, но от нервности не мог держать экзаменов и так и не окончил университета, и пока еще нигде не служил. Он хорошо говорил, с ним никогда не бывало скучно, у него тоже был дар, как у Яна, изображать людей.

Некоторые друзья Яна приглашали нас к себе. Были мы запросто у Федоровых, и Лидия Карловна говорила со мной о художниках, о том, что они всегда хотят быть без жен, и что многие жены от этого очень страдают, а некоторые стали жить своей жизнью. Например, жена Заузе, все свои досуги отдает карточной игре, у нее постоянная компания, другие заводят романы, иногда бросают мужей, как, например, жена Дворникова.

— Я вся ушла в воспитание сына, Витя этого стоит, он очень талантливый мальчик. Тут ничето не поделаешь, — со вздохом сказала она.

Мне стало грустно, — у нас в Москве этого разделения не было. Мы везде бывали вместе, вместе и веселились, и вели серьезные, интересные беседы, и я была рада, что все же в Москве мы будем жить дольше, чем в Одессе.

Пригласили нас чуть ли не на следующий день Куровские. Вера Павловна приготовила любимые блюда Яна. Изхудожников она жаловала только Петра Александровича Нилуса, других она почти ненавидела за то, что они отнимали ее мужа от семьи.

— Не было ни одного праздника, — жаловалась она, — ни одного воскресенья или четверга, будь это на Страстной неделе, чтобы Буковецкий не приглашал его к себе. И это продолжалось, пока Буковецкий не женился. А после свадьбы перестал у себя устраивать «четверги», и их перенесли к Доди. И вот добились, что у Павлыча был такой припадок. Мы

так за него боялись, и дети, и я, да и художники испугались. Впрочем, как дети подросли, он стал бывать у Буковецкого реже, через воскресенье. Теперь у него обеды по воскресеньям.

На обеде у Куровских были Федоровы, Нилус, Заузе и Дворников. После обеда все развеселились: Заузе сел за пианино, началось пение. Нилус с Куровским исполнили дует «Не искушай меня без нужды», — все трое были на редкость музыкальны; Лидия Карловна Федорова пустилась в пляс вместе с Яном. Потом маленький Шурик Куровский изобразил какого-то старичка, чем вызвал одобрение.

* * *

Была я и на «четверге» в ресторане Доди. Художники делали исключение для приезжих дам. Я была почти счастлива, что попаду на этот «мальчишник», где Ян будет проявлять свои таланты, а в то время мне хотелось понять его до конца, видеть его в той обстановке, где он особенно легко и свободно чувствовал себя.

У меня была шляпа, черная, из мягкого фетра со страусовым пером и с завязками под подбородком, она шла ко мне, как говорили в Москве. И я не надела ее к художникам... от застенчивости, конечно.

Во втором этаже стоял во всю длину отдельного кабинета стол, на нем лежали альбомы, карандаши, уголь. Художники, которых было много, стали рисовать друг друга. Кто-то сделал рисунок и с меня. Все были оживлены, веселы, шутили друг над другом. Из писателей был, конечно, сильно опоздавший Федоров и Ян, из журналистов Дерибас, потомок создателя Одессы, и Филиппов. В этот вечер я познакомилась с милым Эгизом, маленьким, ко всему и всем благостным караимом. Буковецкого не было. Он кажется, не посещал этих сборищ. Был еще небольшого роста с поднятым плечом художник Скроцкий, едкий человек, которого я отметила.

Когда кабинет был почти полон, стали заказывать ужин, каждый для себя, платили тоже каждый за себя. Некоторые требовали водки, но большинство пило вино, белое или красное, удельное, бессарабское, немногие ограничивались пивом. После того, как утолили голод и хорошо выпили, Заузе сел за пианино, стоявшее у двери, и опять, как у Куровских, началось пение: дуэты Нилуса с Павлычем, который почти ничего не пил и перестал курить. Заузе сказал, что написал романс

на стихи Бунина: «Отошли закаты на далекий север» и нсполнил его. Ян подбежал к нему, поцеловал в лоб и еще больше оживился. Заузе заиграл плясовую, и я в первый раз увидела, как Ян пляшет один, легко, что-то импровизируя, помогая себе щедрой мимикой.

Дня через два Ян неожиданно сказал, что мы должны уехать 28 февраля.

- Но ведь это день рождения Оли Куровской, ей минет 16 лет, они будут торжественно праздновать этот день и огорчатся, если мы уедем.
- Нет, достаточно всяких праздников, я устал, не могу больше, надо ехать, твердо возразил Ян.

В день нашего отъезда мы были у Куровских, Ян подарил Оле коробку конфет с шутливой надписью. Вся семья была огорчена нашим отъездом. Мы оставили у них все теплое, вообразив, что заграницей, особенно в Италии, весна чуть ли не жаркая. Кроме того Ян боялся лишнего чемодана. Он никогда не хотел сдавать ничего в багаж, не хотел и отправлять вещей вперед, может быть, и потому, что несмотря на долгие разговоры куда мы едем, точного плана у него не было. И я не знала, какие города и даже страны мы посетим. Намечалась Италия, но в общих чертах.

Поезд уходил, кажется, часов в семь. Нас провожали художники и Федоров, на этот раз не опоздавший.

Ян был доволен, спокоен, он, действительно, устал и от Москвы, и от Одессы. Нам обоим хотелось чего-то нового. Я ехала на запад в первый раз и была полна интереса к тому, о чем давно мечтала.

В. Муромцева-Бунина

A3E¢ N FEH, FEPACHMOB 1

Имя Азефа и имя ген. А. В. Герасимова навсегда тесно связано одно с другим. Когда говорят «Герасимов», всегда вспоминают об Азефе, а когда говорят «Азеф», часто вспоминают Герасимова.

Свое историческое имя Азеф создал сам. Он только воспользовался подходящими обстоятельствами. Герасимов же составил себе имя, главным образом, благодаря своей связи с Азефом. Без Азефа его имя, наверное, затерялось бы в общем списке чинов жандармского управления. Да он и свой генеральский чин, раньше времени, получил именно благодаря Азефу. Эту свою связь с Азефом ген. Герасимов сам закрепил опубликованием своих воспоминаний. Имена обоих — Азефа и Герасимова — прочно связаны с трагическими событиями русской политической жизни 1906-09 годов.

1. Почему имена Азефа и ген. Герасимова обратили на себя общее внимание

В своих воспоминаниях Герасимов сам дает ключ для разгадки, почему имя Азефа и его имя занимают такое большое место в рассказах о событиях русской политической жизни 1906-1909 г.г.

Герасимов очень ярко рассказывает — ему и книги в руки! — о том, какое огромное значение русское правитель-

¹ Эта статья В. Л. Бурцева передана нам И. Д. Левиным из его архива. Покойный В. Л. Бурцев прислал ему ее перед войной. Статья опубликована не была. На наш взгляд она представляет несомненный документальный интерес. РЕД.

² Воспоминания ген. А. В. Герасимова по-русски никогда напечатаны не были. Они вышли по-немецки и по-французски. РЕД.

A. V. Gerasimov. Der Kampf gegen die erste russische revolution. Erinnerungen. Frauenfeld und Leipzig. Huber. 1934.

A. V. Gerasimov. Tsarisme et terrorisme. Souvenirs du général Guerassimov, ancien chef de l'Okhrana de Saint Petersbourg /1900-1912/. Traduit du russe par Th. Monceaux. Paris. Plon. 1934.

ство — его министры и сам царь — всегда придавало своей борьбе с русскими террористами. Страх перед террористами занимал большое место в политике русского правительства все время, начиная с конца 1870-х г.г. О террористическом движении в правительственных сферах, правда, всегда было принято говорить с пренебрежением, как о движении, не имеющем никакого значения, всеми отвергаемом и поддерживаемом только кое-кем, главным образом, из увлекающейся молодежи. На деле же, оказывается, борьбой с террористами русское правительство всегда занималось больше, чем чем-либо другим. Так было и в 1905 г. и в последующие годы, — да так было и раньше.

После убийства мин. вн. дел Плеве Боевой Организацией партии с.-р. (в июле 1904 г.) у правительства страх перед террористами был необычайный. В Петербурге не нашлось никого способного вести борьбу с террористами, и Лопухин, тогдашний директор департамента полиции, в начале 1905 г., выписал из Харькова Герасимова, своего будущего врага. Он считал Герасимова более, чем кого-нибудь другого, способным на эту борьбу. Герасимов на первых же порах своей новой службы в Петербурге доказал, что выписывающие его не ошиблись. Он скоро выявил и решимость и умение бороться с террористами. Но расцвет его деятельности в борьбе с ними начался однако позднее — только с его неожиданной встречи с Азефом в апреле 1906 года.

2. Азеф — агент ген. Герасимова и Столыпина

В 1906-1907-1908 г.г. Азеф с петербургских конспиративных квартир соц.-революционеров, где обсуждались террористические акты, шел на конспиративную квартиру Герасимова. Там они целые вечера проводили в дружеских разговорах, сидя за самоваром. Азеф, как на блюдечке, преподносит ему тех, о ком потом писал Андреев в его «Семи повешенных». О них Герасимов в своих воспоминаниях пишет с особой нежностью, со слов прокурора, присутствовавшего при их повешении. «Они шли к виселицам с улыбкой на устах. Они умерли героями!», — говорил Герасимову этот прокурор.

В воспоминаниях Герасимова вообще поражает спокойный тон его рассказов об Азефе, напр., как он своей провокацией закидывал петли на шеи семи повешенных. О всей своей совместной работе с Азефом Герасимов и теперь говорит с спокойствием Пимена. В нем не видно сознания, что его герой уже вошел и в историю, как предатель № 1.

Имея такого секретного агента среди с.-р., как Азеф, Герасимов смотрел на всех и вся сверху вниз.

Когда Герасимова вызывали, как свидетеля, на суд Никитенко, он отказался явиться «по болезни» — ложной, как он теперь сам рассказывает, и что ясно было для всех и тогда. Суд для того, чтобы выслушать его, должен был в полном своем составе приезжать к нему на квартиру в охранное отделение. Столыпин, как-будто не сознавал, в какое унизительное положение правительство ставило в этом случае суд. Кстати, в этой квартире, где в 1907 г. помещалось охранное отделение в 1837 г. умер Пушкин...

Рассказ Герасимова о таком издевательстве над судом поражает своим тоном.

Явиться на суд Герасимов отказался, конечно, с согласия Столыпина, и сделал это потому, что он и Столыпин были очень горды, что у них по этому делу, как спец, имелся Азеф — с а м А з е ф! Кроме того, в интересах борьбы с революционерами Герасимову нужно было, чтобы его видели возможно меньшее число лиц. Поэтому перед судом — даже в стенах охранного отделения — Герасимов явился в несколько замаскированном виде — под гримом... Все это он сам теперь рассказывает.

Издеваясь над судом, Герасимов был горд и самоуверен с одной стороны потому, что за его спиной стоял Азеф, а с другой — потому что от этого Азефа без ума был и сам Столыпин. Герасимову тогда не приходило в голову, что скоро, в 1917 г., его самого будут допрашивать те друзья семи повешенных, кого ему выдавал Азеф и на кого он тогда смотрел сверху вниз, и на один из вопросов председателя комиссии он ответит, что ему стыдно вспомнить свою прошлую деятельность и что теперь он стал едва ли не революционером.

Все, о чем на конспиративной квартире говорили между собой Герасимов и Азеф, Герасимов все это сейчас же передавал Столыпину, а Столыпин — царю. Столыпин каждый день ждал, что скажет его таинственный оракул и чем он порадует.

3. Азеф делается агентом Столыпина, как главы тогдашнего правительства

Своими рассказами об Азефе Герасимов увлекает Столыпина. Увлеченный Столыпин, в свою очередь, рассказывает царю о значении Азефа в партии с.-р. Герасимов, Столыпини царь оказались, таким образом, обладателями необычайно

важного секрета. Они одни только знали, что в центре такой страшной для них партии, как с.-р., у них есть свой агент — всесильный провокатор.

Происходят процессы Никитенко (1907) или процесс «Семи повешенных» (тогда же) и никто, кроме Герасимова и Столыпина, а через них и царя — кроме, конечно, еще самого Азефа — ни даже сама Б. О. с.-р. не подозревали того, почему происходят неудачи террористов и не понимали, как ларчик просто открывался в тогдашней сложной борьбе революционеров и правительства. Герасимов и Столыпин знали, кто их спасает и носились с Азефом, как с своей надеждой. Через Герасимова Азеф командовал верхами: то запрещал выезд министров или даже царя, потому что это было опасно для них, то разрешал. Давал им советы, как уберечь себя от террористов. На верхах власть имущим казалось, что они благодаря Азефу держат в руках Боевую Организацию с.-р. и, следовательно, могут не бояться и всего революционного движения. Да и как было им не дорожить таким агентом, как Азеф!

Азефу в правительстве, — главным образом Столыпин, — придавали огромное значение и ценили, как эксперта по борьбе с террористами и как своего ангела хранителя. Их, по большей части антисемитов, не смущало то, что их ангел хранитель — еврей или, как они называли его, «грязный жид».

Столыпин через Герасимова знал все об Азефе и сам внимательно следил за его предательской деятельностью. Герасимов чуть не ежедневно делал ему доклады об Азефе. Ближайшие помощники Столыпина, как и царь, не знали об Азефе так много, как он, но все-таки знали, что у них имеется какой-то важный провокатор в среде с.-р. От этого гордого сознания они не всегда были в силах скрывать свой секрет. Во время процесса Никитенко и потом процесса с.-р. Трауберга они не могли хотя бы намеками не похвастаться своими знаниями секретов террористов. Эти их намеки были для меня одним из первых поводов заподозреть, что среди с.-р. есть крупный провокатор, — и что этот провокатор — Азеф.

Теперь понятно, почему в марте 1909 г. с такой уверенностью и упорством Столыпин защищал Азефа в Гос. Думе во время запроса о нем. Он тогда защищал своего агента, кого он давно и хорошю знал, высоко ценил и на кого смотрел, как на надежного предателя, честно работающего для правительства. От того, как на верхах ценили Азефа, более всего выигрывал полк. Герасимов. Он скоро сделался гене-

ралом и не по чину начал играть роль в Петербурге. Но на верхах не понимали, что на самом деле представляет собой Азеф и чем скоро для них кончится их игра с этим двойным провокатором.

4. Договор Столыпина и ген. Герасимова с Азефом

Столыпин так был уверен в Азефе, что, по словам Герасимова, он разрешил через него Азефу взять на себя возглавление Боевой Организации партии социал-революционеров. Разрешая Азефу возглавлять Боевую Организацию, Столыпин, конечно, предполагал, что Азеф — добросовестный агент и, дав честное слово провокатора-предателя, будет его честно и выполнять. Пообещав не допустить цареубийства, он его не допустит и сам убивать царя не станет. Взамен этого. Азефу, помимо житейских благ, которые предоставлял ему Герасимов, было дано обещание не арестовывать некоторых его товарищей-террористов по Боевой Организации. Азефу это прежде всего надо было для того, чтобы аресты этих товарищей не возбудили в революционерах подозрений о нем. Благодаря этому Азеф смог спасти многих нужных ему террористов для его перестраховки перед революционерами и для укрепления его дальнейшей позиции среди революционеров, как это он объяснял Герасимову. — или, как потом он сам утверждал, — для борьбы с правительством, которое он ненавидел, как он ненавидел и Герасимова, и Столыпина, и императора Николая.

Для своего самооправдания Герасимов и в своих воспоминаниях утверждает, что Азеф был добросовестным его помощником в борьбе с революционерами, оказывал ему огромные услуги, и в тоже самое время ничем не помогал революционерам в их борьбе с правительством. Но согласиться с этими утверждениями Герасимова, конечно, нельзя.

Герасимов не доказал не только того, что после разоблачения Азефа он может все-таки не верить нашим обвинениям Азефа, как двойного агента, но не доказал и того, что он этому мог не верить реньше, в то время, когда Азеф еще был его агентом.

Герасимов довольно легко отделывается от наших обвинений Азефа замечанием, что, дескать, до 1906 года Азеф не был в его ведении и поэтому за эти годы вполне ручаться за него не может, но тем не менее он не допускает и мысли, что наши обвинения Азефа в участии в убийстве Плеве, вел.

кн. Сергея и других — верны. Зато он решительно стоит за полную добросовестность Азефа после 1906 г., — с тех поркак тот перешел в его ведение.

В доказательство добросовестности Азефа за эти годы Герасимов приводит примеры выдач им террористов по делу Никитенко, Зильберберга и многих других с.-р. Эти рассказы Герасимова интересны, хотя они мало добавляют к тому, что уже давно об этом было известно. Но он ничего не говорит о том, какие в то же самое время Азеф оказывал ценные услуги и террористам.

Несомненно, что Азеф, прикрываясь Герасимовым, принимал активное участие в террористической борьбе и в 1906-09 г.г., как и до 1906 г. Если в 1908 г. царь не был убит им, Азефом, провокатором, действовавшим от имени Боевой Организации партии с.-р., — то это не его вина. Для убийства царя он тогда сделал все, что мог и что нужно было сделать.

5. Азеф — один из организаторов покушения на Дубасова

10 апреля 1906 г. Герасимов арестовывает Азефа, но он не знал, кто он такой и что он — агент Рачковского. Через два дня Азеф договорился с Герасимовым. С тех пор он делается его агентом. Герасимов тогда же выпускает Азефа на свободу. Его арест для революционеров прошел незаметно. Они даже не подозревали, что в эти два дня Азеф был арестован. После освобождения Азеф сейчас же уезжает в Москву и там принимает участие в организации покушения на Дубасова, подготовлявшегося еще раньше — при его же участии.

После этого покушения Азеф возвращается в Петербург. И первый его визит был в охранное отделение. Рачковский и Герасимов знали, что он только что был в Москве. Они допускали, что он, видный член партии с.-р., близкий Савинкову человек, принимал участие в этом покушении. Они даже об этом спрашивали его. Но Азеф клятвенно уверял их, что хотя он и был в Москве и видел с.-р., но о готовившемся покушении не имел понятия и, конечно, не имел к нему никакого отношения.

Рачковский и Герасимов особенно не настаивали на своих обвинениях. Для Рачковского и Герасимова было тогда, конечно, легко доказать и то, что он, Азеф, был уже активным участником многих покушений с.-р. и то, что он принимал участие в их последнем московском покушении. Московская

провокаторша Жученко тогда же определенно указывала начальнику охранного отделения Климовичу и другим своим шефам на Азефа, как на члена Б. О. Она знала и об его приезде в Москву во время покушения на Дубасова.

Разговаривая с Герасимовым и Рачковским, Азеф не мог не сознавать, что он был в их руках. Но он тем не менее о своей поездке в Москву говорил с ними с необыкновенной наглостью и самоуверенностью. Уличив его, Рачковский и Герасимов могли бы сейчас же или предать его суду, повесить, как предателя и провокатора, или, по крайней мере, под угрозой разоблачения, заставить сознаться и в участии в московском покушении, и рассказать о нем всю правду, а потом сказать ему: «иди, предательствуй, но больше против нас не греши!»

Но уличать Азефа не хотели ни Рачковский, ни Герасимов. Их занимал не вопрос — был ли Азеф организатором толью что совершившегося террористического акта в Москве, а вопрос — будет ли он в дальнейшем их информатором.

Агентами-провокаторами, особенно такими, как Азеф, тогдашние охранники дорожили и ценили их на вес золота. Закрывали глаза на то, что они делали для революционеров, — и только требовали от них, как особого одолжения, все новых и новых предательств.

6 Азеф спасал нужных ему террористов

У Азефа в Петербурге ближайшим его помощником был видный террорист с.-р. Карпович, бежавший весной 1907 г. с каторги, сосланный туда в 1901 г. за убийство министра Боголепова. О пребывании в Петербурге Карповича, жившего там по подложному паспорту, данному ему Азефом, т. е. самим Герасимовым, Герасимов, конечно, знал и не беспоко-ил Карповича.

Но вот какой-то охранник, из более мелких, по собственной инициативе арестовал Карповича. Его доставили в охранное отделение. Об этом узнал Азеф. Он бросился к Герасимову и стал требовать — именно требовать, как выполнения договора — освобождения Карповича, потому что этот арест может бросить на него, Азефа, тень и революционеры могут его заподозрить. Герасимов согласился выпустить Карповича и поручил это выполнить своему ближайшему помощнику Доброскоку, бывшему провокатору среди с.-д.

Карповичу объявили, что его переводят в пересыльную

тюрьму. Туда его везет на извозчике Доброскок. Доро́гой Доброскок заходит несколько раз в лавки и оставляет его на извозчике. Карпович долго не решался бежать. Он думал, что ему нарочно дают возможность бежать, с какой-нибудь провокационной целью. Наконец, он все-таки решился. И бежал прямо к Азефу, а Азеф сейчас же порадовал этой новостью Герасимова, что Карпович освобожден. Все это с беспристрастием хроникера обстоятельно рассказывает теперь сам Герасимов в своих воспоминаниях.

После освобождения Карпович некоторое время остался благополучно жить в Петербурге.

Когда я стал обвинять Азефа в провокации, то с.-р., Чернов и другие, указывали мне, как на доказательство, что Азеф не провокатор, на то, что он работал в Петербурге вместе с Карповичем и Карпович не был арестован, и даже, когда его случайно арестовали, то по ошибке выпустили, — и он оставался спокойно жить нелегальным в Петербурге вместе с Азефом. В таком случае, — говорили они, — как же Азеф мог быть провокатором?

Карпович слепо верил в Азефа и позднее, когда в Финляндии, — куда он был социал-революционерами послан для связи с матросами «Рюрика», — узнал, что я решительно настаиваю на обвинении Азефа, писал в Париж возмущенные письма и обещал приехать и убить меня.

На моем суде с с.-р. на арест Карповича и на его освобождение я, наоборот, указывал, как на доказательство того, что около Карповича имеется важный провокатор, для которого нужно, чтоб Карпович был на свободе. Этим провокатором для меня был только Азеф, так как я никого другого из видных с.-р. не обвинял в провокации.

7. Азеф, работая под руководством ген. Герасимова, организовывал цареубийство

Осенью 1908 г. во время суда надо мной по делу Азефа, с.-р. для того, чтобы окончательно убедить меня в ошибочности и даже абсурдности обвинения Азефа в провокации, под величайшим секретом сообщили мне, что он, Азеф, в данное время занят подготовкой цареубийства, которое должно совершиться в ближайшее время. Савинков, с кем я был в особенно близких отношениях, горячо убеждал меня, чтобы я хотя бы временно не настаивал на обвинении Азефа, потому что этими своими обвинениями я могу погубить большое ре-

волюционное дело, которое Азеф подготовляет. Он гозорил мне, что это дело, конечно, убедит меня, что Азеф не может быть провокатором и что я жестоко ошибаюсь. Кампания с.-р. в защиту Азефа была для меня необыкновенно тяжела, но я своего сбвинения против Азефа тем не менее и тогда не прекратил. Несколько позднее, когда царь благополучно избежал нокушения, мне сообщили, что для подготовлявшегося цареубийства Азеф сделал все, что было надо. Царь, действительно, проходил в двух шагах от террориста, который стоял с заряженным браунингом, но тот почему-то не выстрелил. При этом с.-р. указывали мне на то, что если бы Азеф даже в последнюю минуту хотел предотвратить это покушение, он из заграницы не мог бы этого сделать даже по телеграфу.

Заканчивая эти свои доказательства в пользу Азефа, с.-р. спрашивали меня:

- Разве провокатор может совершить цареубийство?
- А почему бы и нет? отвечал я. Какая разница для провокатора выдать кого-нибудь из своих товарищей, послать на верную смерть Каляева и Сазонова, или убить царя?

Эти мои аргументы для с.-р. казались совершенно неубедительными. Они настаивали, что факт удавшегося покушения на царя мог доказывать только то, что Азеф — революционер, а не провокатор.

В это время (осенью 1908 г.) Азеф был еще агентом Герасимова но, как это видно из воспоминаний Герасимова, ему на это готовящееся покушение он даже не намекнул. Об этом он не сообщил ничего ему даже и тогда, когда в ноябре этого же года тайно приехал к нему из заграницы в Петербург и когда Герасимов спасал его от моих обвинений и от обвинений Лопухина.

8. То, что в Киеве сделал Богров, на «Рюрике» готовил Азеф

В настоящее время дело о тогдашнем покушении на царя хорошо известно. Савинков еще в 1917-18 г.г., на страницах «Былого» в своих воспоминаниях обстоятельно рассказал об этом покушении и назвал имена его участников.

В 1908 г. в Англии, в Глазго, чинился русский крейсер «Рюрик». Один из офицеров на этом крейсере, Костенко, с.-р., предложил Боевой Организации услуги своих матросов для убийства царя, когда царь посетит крейсер после его возвращения в Россию. Для переговоров в Глазго приезжали от с.-р.

Азеф, Савинков и Карпович. Азеф даже поднимался на крейсер и осматривал, как эксперт, где и как лучше поставить покушение на царя.

Матрос Авдеев согласился стрелять в царя и от с.-р. получил для этого браунинг.

24 сентября 1908 г., как это видно из русских газет от 27 сентября, царь во время морского смотра среди других крейсеров посетил и вернувшийся из Англии крейсер «Рюрик». Он делал смотр всему экипажу. Затем осматривал весь крейсер, был в машинном отделении, присутствовал при стрельбе из орудий. Все прошло благополучно.

Когда царь проходил мимо матросов, в двух шагах от него стоял Авдеев с браунингом в кармане, помнивший инструкции Азефа. Вместе с ним стоял и другой террорист-заговорщик. Среди офицеров был лейтенант Костенко. На корабле были и несколько членов комитета с.-р. Некоторые из них знали о готовящемся покушении.

В Финляндии в это время — вблизи от «Рюрика» — с инструкциями от с.-р. и прежде всего от Азефа, находился Карпович, только несколько месяцев перед этим арестованный в Петербурге и спасенный Азефом. Он был прислан с.-р. в Финляндию из Парижа специально руководить покушением на царя и ждал, когда раздастся выстрел на «Рюрике».

Во Франции с нетерпением ждал телеграммы из России о событиях на «Рюрике» Азеф. У него на руках была автобиография Авдеева, приготовленная на случай удачного покушения. Эта автобиография была составлена Авдеевым по указаниям с.-р. для целей агитации, как это они делали всегда в аналогичных случаях. Записка Авдеева впоследствии была найдена с.-р. в бумагах Азефа после его побега из Парижа. Для Азефа это был важный документ его самозащиты от обвинений в провокации, если бы цареубийство удалось.

С неменьшим нетерпением в Париже в те дни ждали этой телеграммы из России и такие члены Б. О., как Савинков.

Я не был посвящен в детали того, что с.-р. готовили. Я только знал, что где-то должно быть сделано покушение на царя, организованное Азефом. Я понимал, что этим событием с.-р., между прочим, думают воспользоваться и для того, что-бы ликвидировать мои обвинения Азефа. После 24 сентября, в самый разгар суда надо мной, с.-р. мне рассказали о «неудаче» покушения, но при этом усиленно доказывали мне, что не вина Азефа, что это покушение не удалось. Но эти рассуждения с.-р. (главным образом Савинкова) меня и тогда ни-

сколько не убеждали, что Азеф не провокатор. И я попрежнему настаивал, что это покушение он мог готовить и будучи провокатором — для самообеления.

В 1912 г. на нашем тайном свидании с Азефом в Германии, во Франкфурте на Майне, Азеф мне с упреком сказал:

— Если бы вы мне не помешали, я, быть может, убил бы царя и тогда вы со мной ничего бы не сделами. Если бы вы меня стали обвинять, то все наплевали бы вам в тлаза.

Почему же Авдеев не стрелял? Этого мне не удалось выяснить. Одни говорят, что революционный комитет с.-р. на этом крейсере, узнав о плане Азефа, запретил ему стрелять в царя, в виду готовившегося общего восстания во флоте, когда этот акт мог грозить полным разгромом всей военноморской организации. Другие говорят, что обстановка, в которой Авдееву пришлось бы стрелять, — энтузиазм экипажа при посещении царя, так подействовали на Авдеева, что он не мог выполнить этого задания Боевой Организации, то-есть, Азефа.

Оба эти объяснения вполне правдоподобны.

Третьи, без малейших данных — и по моему мнению совершенно неосновательно — говорят, что Авдеев мог быть сообщником Азефа, провокатором, и мог действовать по указаниям Герасимова. Но это, конечно, могло быть только в том случае, если Азеф был, действительно, искренен с Герасимовым, как о нем это утверждает сам Герасимов, и действовал с его ведома, т. е., если бы оба они, Азеф и Герасимов, были в заговоре с Авдеевым и все трое с общего согласия играли в цареубийство, как спортсмены, для своих охранных комбинаций. Но это, конечно, немыслимо предположить.

Но нам и нет нужды разбирать этот вопрос. В данное время для нас важно только установить, как что-то не подлежащее никакому сомнению, что Азеф, агент Герасимова, защищаемый им, как любимое детище, — подготовлял цареубийство. Следовательно, если бы Авдеев на «Рюрике» был поставлен Азефом в двух шагах от царя, как провокатор, то это было бы то же самое, что вскоре было в Киеве, когда агент начальника киевского охранного отделения полк. Кулябкина, Богров, был допущен в театр, где он убил Столыпина и где также мог убить и царя.

Но уже к ноябрю 1908 г. Азеф понял, что суд надо мной начинает принимать опасный для него оборот и что часть судей (Г. А. Лопатин и П. А. Кропоткин) уже соглашаются,

что он — провокатор. От кого-то он узнал или, м. б., только догадался, что на суде в своих обвинениях я ссылаюсь и на показания Лопухина. Тогда он бросился в Петербург к Герасимову и рассказал ему о своем трагическом положении.

Герасимов делал все, чтобы спасти своего агента. Он послал Азефа к Лопухину просить отказаться от того, что он сказал о нем мне. Но Лопухин прогнал Азефа. Тогда Герасимов сам идет к Лопухину и просит его спасти Азефа. Лопухин этого тоже не обещал. Герасимов ему грозит, но видит, что надежды спасти Азефа нет.

Укрывая Азефа на своей квартире, Герасимов, начальник охранного отделения, не зная, что у него сидел и плакался заговорщик, у которого только что, помимо его воли, сорвалось цареубийство, на которое он так расчитывал для спасения себя. Вместе с Герасимовым обелением Азефа в то время занимался и Столыпин, тоже не подозревавший, кого он защищал.

9. После разоблачения Азефа

В конце 1908 г. Азеф был окончательно разоблачен и объявлен с.-р. провокатором. По его делу в Гос. Думу был внесен запрос. На него отвечал Столыпин. Для его ответа Деп. Полиции и петербургское охранное отделение, главным образом, Герасимов, дали Столыпину, как теперь можно утверждать определенно, об Азефе ложные сведения только как о предателе и полицейском агенте, а не как о провокаторе № 1, только что участвовавшем в неудачном покушении на царя.

Всем памятна защита Столыпиным Азефа с кафедры Гос. Думы. По настоянию царя, смотревшего на все азефовское дело глазами Столыпина, был арестован, предан суду и сослан в Сибирь бывший директор Департамента Полиции Лопухин за свой разговор со мной об Азефе.

Но Столыпин постепенно стал понимать, что Герасимов ему давал ложные сведения об Азефе и что Азеф — не только полицейский информатор и предатель революционеров, а провокатор — именно такой, каким я его рисовал. Столыпину, однако, трудно было забыть, что в 1906-09 г.г. он делал для этого провокатора и что на основании слов Герасимова он все время товорил о нем царю. У него никогда не хватило мужества признать свою ошибку и сказать: «виновен»!

Когда Азеф увидел, что мои обвинения его в участии в террористических актах признаются и с ними придется считаться и правительству, он ни разу более не решился при-

ехать в Россию и сам прервал сношения и с Герасимовым, и со всем миром русской полиции. С начала 1909 г. Азеф ни с кем из русской полиции никогда более не поддерживал сношений.

Но Герасимов и до сих пор остается его верным защитником, едва ли не единственным. Он все еще защищает его, вопреки очевидности, — как полицейского агента, верно по провокаторской совести, служившего охранке.

10. Мои обвинения Азефа в печати

В своих статьях в русской и европейской прессе, особенно в «Matin», «Journal», а также в английских и американских газетах я указывал на Азефа, как на главу Б. О. с.-р., я перечислял ряд террористических актов, в которых он принимал участие, и особенно настаивал на том, что в убийстве Плеве и вел. кн. Сергея он играл роль главного организатора. Туманно — не давая никаких деталей, — но категорически я говорил и о готовившемся им цареубийстве, — говорить более определенно об этом я тогда не имел права.

Русское правительство долго совсем не хотело верить моим разоблачениям Азефа. Оно не верило, — или только делало вид, что не верит, — даже тогда, когда мой взгляд на это дело уже разделялся всей русской и европейской печатью, и об Азефе, как провокаторе говорили депутаты с кафедры Гос. Думы. Представитель Департамента Полиции за границей Ратаев на страницах «Мatin» выступил с опровержением моих обвинений Азефа и защищал его, как добросовестного агента, никогда не принимавшего участия в террористической борьбе.

В своих воспоминаниях Герасимов пишет, как о чем-то совершенно невероятном для него и в настоящее время, о тогдашних моих разоблачениях. «Статьи Бурцева, — говорит он, — в продолжение многих лет озаглавливались «Азеф, Герасимов и Столыпин». В них он требовал предания суду за Азефа всех их, если бы они не пожелали расследовать дело».

Добавлю к этим словам Герасимова, что по делу Азефа в те годы я не только выступал в печати, но и писал много писем лично имп. Николаю, великим князьям, Столыпину, членам Гос. Думы и т. д. Все эти письма были адресатами получены.Письма Пуришкевичу и другим депутатам были тогда же опубликованы. По словам ген. Спиридовича, начальника дворцовой охраны того времени, было получено мое письмо

и императором Николаем II. Знаю, что эти письма обратили на себя внимание адресатов. Некоторые из этих моих писем найдены большевиками в бумагах Департамента Полиции и были затем опубликованы.

11. Отставка ген. Герасимова

После разоблачения Азефа, Герасимов оставался еще некоторое время в том же положении, как и раньше и пользовался прежним доверием у Столыпина. С разрешения свыше (между прочим, и с разрешения Столыпина) он начал было новое дело в духе Азефа. Он старался найти ему преемника, и ему казалось, что он такого нашел в лице с.-р. Петрова. Но эта попытка Герасимова кончилась убийством его преемника — полковника Карпова и огромным политическим скандалом, заставившим всех не раз вспомнить и Азефа, и самого Герасимова.

Некоторое время после разоблачения Азефа, Герасимов попрежнему был надеждой Столыпина. Но затем в правительственных сферах отношение к нему стало меняться. Сначала ему охотно дали отпуск, а во время этого отпуска кончилась политическая карьера генерала.

Герасимов рассказывает о своей отставке, как о результате интриг его же сослуживцев. Может быть, это отчасти и так. Климович, Виссарионов и другие воспользовались явно нелепыми рассказами Петрова и стали обвинять Герасимова вместе с Петровым... в подготовке убийства полк. Карпова. Но предъявить ему такое обвинение они все-таки не решились. Зато впоследствии они попытались, было, это обвинение подсказать Чрезвычайной Комиссии при Временном Правительстве. Но против него в защиту Герасимова тогда выступил сначала я, а затем и Савинков.

На самом деле, отставка Герасимова произошла, конечно, иначе, а не так, как это утверждает он сам.

После разоблачения Азефа и особенно после суда над Лопухиным, Столыпин, если некоторое время еще и продолжал верить сказкам, какие ему за последние три-четыре года рассказывал Герасимов об Азефе, то он постепенно стал убеждаться, что рассказы Герасимова построены на его непонимании революционного движения и что Азеф все время обманывал Герасимова, а через него и его, Столыпина, а через него и царя, и что он, несомненно, не агент полиции, а провокатор. Столыпину, конечно, не легко было расста-

ваться с иллюзиями насчет добросовестности Азефа. Но приходилось это сделать, а вместе с тем нужно было расстаться и с Герасимовым. Герасимов в 1909 г. — вчера еще бывший каким-то диктатором в Петербурге, — был удален от дел, а потом и забыт. Столыпин оставался у власти еще два года, но Герасимова к делам он более не привлекал. Еще в 1910 г. Столыпин окончательно убедился, что мои обвинения Азефа верны и еще при нем (но не им) был поднят вопрос о пересмотре дела Лопухина.

После убийства Столыпина бывшим охранником Богровым в 1911 г., Лопухин был, действительно, возвращен из Сибири (1912 г.) и восстановлен в правах. Со стороны правительства это была едва ли не первая и не последняя частичная ликвидация дела Азефа. У меня имеются сведения, что и царь после 1910 г. согласился с моими обвинениям Азефа и говорил о

нем, как о провокаторе.

Но официально признать свою ошибку в деле Азефа правительство никогда так и не решилось. Для него было очень опасно пролить полный свет на это дело, в котором были замешаны очень многие, начиная с царя и Столыпина.

С Герасимовым я встретился в 1916 г. в Петербурге, когда он был под надзором полиции и за ним, как за мной, по пятам ходили сыщики. Мы с ним иногда много говорили и об Азефе, как потом и в Берлине, в эмиграции, но он не проявил решимости посмотреть правде в глаза и признать, как его обманывал все время Азеф и что благодаря ему делал Азеф для революционеров.

12. В 1916 г. мне предлагали арестовать ген. Герасимова

В 1916 г., после возвращения из Сибири, я был в Петербурге. Как независимый журналист и редактор «Былого», я считал себя вправе обращаться за сведениями ко всем.

Однажды по телефону я обратился к начальнику царской охраны ген. Спиридовичу и попросил свидания. Мое обращение было столь необычайно, что Спиридович немедленного ответа мне не дал, а попросил меня протелефонировать через несколько часов. В это время он снесся с Царским Селом и ему разрешили видеться со мной.

Я был у Спиридовича на его квартире, мы много говорили и на текущие темы, и по истории революционного движения вообще и об его книге о революционном движении, только что им тогда изданной.

Кажется, еще во время первого нашего свидания Спири-

дович задал мне вопрос, имевший для него, очевидно, особо важное значение. Он указал мне на часто повторявшиеся в моих статьях ссылки на то, что Азеф, будучи доверенным агентом Герасимова, организовывал покушение на царя в 1908 г. и смог поставить в двух шагах от царя террориста с браунингом.

Я видел, что Спиридович убежден, что я говорю с ним совершенно искренно, знаю факт покушения на царя совершенно точно и что для меня не подлежит сомнению то, что я утверждал. Но, подчеркивая свои слова, он указал мне, что об этом факте я сообщил в печати в такой неопределенной форме, что для его официального расследования ничего нельзя было сделать.

— Итак, — сказал мне ген. Спиридович, — вы вполне убеждены, что факт, когда благодаря Азефу, революционер мог убить царя, — был. Вы знаете точную обстановку. Так вот: если это, действительно, верно, то дайте мне какие-либо более или менее точные указания и я сегодня же делаю доклад в Царском Селе. Ген. Герасимов будет арестован немедленно, хотя бы за одно то, что он дал возможность Азефуч это сделать, благодаря своему доверию к нему.

Я ответил Спиридовичу, что факт этот для меня вне сомнения. Он мне известен со слов нескольких с.-р., таких как Савинков, который знал все это дело. До разоблачения Азефа социалисты-революционеры мне сообщали об этом, чтобы доказать, что Азеф — революционер. Все это они мне повторили и после разоблачения Азефа, — и соглашались с моим объяснением, почему Азефу, как провокатору, нужно было совершить цареубийство.

Я видел, что Спиридовичу было ясно, что для меня факт организации Азефом покушения на царя в той обстановке, о которой говорил я, не подлежит никакому сомнению. Но понимал он и то, что так как это мне было сообщено с.-р. лично, доверительно, а не для опубликования, то я ничего более конкретного об этом сообщить ему не могу, — и не скажу.

Спиридович понял меня и не настаивал. Он только просил меня дать ему какую-либо руководящую нить чтобы он сам мог выяснить этот вопрос. Но, конечно, я ему не мог и этого дать. В следующие со мной свидания Спиридович не раз возвращался к этой теме, но его вопросы и мои ответы были те же, что и раньше. Более подробно я об этом деле ничего ему сказать — в 1916, как и в 1909 — не считал возможным.

После революции, в 1917 г., Савинков и другие с.-р. подробно рассказывали в печати о тогдашнем покушении на имп. Николая на крейсере «Рюрик», подготовленном при помощи Азефа. В конце 1916 или в начале 1917 г. я в Петербурге встретил и офицера с «Рюрика» Костенко, участника заговора. Он подтвердил весь рассказ Савинкова.

Кстати должен сказать, что, едва ли можно сейчас представить себе, чтобы независимый журналист, как я, мог вести такие разговоры в кабинете какого-нибудь Ягоды о бывшем покушении на Сталина.

13. Мои попытки поднять вопрос о роли Азефа в покушении на царя

В воспоминаниях Герасимова имеется много непонятных пробелов. Но один пробел особенно важен. Он характеризует все его воспоминания. Герасимов ничего не говорит о покушении на царя, на «Рюрике» в 1908 г., как будто он не слышал этого тягчайшего обвинения против его агента. А ведь если это обвинение верно, то он должен совсем иначе посмотреть на свою собственную тогдашнюю роль начальника охранного отделения и ближайшего советника Столыпина и переписать по иному свои воспоминания. А между тем, Герасимов много говорит о том, как он вместе с Азефом спасал царя от террористов в Ревеле в мае того же 1908 г., когда было и покушение на «Рюрике».

В Ревеле царь имел свидание с английским королем Эдуардом. Азеф говорил Герасимову о готовящемся покушении террористов, Герасимов — Столыпину. Были приняты необычайные меры для безопасности царя. На ноги поставлены были все власти. Была поднята необычайная тревога.

С облегченным сердцем Столыпин и Герасимов вздохнули, когда царь благополучно вернулся к себе в Царское Село.

В глазах Герасимова и Столыпина Азеф был герой — благодетель: он спас царя, не было никаких инцидентов и все козни террористов были парализованы. На всех виновников торжества полился дождь разных наград. Азефу за его услуги разрешили после всех трудов и волнений для отдыха уехать за границу.

Герасимов с большими подробностями описывает события в Ревеле, сопровождавшие поездку царя. К его описанию надо добавить только то, что в это время ни в Ревеле, ни в Петербурге не было никаких террористов и никем не подготавливались никакие покушения. Азеф лгал о существовании

заговоров, а Герасимову было приятно доносить Столыпину об этих мифических заговорах, которые, несомненно, будут разрушены и его бдительностью, и доносами его агента — Азефа.

В мае 1909 т. в Петербурге был процесс Лопухина. Я предложил его защитнику Пассоверу вызвать на этот процесс меня, эмигранта, как свидетеля. Я не просил даже гарантии, что, после дачи показаний, меня выпустят из России. На суде я хотел выступить с моими разоблачениями Азефа, в том числе и с разоблачением подготовлявшегося им покушения на царя в 1908 г. Но Пассовер был против моего приезда. Ему казалось, что он сможет придать процессу наиболее благоприятный для Лопухина характер, если он не будет очень остро поставлен и вина ответственных за Азефа лиц не будет так подчеркнута, как это неизбежно было бы, если бы я приехал из Парижа на суд дать свои показания. После провала его защиты, Пассовер согласился вызвать меня, когда процесс возобновится. Но нового процесса Лопухина не было.

В 1914 г. я вернулся в Россию, в феврале 1915 г. меня судили, выслали в Сибирь и в том же году амнистировали. Правительство, имея в это время меня под руками, не предъявляло мне никаких обвинений по поводу моих разоблачений, какие я делал заграницей, и не потребовало объяснений моих обвинений Азефа. Но я и в России не переставал твердить, что всецело поддерживаю всё, что писал заграницей и, в частности, все мои обвинения Азефа в подготовке покушения на царя.

Революция 1917 г.

Верховная Чрезвычайная Комиссия одного из первых допрашивала меня. Я дал подробное показание о всех моих разоблачениях. Между прочим, рассказал всё, что я знал о покушении на «Рюрике», и о роли Азефа в этом деле.

Все мои показания были запротоколированы и потом напечатаны в 1-м томе известного издания «Падение царского режима».

Если бы ген. Герасимов нашел в себе мужество признать, что его агент Азеф был в то же самое время активным членом террористической организации и организовывал цареубийство, то он был бы обязан переделать свои воспоминания и только тогда его воспоминания стали бы ценным материалом для истинной оценки дореволюционного режима.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРЕДВИДЕНИЯ И БУДУЩЕМ РОССИИ

Задачей настоящей статьи является попытка определить, как будет развиваться Россия после сорока трех лет советского режима. Попытка не новая. Эмигранты различных политических направлений представляют себе будущее России, исходя преимущественно из своих политических программ. Иностранные эксперты по советским делам пытаются подойти к вопросу о будущем России, исходя из социологических предпосылок и некоторых специфических особенностей советского строя, или исторических, как они их понимают, традиций России. О будущем начинают говорить и коммунисты, понимающие, что «переход от социализма к коммунизму» не может не требовать указаний, которых ожидает население, что даст ему этот переход, как он отразится на условиях материальной и общественной жизни страны, на правах граждан и на функциях партии и власти.

В свете этих разносторонних попыток проникнуть в будущее могут оказаться небесполезными некоторые мысли о том, как можно подойти к предвиденью будущего с наименьшею опасностью вложить в представление о будущем свои произвольные желания.

1. Психологические предпосылки

Каждый человек задумывается о будущем. Мысли о будущем дне появились у человека, вероятно, с тех пор как он стал заботиться об обеспеченьи своего существования. Каждый человек, независимо от вопросов материального существования, задумывается о том, ожидает ли его успех или неудача в различных его начинаниях и исполнятся ли его желания и мечты. Оптимист расчитывает на успех и потому не щадит усилий. Он не станет обращаться к гадалке, а действует движимый уверенностью в успехе. Боязнь неудачи парализует, наоборот, энергию и убивает инициативу. Но горе тому, кто вовсе не верит в успех и в будущее. Если такой человек

не останется бездеятельным, то во всяком случае он не горит стремлением выполнить свои или чужие планы и предначертания; если он и продолжает трудиться, то по необходимости. Своих творческих планов такие люди обычно не строят, а выполняют чужие в порядке повинности.

Из сказанного ясно, насколько важно внушить людям уверенность в лучшем будущем. Сотрудничество людей открывает для каждого много новых возможностей, но оно выдвигает и новые задачи. Будущее человека становится зависимым от усилий и стремлений не его одного, но и от успехов или неудач общества в целом. В условиях общественной жизни предвиденье будущего еще более важно, чем в жизни личной. Горе тому обществу, которое не верит в свое будущее. Поэтому лица, облеченные властью или принимающие на себя ответственность за руководство общественной жизнью, стараются внушить населению веру в успех и провозглашают многообещающие программы.

Сознавая свою ответственность за будущее общества, лидеры его с особым вниманием оценивают шансы успеха, если они приступают к выполнению своих обязательств добросовестно. В древности вожди обращались за поддержкой к мудрецам и предсказателям. Авгуры истолковывали благоприятные и неблагоприятные предзнаменования. Оракулы, чтоб сохранить свой престиж, старались давать туманные ответы, которые можно было истолковывать в любую сторону. Жрецы, как посредники между непосвященными и богами, истолковывали волю последних. В конечном итоге всё определялось степенью веры в успех, оптимизмом или пессимизмом вождя, степенью его решительности или мудрой предусмотрительности и осторожности. Оптимисты толкуют ответы в соответствии со своими ожиданиями и расчетами. Пессимисты остаются в нерешительности. Многие проявляют осторожность и не присоединяются ни к тем, ни к другим, пока щансы успеха или неудачи не станут более определенными.

Хотя современные условия во многом радикально изменились, по сравнению с условиями древности, но и теперь многое зависит от уверенности и решительности вождей, которые нередко принимают на себя роль жрецов, истолкователей воли народа или законов истории. В условиях общественной жизни мысли о будущем приходят, как и в условиях жизни личной, либо вместе с желаниями, либо вместе с опасениями, что желаемое не осуществится или существующее будет утрачено, а будущее не вознаградит за эти утраты.

Мысли о будущем окрашиваются, поэтому, в цвет, соответствующий желаниям и настроениям общества и принимают, соответственно, оптимистический или пессимистический характер.

Формулировку настроений общества и поощрение их принимают на себя политические группы или партии. Но политики обычно нетерпеливы в своих выводах и прогнозах. Опасность политического мышленья заключается в том, что оно направлено к ближайшему времени. Оно требует быстрого ответа и, в современных условиях выборных правительств, расчитано часто только на тот непродолжительный срок, в течение которого избранные политические деятели остаются у власти. Даже дальновидному политику трудно выйти за пределы задач текущего времени.

Чтоб не оттолкнуть от себя своих сторонников и избирателей, политические деятели должны считаться с желаниями поддерживающих их слоев населения и для этого идти на риск. Но если они воодушевлены идеями, выходящими за пределы ближайшего будущего, если они принимают на себя роль преобразователей, то они должны быть оптимистами, должны заражать своим оптимизмом руководящие круги общества. Мысли о будущем должны тогда принимать форму увлекательных лозунгов, отвечающих чаяньям народа и воодушевляющих его на жертвенность и подвиги. Общество динамично, когда страна одушевлена новыми планами и творческими порывами. Даже в предреволюционные периоды, когда формируются массовые движения и рождаются новые идеи, когда сталкиваются консервативные и прогрессивные стремления, происходит подъем творческих сил, и это находит отражение в литературе и искусстве.

В зависимости от преобладания в разные эпохи и в разных слоях населения оптимистических или пессимистических настроений в отношении будущего, устанавливаются консервативные, прогрессивные, радикальные, революционные течения. Консерватизм прочен в периоды благополучия, когда уровень жизни широких кругов населения достаточно высок и не существует слишком ярких контрастов, порождающих вражду между социальными классами или правящей группой и управляемым большинством. В период консерватизма, основанного на удовлетворенности существующим, нередко понижается энергия масс. Материальные интересы господствуют. Каждый считается с размерами вознаграждения или доходов, не хочет быть ниже другого и забывает об общих инте-

ресах и гражданском долге. В то же время злоупотребление богатством содействует деморализации общества. Такие периоды опасны. Они предшествовали падению великих империй, приводя к расслаблености воли и снижению сопротивляемости. Если в такие периоды появляются стремления к пробуждению здоровых творческих сил и изменению установившихся порядков, бытовых условий и укоренившихся взглядов, то такие стремления принимают нередко характер радикальных движений и мятежей. В древности выступали в подобных случаях пророки, грозившие карой неисправимым и сулившие спасение своим последователям. В средние века выступали обличители типа Савонаролы. В новейшие времена появлялись создатели планов радикального преобразования основ общественной жизни и возникали революционные движения.

Как же избежать грозящих осложнений, смягчить во время необоснованный оптимизм и дать желательное направление к предотвращению возможных или уже надвигающихся потрясений? Как можно преодолеть косность консерватизма, не допустить мертвой зыби, вызывающей разочарование и упадок энергии? Как, наконец, воспрепятствовать успеху радикальных идей и не допустить разрушительной революции, преследующей большей частью такие цели и задачи, которые либо вовсе не осуществимы или требуют для своего осуществления непомерных и не оправдываемых результатами жертв и лишений?

По мере развития человеческих знаний и обогащения опыта, укрепляется уверенность в возможности управления не только силами природы, но и развитием человеческого общества. Жизнь и развитие человеческих обществ сложны. Наука об обществе и его развитии должна способствовать предвиденью возможных и неизбежных процессов и служить руководством для политических лидеров и вождей. Оптимизм должен быть поставлен в определенные границы, чтоб не стать фантазией; пессимизм должен быть излечиваем, а радикализм — предупреждаем.

Для избежания ошибок в расчетах на будущее общества, необходимо считаться не с собственными желаниями, а с желаниями населения, определяемыми нуждами отдельных его групп. Но при этом необходимо принимать во внимание и объективные условия. Социальные науки, изучающие структуру человеческих обществ, законы экономического развития, значение руководящих идей, религиозных верований и моральных принципов, облегчают предвиденье будущего. Тем не

менее это предвиденье остается трудной и сомнительной задачей.

Для определения, в частности, будущего Советского Союза, следует во всяком случае учесть, насколько оптимистично оценивает население свое будущее, насколько оно верит в возможность удовлетворения своих нужд и в то же время определить, как эти нужды могут быть удовлетворены.

2. Научное обоснование предвиденья

Русская эмиграция в своих представлениях о будущем Советского Союза долго руководствовалась убеждением, что советский строй непрочен. Каждая отдельная политическая группа представляла себе будущее, как в известной степени восстановление дореволюционного порядка. Монархисты верили в реставрацию; либеральные партии — в установление конституционного строя; социалисты умеренных направлений оставались последовательными в преданности демократическим принципам и своим программам осуществления социализма.

В течение продолжительного периода будущее рисовалось каждой политической группой в соответствии с ее жаланиями и стремлениями. При этом сказывалось либо оптимистическое настроение, либо — неуверенность и склонность к пессимизму. Под влиянием последнего началось увядание политической мысли: она не обнаруживала творческих идей. Высказывалась либо вера в эволюцию, либо уверенность в предстоящем падении советского режима.

С другой стороны, в некоторых кругах, особенно молодежи, стало нарастать настроение приятия революции, как факта, и приспособления к происшедшим изменениям. На основе этих настроений, подсказываемых желанием вернуться на родину и участия в строительстве новой России, возникли «сменовеховство», «евразийство» и движение так называемых «младороссов». Все они прониклись духом соглашательства, включали в свои ряды неустойчивые и подозрительные элементы, и разложились полностью. Только евразийство оставило некоторые следы, в виду участия в этом движении видных и талантливых идеологов и журналистов.

Тем временем дореволюционное прошлое России все более отдаляется, а существование советского режима становится все более продолжительным. В связи с этим, для предвиденья будущего становится все более необходимым анализ существующих в советском обществе противоречий, сталкивающихся

интересов и влияний. На основе такого анализа и подбора фактов, свидетельствующих о происходящих в Советском Союзе динамических процессах, может представиться возможность предвидения грядущих изменений.

Для обоснования возможных перемен требуется научный подход. Социология и философия истории могут помочь определить линию возможного развития. Но они предлагают много разных объяснений общественных движений и развития исторических событий. Часть социологов придает большое значение разделению общества на различные группы с общими и противоположными интересами; некоторые социологи подчеркивают значение географических и, в частности, геополитических факторов, другие считают более существенными экономические условия и порождаемую ими борьбу за существование и классовую рознь. Социологи, несклонные к материалистической философии, придают большее значение идеологическим факторам, выдвигая на первое место руководящие идеи, определяющие взаимоотношения людей и их отношение к обществу и государству. К этой категории относится несомненно и влияние на поведение людей и жизнь общества религиозных верований и моральных начал, ими поддерживаемых. Что касается историков, то одни из них придают большое значение традициям, другие — роли вождей и культурной элиты.

Работы, посвященные будущему Советского Союза, столь же разнообразны, как и приведенные теории. Каждый из авторов подходит к своей задаче более или менее односторонне. Строение советского общества и внутренние в нем взаимоотношения, экономические условия, создаваемые государственной монополией и крайностями централизованной системы, географические особенности страны, ее внешние отношения и стратегическое положение, а также влияние коммунистической идеологии и роль вождей — все это должно быть принимаемо во внимание для учета возможных влияний на предстоящее развитие страны и ее уклада.

Начнем с анализа группового состава советского общества. Коммунисты утверждают, что они создали бесклассовое общество и что при установленной ими системе планового государственного хозяйства не существует более и не может существовать эксплоатации. В действительности, государство, монополизировав все виды предприятий и присвоив все народные ресурсы, стало распоряжаться рабочей силой по своему усмотрению и на условиях, которые оно диктует народу. Исхо-

дя из фикции, что правящая верхушка партии представляет народ и выражает его волю, Президиум Ц.К. коммунистической партии заменяет собой миллионы частных хозяев, которые при современных условиях, не могут не считаться и не уступать давлению профессиональных союзов. Государство коммунистов превратило профессиональные организации в орудие выжимания пота и подстегиванья рабочих для «выполнения» и «перевыполнения» государственных планов. Эксплоатация приняла новые формы. При таких условиях, не мог не появиться новый правящий класс партийной и технической интеллигенции, пользующийся привилегиями, которые постепенно принимают наследственный характер. 1

В трудах американских социологов: Бауэра, Инкелеса и Барригтона Мура, равно как и в трудах русских социологов и журналистов, отмечается происшедшее расслоение советского общества. Разочарование эксплоатируемых рабочих и крестьян и в то же время наличие привилегированных кругов, заинтересованных в сохранении режима и готовых его защищать — определяют возможные сдвиги в сторону смягчения режима и уступок населению. Предусматривается возможность изменения политики партии, в состав которой входит все больше квалифицированных специалистов. Однако, возможность таких изменений оговаривается указаниями на прочность советского режима. Оптимизм условен и осторожен.

Иностранцы, опирающиеся в своих заключениях на соображения исторического и геополитического характера, наиболее пессимистичны в своих предвиденьях. В иностранной литературе очень распространено убеждение, что большевизм является плотью от плоти и кровью от крови исторической России, изображаемой ими в мрачных красках деспотии. Русскому читателю нет надобности объяснять, насколько односторонне подобное освещение русской истории и в особенности предреволюционного времени. Правильнее было бы исходить из особенностей географии и этнографии России и трагичности ее истории.

Иностранные историки, которые подобно Бернарду Пэрсу и Джону Мэйнарду, ищут корней коммунизма и его ре-

¹ Формирование наследственной привилегированной группы подтверждается анализом советского законодательства. См. G. C. Guins, Soviet Law and Soviet Society, 1954. pp. 260-270.

² Barrington Moor, Jr. Terror and Progress — U.S.S.R. 1954.

³ W. W. Rostow, The Dynamics of Soviet Society, 1953, pp. 253-258.

жима в вековом рабстве русского народа, как они это изображают, неправы. Коммунизм имеет свою особую историю, и корни его учений следует искать скорее на Западе, чем на Востоке. Но те иностранные ученые, которые, оставляя в стороне коммунизм и его режим, строят свои предвиденья на историческом прошлом России, поступают неправильно, считая современную советскую политику экспансии присущей русскому народу и являющуюся источником международных успехов коммунистического режима и его престижа в стране, а вместе с тем предрешающую и будущую политику. 4 Экспансия прошлого носила большею частью стихийный характер и в значительной степени была результатом исторически враждебных взаимоотношений с соседями. Со времени мировых войн и вступления мира в новый период «атомного века», стратегическая обстановка радикально изменилась, и международная политика строится на новых началах. Поэтому исходить из каких-то специфических русских стремлений к экспансии, для предвиденья будущего, при всех условиях, неправильно.

Гораздо убедительнее те предвиденья пессимистического характера, которые строятся на анализе коммунистической идеологии. Вера коммунистов в непогрешимость их прогнозов, основанных на убеждении, что ход исторического развития предопределен железными законами экономики и полностью раскрыт гениальным провидцем, Карлом Марксом, делает их непоколебимыми в их политике. Они допускают возможность зигзагов и временных отступлений, но не изменяют своим конечным целям и упорно готовятся к их осуществлению. С миром демократии или, как они выражаются, «обреченным на гибель капитализмом», они мира не заключат; они могут идти только на временные соглашения, носящие характер отсрочки. «Сосуществование» в их понимании означает только передышку.

Природа коммунизма долго оставалась загадкой для политиков и писателей Запада. Но за последнее десятилетие, когда Советский Союз успел оправиться от разрушений второй мировой войны и стал подлинно великой державой, изучение советской идеологии стало более вдумчивым и осторожным. Еще десять лет тому назад можно было встретить иностранцев, которые рассматривали коммунистов Советского Союза,

⁴ Daniel Bell, «Ten Theories in Search of Realty» (IV. Historical theories). World Politics, Vol. X, 3 Apr. 1958.

как «радикальных демократов», выполняющих свою историческую миссию индустриализации России и пользующихся репрессиями, чтоб сбить вековую лень или инерцию отставшей страны. Теперь, когда коммунизм распространился в Европе и Азии и стремится проникнуть в Африку, понимание его целей и особенностей стало более глубоким, и вместе с тем взгляды на будущее становятся более пессимистическими.

Для оптимизма в отношении будущего Советского Союза, в смысле возможности его сближения с демократическими странами и возможности «мирного сосуществования», остается путь анализа личных влияний и внутренних процессов в коммунистической партии. На изучение этих личных влияний тратится немало сил и средств. Существует даже особое название для подобного рода исследований — «кремлинология». Делается ставка на такую смену лиц, при которой режим станет перерождаться, и сосуществование действительно станет возможным. Отрицать роль вождей в истории народов представляло бы несомненную ошибку. Роль Ленина, Сталина и теперь Хрущева нельзя преуменьшать. Каждый из них характеризует известное направление советской политики. Ленин предначертал основы советской государственности и ее задачи; Сталин их осуществил; Хрущев сдает некоторые позиции и создает «уклоны», вызываемые необходимостью передышки и уступок народу. Однако, всё время: и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве — задачи и конечные цели партии остаются теми же.

Оценивая разные подходы к объективному изучению процессов, развитие которых могло бы привести к существенному изменению внутри страны, приходится признать, что установленная коммунистической партией система делает многие факторы производными. Структура советского общества всецело определяется системой распределения народного дохода, устанавливаемой руководителями партии. Экономическое развитие страны, в условиях государственной монополии и универсального планирования, подчинено той же партии и той же бескомпромиссной системе регулированья. Религиозные, моральные и идейные силы скованы принудительной идеологией партии, ее боевыми лозунгами и непримиримостью по отношению к оппозиции любого характера.

Автор одного из популярных американских исследований коммунизма, Натан Лейтес, подчеркнул в своей книге, что

⁵ Nathan Leites — A Study of Bolshevism. Glencoe, Ill. 1954.

большевизм не допускает нейтральности: «мы или вы», таков лозунг большевизма, говорит автор, и это значит «кто кого» или еще определеннее «кто кого угробит», как это подтвердил недавно Хрущев. А внутри страны существует запрет «собственного мнения», строгий контроль над мыслью и обязательность принятия на веру «генеральной линии» и «официальной доктрины». Все это теперь стало вполне ясно и заграницей.

В конечном итоте будущее Советского Союза зависит от соотношения двух сил: коммунистической партии и русского народа.

3. Коммунисты о будущем

Советские вожди хорошо осведомлены о недовольстве населения существующими условиями, особенно материальными. Семилетний план рассчитан на укрепление надежд на лучшее будущее. Его пропагандное значение подчеркивается постоянными заявлениями о поражающих капиталистический мир цифрах и успехах выполнения плана, которые обещают вывести советскую промышленность на первое место в мире. Вместе с тем обещается и значительное улучшение условий жизни в Советском Союзе.

Пятилетки проходили очень быстро, и население привыкло уже к тому, что они ничего ему не приносили. Семилетка несколько длиннее. Срок оплаты государством векселей, выданных им населению на два года больше. Тем временем власти идут на некоторые уступки: то на увеличение, хотя и незначительное заработной платы, то на выдачу авансов колхозникам и освобождение их от принудительных поставок с их индивидуальных приусадебных участков, то на увеличение пенсий. Привыкшее к лишениям население начинает верить, что условия жизни улучшатся, что власти действительно стремятся к этому.

Но небольшими подачками долго отделываться не удастся. Официально провозглашено, что страна переходит «от социализма к коммунизму». Естественно, люди желают знать, что это им сулит. Некоторое представление о предстоящих, в связи с переходом к коммунизму, изменениях дает передовая статья, помещенная в первом номере журнала «Советское государство и право» за 1960 г. Основными предпосылками будущего советского государственного и хозяйственного развития являются, согласно указанной статье, незыблемость господства коммунистической партии и ее идеологии.

«XXI съезд партии... со всей решительностью подчеркнул, го-

ворится в статье, правильность одного из важнейших положений ленинизма о том, что в процессе строительства коммунистического общества роль партии должна возрастать, а не ослабляться, как утверждают это современные ревизионисты».

Что касается идеологии, то в статье помещена ссылка на заявление Н. Хрущева: «В вопросах идеологии мы твердо стояли и будем стоять, как скала, на основе марксизма-ленинизма».⁶

В той же статье повторяются фикции, которыми коммунисты оправдывают все свои произвольные действия: «социалистическая демократия — подлинная власть народа»; «советы... были и остаются в настоящее время органами государственной власти». В другой статье, в том же выпуске журнала, повторяется утверждение, что «социалистическое право представляет собой выраженную в государственных законах волю нашего народа». 7

Приведенные цитаты показывают, что партия коммунистов превратилась в косную консервативную силу, стремящуюся к сохранению созданного ею режима. Действительно, те изменения, о которых говорится в цитированных статьях, как о грядущих реформах, приближающих коммунизм, сводятся к развитию, а не к изменению существующей системы. Так, например, допускается возможность расширения функций советов за счет их исполкомов. Как известно, в настоящее время советы играют второстепенную роль. Они, большею частью, утверждают предложения исполкомов в течение коротких сессий, на которые они несколько раз в год созываются. Деятельность Верховных Советов может служить в этом отношении наиболее яркой иллюстрацией служебной роли советов. Ничего не изменится, если роль партии останется прежней, так как решения партийных органов предопределяют решения советов, а «исполкомы», как и теперь, останутся фактически полностью зависимыми от партии.

В качестве другой реформы, предвещающей приближение к «коммунизму», намечается привлечение к более широкому участию, в деле выполнения государственных функций, разного рода «общественных организаций». В качестве примеров указываются — «охрана общественного порядка и безопасно-

^{6 «}Советское государство и право» № 1, 1960 г. «Перспективы развития советской науки права на современном этапе», стр. 7 и 9.

⁷ Там же. П. С. Ромашкин, «Технический прогресс и советское право», стр. 15.

сти», «руководство физкультурным движением» и, в известной степени, осуществляемое уже «обслуживанье трудящихся в области здравоохранения и курортов». Все это лишено характера реформ, поскольку государство всегда в большей или меньшей степени перелагает на общественные организации выполнение некоторых своих служебных функций. Более важно то, что говорится о «дальнейшем расширении прав граждан» и «фактическом использовании гражданами предоставленных им прав и свобод». В этой области можно было бы ожидать конкретных указаний на возможное устранение существующих ограничений прав граждан и на устранение полицейского контроля над их осуществлением. Но этого не обещается.

«В социалистическом обществе, говорится в передовой и в то же время программной статье нами уже цитированной, — сфера прав и свобод граждан — это та сфера, в которой граждане имеют возможность приложить свои силы для общего блага и в которой они могут в то же время рассчитывать на содействие общества в удовлетворении своих законных интересов».8

При этом в статье подчеркивается отличие «индивидуалистической концепции буржуазной демократии, где субъективные права — это личная сфера, охраняемая от вмешательства государства и других лиц».

Всем, кто знаком с конституцией и порядками Советского Союза, понятно, что значит свобода, которая предоставляется для приложения сил к служению «общему» благу, а не свобода, «охраняемая от вмешательства государства и других лиц», как это существует в «буржуазной демократии». Все «свободы» в Советском Союзе предоставляются «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя» (Ст. 125 Конституции С.С.С.Р.). Все свободы допускают поэтому вмешательство государства и партии, которая решает, что «соответствует интересам трудящихся».

Итак, переход «от социализма к коммунизму» ничего не сулит: роль партии будет усилена, контроль государства над потреблением, распределением труда, народным образованием и пользованьем «свободами» останется в силе. На общество будут возложены дополнительные тяготы, а граждане будут по-прежнему подчинены цензуре слова и печати, не будут пользоваться свободой собраний и уличных выступлений. Свобода сохранится по-прежнему за партией, а не за гражда-

⁸ Там же, стр. 7.

нами и их организациями. Общественные организации останутся служебными учреждениями при партии и будут содействовать выявлению лойяльности по отношению к власти коммунистов и оказывать поддержку ее господству.

Так, по свидетельству приведенных выдержек из журнальной статьи, рисуется будущее коммунистическим вождям.

4. Безмолвствующий народ

Можно ли угадать желания или мечты народа? И если можно, то как определить степень их интенсивности, степень воли и решимости народа отстаивать свои желания?

В жизни природы и проявлении природных сил часто наблюдаются резкие переходы от одного состояния к другому. После катастрофических процессов, создающих порою хаотическое состояние, наблюдается постепенное восстановление равновесия и даже тармонии взволновавшихся сил, но уже нередко со следами происшедших катастроф. От того, насколько грозны были стихийные процессы, зависит, как долго сохранятся следы их свирепого господства. В переводе на язык логики первоначальное состояние можно назвать «тезисом», а разрушение и контраст к тому, что существовало или существует, — «антитезисом». Наконец, восстановление порядка с неизбежными отступлениями от того, что существовало, представляет собой «синтез».

В развитии человеческих обществ наблюдаются процессы сходного характера. При недовольстве существующими порядками, люди легко представляют себе необходимые изменения в виде контрастов. Вместо личной свободы выдвигается идеал общества, построенного на централизации власти и подчинении индивида обществу путем возложения на него служения общественному идеалу, преимущественно перед выполнением личных целей. Вместо частной собственности выдвитается коллективная собственность нации и план вместо частной инициативы и конкуренции. Такого рода антитеза обнаруживает, однако, свои дефекты, разочаровывает своими неискоренимыми несовершенствами и тогда либо возрождается культ прошлого, либо создаются планы реформ, напоминающие синтез, слияние вновь созданного и укрепившегося с тем, что было хорошего в прошлом и еще может быть восстановлено.

К несчастью человечества, переходы от тезиса к антитезису происходят в психологии людей много легче, чем переходы к синтезу. Легче проникнуться ненавистью к опостылевшему порядку и вообразить, что противоположное будет лучше, или рискнуть на коренные изменения в надежде, что «хуже не будет», чем проявить осторожность и терпение в поисках постепенного, но зато верного улучшения.

Если же революция произойдет и установит свой новый порядок, то возвращение к прежнему не только отталкивает всех, кто помнит его отрицательные стороны, но и становится невозможным, поскольку революция уже пустила корни и повернула ход развития страны, выдвинув новые социальные силы. Антитезис в этом случае означал бы возвращение к старому, что потребовало бы новых, глубоких потрясений. Люди, свыкшиеся с новым, как бы неудовлетворительно оно ни было, предпочитают остаться при нем, с надеждою на постепенное улучшение, вместо того чтоб рисковать вновь переворотом со всеми неизбежными потрясениями и жертвами. Помимо того, каждый новый порядок выдвигает свой ведущий класс, который, естественно, противодействует изменениям, грозящим утратою «завоеваний революции». Поэтому за утвердившейся революцией следует обыкновенно период синтеза.

Пореволюционный синтез осуществляется обычно в форме эволюции. Но путь эволюции может быть очень длительным. Если допустимо сравнение глубоких революционных потрясений с катаклизмами в природе, то тогда приходится примириться с неизбежностью не только чрезвычайной длительности изжития революционных крайностей, но и с трудностью установить новый удовлетворительный порядок. Ощупью определяются новые формы, испытывается целесообразность различных изменений и так складывается постепенно новый порядок.

Не исключается, однако, возможность ускорения перемен. Это даже неустранимо, если созданный революцией порядок противоречит основным нуждам страны, если удачно формулированы необходимые реформы, обеспечена поддержка их населением и приняты меры к предотвращению новых крайностей.

Октябрьская революция 1917 года была несомненно социальным катаклизмом. Потрясены были все основы политического, социального и экономического строя. Мало по малу антитезис обнаружил, однако, свои крайности и произошло частичное возвращение к старому. Оказалось невозможным существовать без законов и суда; потребовалось отступить от материального равенства и ввести высокие оклады и награды; в армии были восстановлены чины и форма, включая «ненавистные погоны»; комиссары превратились в министров с орденами и блестящими мундирами; появилась опять собственность, правда не частная, а «личная», и разрешена частично частная торговля и ремесла. Восстановлена дисциплина в школах, экзамены и отметки; поощряются культурные начинания, государственные театры и балет; воспитывается национальное самосознание, «любовь к отечеству и народная гордость». Но как бы существенны ни были происшедшие перемены, того синтеза, который означал бы начало нового пореволюционного периода, не наступило. Три главные особенности советского строя остаются в силе: во-первых, деспотический режим, во-вторых, экономическая система, построенная на централизме государственного управления народным хозяйством; и, наконец, политика поощрения мировой революции.

Советский строй является одним из видов деспотизма. Старые деспотии, руководимые тиранами, сохранились лишь в отсталых странах. Выродились и деспотии отдельных социальных групп, при которых трудящиеся попадали в зависимость от обладателей земель или других источников существования. Но, наряду с отмиранием деспотий указанных типов, стали возникать деспотии, основанные на принудительной идеологии. Эти новые типы деспотий известны под именем «тоталитарных» государств. От различия идеологии зависит и различие форм тоталитарных государств. Итальянский фашизм, нацизм, японский милитаризм предвоенного времени и советский строй родственны, но не одинаковы.

Система советского тоталитаризма отличается рядом существенных особенностей. На происходившем осенью 1960 г. в Нью Йорке съезде политиковедов один из докладчиков выразил сомнение в возможности характеризовать советское государство, как тоталитарное, после того как там прекращен массовый террор, как система. Но деспотизм советского режима основывается уже давно главным образом на полной экономической зависимости всего населения от государства. Зависимость эта создается «универсальной монополией» государства. Поскольку все средства производства и все национальные ресурсы принадлежат государству и эксплоатируются по плану, составляемому без участия населения, и поскольку торговля, как внутренняя, так и внешняя, тоже монополизированы государством — не только трудящиеся и не только служащие в предприятиях и учреждениях, которые

полностью бюрократизированы, но и лица свободных профессий находятся в зависимости от государства, так как иначе они не могут обеспечить своего существования. От государства зависит, каковы их заработки и каковы цены на продукты, квартиры и все виды необходимых человеку услуг. В период осуществления первых пятилеток «универсальной монополии» в Советском Союзе еще не существовало, вернее она еще не была: осуществлена полностью, и тогда Сталин прибегал 'к массовому террору, чтоб заставить выполнять свои планы. После того как универсальная монополия осуществлена и прочно укрепилась, деспотизм государства не исчез, он принял иные формы. 9

Советский Союз следует считать наиболее типичным тоталитарным государством, так как его деспотизм распространяется на мысль и совесть людей при посредстве принудительной идеологии, которая внедряется всеми доступными государству способами, начиная с начальных школ. «Принудительной» идеологией мы называем доктрину марксизма-ленинизма, так как никакое отступление от нее не допускается, если таковое отступление не исходит от самой власти. Для осуществления универсальной монополии и для подчинения политики принципам официальной идеологии, установлена однопартийная система, сопровождающаяся централизацией власти в руках небольшой группы лидеров коммунистической партии.

Как мы видели, отступления от этой однопартийности не предвидится. Но при господстве одной только партии коммунистов, недопущении какой-либо иной партии вообще и сохранении той же идеологии, тоталитарная система останется в силе, и все частичные отступления и уступки будут носить характер паллиативов.

Чего же ждет народ? Удовлетворится ли он одними паллиативами? В одной из предыдущих книг «Нового Журнала» была помещена статья Е. Петрова-Скитальца. О Автор этой во многих отношениях интересной статьи — недавний свидетель

⁹ Об «универсальной монополии» и ее последствиях см. G. Guins Soviet Law and Soviet Society, 1954, pp. 1, 103, 363-66. Результаты системы универсального плана изложены с многочисленными иллюстрациями, заимствованными из советских источников в его же, Communism on the Decline, 1956. pp. 1-166.

¹⁰ Е. Петров-Скиталец — «Кронштадтский тезис сегодня». **Но-** вый **Журнал.** 1959 г. стр. 231-242.

того, что происходит в Советском Союзе. Вот как он характеризует существующие там настроения. «Молодежь ненавидит партийно-комсомольский пресс. Население деревень ненавидит коммунизм. Рабочие хотят свободы профсоюзов». «Партийный контроль нервирует промышленность и связывает инициативу специалистов. По отношению к государственному хозяйству партия стала силою тормозящей. Громадная часть народного дохода в Советском Союзе идет на содержание «оккупационной армии», т. е. партии. Такой дорого стоющей политической системы нет нигде в мире», пишет Петров-Скиталец.

О молодежи Петров сообщает, что она желает свободы в выборе профессии и места службы; об офицерстве, что оно настроено патриотически, но испытывает чувство неприязни по отношению к партии, терпит «политотдел», но считает его ненужным.

К этому можно было бы прибавить, что вся интеллигенция, ученые, писатели, художники и музыканты, инженеры, агрономы и ответственные служащие в государственных учреждениях не могут не тяготиться партийным контролем над творческой мыслью и деятельностью, не могут не стремиться к освобождению от бюрократической косности и связанности инициативы. Наконец, все сознательные граждане не могут не желать свободных выборов.

Петров-Скиталец не претендует на разрешение всех вопросов будущего, не предлагает подробной программы. Его основное утверждение заключается в том, что советская система должна стать беспартийной, основанной на демократических выборах в органы власти. Острие его критики направлено против господства коммунистической партии: «Уничтожится партия, говорит он, а с нею и вся идейно-политическая направленность теперешней власти». «Долой компартию!» «Вся власть советам!» повторяет Петров-Скиталец лозунги Кронштадтского восстания.

Лозунги эти не новы. Но, как подробно разъяснил профессор Н. С. Тимашев («Новый Журнал», кн. 60), страной управляют не советы вообще и не Верховный Совет в частности, а «исполкомы», являющиеся партийными органами, и чиновники находящихся под полным контролем партии министерств. С уничтожением господства партии, утратит свое значение и вся советская система в том виде, как она теперь существует. Потребуется полная перестройка административного аппарата. Целесообразно ли будет сохранить тогда опо-

стылевшее название «советская власть», представляется сомительным. Но дело не в названии. Дело в том, что преодолеть господство партии чрезвычайно трудно. Она распылила общество, лишила его организационной связи; уничтожена возможность совместного обсуждения проблем реорганизации государственной и общественной жизни; нет свободы печати и собраний. Материальное положение населения находится в зависимости от власти.

Спорить из-за лозунгов общего характера нет смысла. Важнее продолжить начатое Петровым-Скитальцем изучение желаний и нужд населения, формулировать практические решения в условиях, созданных сорокалетним существованием режима, указать, в чем заключаются препятствия к их осуществлению. Укажем, к примеру, несколько предположений.

Наиболее практичным переходом от системы колхозов к системе свободного крестьянского хозяйства могло бы быть преобразование колхозов в подлинные кооперативы. Но независимый в своем хозяйстве кооператив мог бы существовать, только, если бы он мог свободно покупать и продавать, руководствуясь своим планом хозяйства. Иначе развелось бы опять мешечничество. Раскрепощение крестьянства предполагало бы возвращение к свободной торговле. Наиболее целесообразной в области промышленности могла бы быть передача части предприятий в руки акционерных обществ, с участием служащих и рабочих в качестве акционеров, и при сохранении части акций в руках государства. Но свободные предприятия могут существовать, только, если они имеют возможность обеспечить себя сырьем, машинами, рабочей силой. Все это в настоящее время зависит от государства. Предлагаемое преобразование требовало бы для своего осуществления коренных изменений в системе централизованного планового хозяйства, не той чисто административной децентрализации, которую проводил Хрущев, а децентрализации, означающей независимость планированья, свободу инициативы и несение риска.

Приведенные два примера показывают, как трудно будет не только преодолеть инерцию выкристализовавшейся плановой и бюрократизированной системы, но и найти подходы к безболезненному преобразованию сложившейся системы. Тем не менее переход к новому не безнадежен. Никакая власть не может бесконечно править, игнорируя стремления народа. Надо лишь помочь народу формулировать его стремления, подсказать ему не общие лозунги, а практичную, отвечающую его стремлениям и нуждам программу. В недрах самой партии,

по мере вхождения в нее молодых сил, сложится оппозиция существующему порядку, и тогда преобразование станет возможным без тяжелых потрясений. Уже сейчас советской прессе приходится отвечать на сомнения простых людей, которые не могут понять, почему можно затрачивать громадные средства на запуск спутников и полеты на луну и нельзя увеличить ассигнования на жилищное строительство? Почему надо помогать народам Африки и поддерживать революционные и националистические движения в бывших колониях и нельзя увеличить ассигнования на улучшение быта внутри страны?

В стране, по всем данным, преобладает пессимистическое, а не оптимистическое настроение. Народ ждет перемен. Но возможность революции сомнительна. Все говорит за то, что страна приблизилась к периоду «синтеза», который, как указано было выше, совершается, большею частью, без серьезных потрясений.

Однако на пути эволюции стоит коммунистическая партия с ее упорством в раз навсегда установленных схемах политической и экономической системы и устаревшей идеологией. Партия, при этом, не лишена поддержки. Научные успехи, индустриализация, укрепление военной мощи страны и великодержавная политика льстят национальному чувству советской интеллигенции. К тому же некоторая часть населения и, при том, в среде не одних только партийных кругов и специалистов, довольна своим положением. Все это может задержать надолго существенные изменения системы, особенно в случае неудачной политики стран Запада. С другой стороны, неудачи советской власти и ее упорство могут вызвать неожиданный взрыв. Точные предсказания невозможны. Возможно установить только тенденции.

При всех условиях, интересам русского народа отвечало бы составление и сообщение ему доступными способами практичных программ организации народного хозяйства и способов перехода не от социализма к коммунизму, а от государственной универсальной монополии к системе раскрепощения инициативы как личной, так и общественной. В этом направлении работа производится, но это вопрос слишком сложный для обсуждения в настоящей статье.

BMECTO KOMMEHTAPUR

3-го марта (19-го февраля по старому стилю) исполнилось сто лет со дня, золотыми буквами вписанного в летопись русской истории. В этот день было провозглашено освобождение крестьян, событие, которого чаяли уже много десятилетий просвещенные русские люди, и которое открыло собою эпоху Великих Реформ. Все эти реформы представляют собой редкий в истории случай, когда правительство во-время увидело «руку на стене», совершило назревшие преобразования и тем предотвратило революцию. Великие реформы делались правительствами и в других случаях, напр., в виду осознанной необходимости поднять уровень культурной и экономической жизни, в особенности в виду угрозы со стороны врагов, натиск которых, при сохранении одряхлевшего строя нельзя было бы отразить. Таковы петровские реформы, финансовые реформы Витте, реформы Штейна и Гарденберга в Пруссии, после иенского разгрома. Этот фактор сыграл некоторую роль и в истории Великих Реформ, последовавших за проигранной Крымской войной; но это был лишь второстепенный фактор, что явствует из памятной фразы императора Александра Второго — лучше реформы сверху, чем революция снизу.

Это направляет мысль к пророческим словам Пушкина — «рабство падшее по манию царя». Конечно, есть историки, социологи и политические деятели, которые скажут, что если бы не вмешательство царя, рабство — я намеренно употребляю этот термин, ибо в России за последнее столетие своего существования крепостное право действительно выродилось в рабство — пало бы каким-либо иным способом. Но этим иным способом тогда могла быть только революция, которая легко приняла бы форму, опять-таки предсказанную Пушкиным: она стала бы «бунтом бессмысленным и беспошадным». Роль императора Александра II особенно наглядно проступает при сравнении его действий с нерешительностью Людовика XVI в аналогичном положении. Во Франции ко второй XVIII века стало ясно, что пережитки феодального строя, в частности остатки крепостничества, должны были пасть. И там

нашлись умные и либеральные государственные деятели, Тюрго и Неккер, которым Людовик поручил было произвести необходимые реформы; но оба раза король отступил под натиском придворных тунеядцев, которые уговорили его уволить обоих просвещенных министров и остановить реформы. В результате Людовик погиб на плахе, а феодальные пережитки были упразднены в порядке революции, которая потрясла Францию до самых основ. Революция осуществила свои «великие реформы», но произвела и много ненужных ломок, следы которых чувствуются до настоящего времени. Александр ІІ не уступил — и революция тогда миновала Россию.

Трудно гадать о том, что было бы, если бы не было покушения 1-го марта 1881 г., которое предотвратило «увенчанье зданья». Намечавшаяся тогда законосовещательная комиссия из земских деятелей могла бы эволюционно развиться в подлинную конституцию и во-время произвести новую серию реформ. А ведь по существу в России была и вторая серия великих реформ: созыв Государственной Думы, призванной к прямому участию в законодательстве, столыпинская аграрная реформа, реалистический подход к проведению всеобщего образованья, восстановленье и улучшенье судебных уставов, искаженных было за 25 лет реакции, распространенье земских учреждений на губернии, где их не было, принудительное страхованье рабочих от болезней и несчастных случаев и т. д. Много других реформ было намечено, но проведение их не состоялось. Конъюнктура была тогда иная нежели в 60-х годах: император Николай II не видел того, что увидел его дед; главные реформы были вырваны у него натиском революционных сил в революцию 1905 г., а дальнейшим шагам он не дал совершиться. Это еще раз подчеркивает личную роль императора Александра II в эпоху Великих Реформ.

Конечно, никакой монарх не может ничего сделать единолично. Великие реформы 60-х годов были проведены Александром II при посредстве либеральных элементов среди бюрократии, поместного дворянства и даже самой династии. Всюду эти деятели были в меньшинстве. Но Александр II склонил чашу исторических весов в пользу этого меньшинства, положив на нее огромный престиж царской власти, веками накопленный и тогда еще не растраченный. Перед этим престижем должны были склониться консервативные и реакционные элементы. А народ в ту пору еще безмолвствовал. Правда, за последние десятилетия перед реформой почти непрерывной чере-

дой шли крестьянские волненья; но не было еще силы, которая могла бы сплотить их в бурный революционный поток. Великие реформы состоялись в порядке, который историки называют просвещенным абсолютизмом. Поэтому Россия так чтила память царя-освободителя и той плеяды либеральных деятелей, которые сумели воплотить в дело его просвещенную мысль.



Это ставит перед умственным взором вопрос о сущности и роли русского либерализма. О нем в свое время написал статью покойный редактор «Нового Журнала» М. М. Карпович. Первоначально она появилась по-английски, а затем, в русской версии, под заглавием «Два типа русского либерализма» в кн. 60 нашего журнала. На нее ополчился в статье «Двоящийся образ русского либерализма» Н. Осипов, который еще в 1959 г. выступил с большой и интересной статьей «Credo русского либерализма» в сборнике «Мосты» (кн. 3). На мыслях Н. Осипова стоит остановиться не только потому, что онзатрагивает того, кто в течение 18 лет был душой «Нового Журнала», но и потому, что этот вопрос неразрывно связан с историей и предисторией Великих Реформ.

Н. Осипов повидимому любит парадоксы. Главный из них, выдвинутый им в обеих статьях, таков: «между русским конституционализмом и крепостничеством связь так же крепка, как между либерализмом и самодержавием». К сожаленью, Н. Осипов нигде не объясняет, как он понимает либерализм вообще, и ограничивается определеньем русского либерализма, приписывая ему такую формулу: самодержавие, общество (в смысле либеральных групп), реформы, при том даже радикальные. И не спрашивает себя: что же, разве и после освобожденья крестьян конституционалисты сохранили верность крепостничеству; и разве либералы после конституционной реформы 1905-6 г.г. сохранили верность самодержавию? Ведь если не сохранили — а они не сохранили — то тезис Осипова опровергнут фактами. К тому же, он как-то обходит молчаньем декабристов, которые хотели и конституции, и освобожденья крестьян — да и не одни они. Что после крестьянской реформы конституционализм сильно возрос и численно, и в удельном весе, Осипов конечно признает но это, он говорит, уже был не дворянский конституционализм, а демократический. Как всякий творец парадоксов, Н. Осипов не говорит, что конституционализм может быть и не дворянским, и не демократическим, в смысле признанья обязательности «четыреххвостки» и ответственности правительства перед палатой. Поэтому он и не может найти места для В. А. Маклакова (представителя одного из типов русского либерализма в статье М. М. Карповича). По словам Осипова, Маклаков стоит на почве старого земского либерализма, но отличается от земцев тем, что он и конституционалист. Смею уверить Н. Осипова в том, что таких непонятных ему субъектов в России было немало.

По словам Осипова просто нельзя понять, как в рамках одной партии могли ужиться столь различные типы, как Маклаков и Милюков, этот типичный радикал. Но соединенье в одну партию людей весьма различных настроений — явленье, постоянно повторяющееся, и при том обусловленное политической необходимостью. Если бы каждый оттенок общественного мненья отливался в особую партию, то число партий возросло бы до чрезвычайности, что иногда и происходит, но всегда влечет за собой пагубные последствия. В Латвии, на выборах, состоявшихся незадолго до переворота Ульманиса, конкурировало 27 партий, а в Аргентине один раз их было даже 42. А вот в Англии и Соединенных Штатах, где конституционализм как будто процветает, нормально бывает только две партии (если не считать полукомических партий вроде трезвенников). И вот в демократической партии С. Штатов мы найдем и южных реакционеров, и либералов (точнее, радикалов) с промышленного севера. Столь же крупные расхождения можно заметить между правым и левым флангом христианскодемократической партии в Германии и Италии.

Не удивительно поэтому, что многогранен и образ русского либерализма. Как подмечено американскими специалистами по «политической науке» (которой у нас и в помине не было), теперь либералами называют таких политических деятелей, которые стоят на платформе «государства благосостояния» и поэтому требуют вмешательства государственной власти в многообразные общественные отношения, тогда как сто лет тому назад либералами назывались те, кто стоял за принцип невмешательства государства, основанный на оптимистической гипотезе о гармонии интересов общества с интересами индивидов. Эта гипотеза была опровергнута ходом общественного развития за первые три четверти 19-го века, т. е. за период всё возраставшего влияния либерализма.

Но либерализм не погиб. В сущности он не может погибнуть, потому что составляет звено в гамме общественных идеалов, почти столь же естественной, как музыкальная гамма, основанная на простых отношеньях между длиной звуковых волн. Несмотря на всё разнообразие общественных идеалов, их можно расположить в линию, начиная с реакции (благо общества — в возврате к доброму старому времени), проходя через консерватизм (благо общества в возможно большей стабилизации настоящего), через либерализм (благо общества в постепенном развертывании освободительных реформ, с сохранением преемственности и порядка), через радикализм (благо общества в быстром развертывании освободительных и иных прогрессивных реформ, с сохранением по мере возможности порядка и преемственности) и кончая революционной идеологией, носители которой часто подсознательно обожествляют революцию и видят в ней очистительную жертву, приводящую к тому, что всем станет хорошо или во всяком случае много лучше.

От этих идеалов и соответствующих им настроений отдельных личностей надо отличать политические партии, т. е. общественные организации, всегда целеустремленные, направленные к приобретению или удержанию власти в видах реализации тех или иных идеалов. При этом, по принципу целесообразности, одна партия может выражать два смежных настроения — консерваторы идут заодно с реакционерами или с либералами, либералы с консерваторами или радикалами, радикалы с либералами или революционерами. Такой комбинацией либерализма с радикализмом была наша конституционно-демократическая партия, которая кажется чудовищной г. Осипову. Подобным же образом должны быть поняты те группировки (зачатки партий), которые легли в основу парадоксальных утверждений Н. Осипова: то были две различные формы сочетания конституционализма и либерализма.



От мыслей о прошлом, навеянных столетней годовщиной освобождения крестьян, перекинемся к мыслям о том будущем, которое наступит, когда отойдет в историю постигшее Россию лихолетье. Прежде всего вернемся к кронштадтскому тезису, выдвинутому Е. Петровым-Скитальцем в 59-й книге «Нового Журнала». Думаю, он мало кого убедил; но следует

признать его заслугу в том, что он опять поставил перед мыслящей частью русской эмиграции вопрос что будет дальше; и в частности, какой идеал мог бы побудить Россию к освободительным действиям и чем она может стать после их успеха. Обо всем этом много говорили в 20-х и 30-х годах, но потом забыли.

О кронштадтском тезисе, после появления основной статьи Е. Петрова-Скитальца и моего к ней юмментария (в кн. 60) появилось немало газетных статей и обстоятельная статья Н. Нарокова в кн. 62 «Н. Ж.». В этой статье автор прекрасно вскрыл коренную ошибку Е. Петрова-Скитальца, его убежденье в том, что коммунистическая революция в каком-то смысле была народной. Эта революция не была ни совершена, ни одобрена народом, что убедительно доказывается результатами выборов в Учредительное Собранье.

Слабость кронштадтского тезиса как политического лозунга для наших дней заключается в том, что кронштадтские повстанцы отнюдь не собирались преодолеть основную неправду коммунизма, его классовый, а не общенародный характер. Это подчеркнуто в статье Н. Нарокова. Весьма ценным добавленьем к ней является статья проф. А. Д. Билимовича «Еще раз о кронштадтском тезисе», появившаяся в газете «Русская Жизнь» 1-го дек. 1960 г. Автор статьи хорошо использовал подлинные документы, в частности, «Известия Временного Комитета матросов, красноармейцев и рабочих города Кронштадта», выходившие в дни восстанья, с 3-го по 16-е марта 1921 г. При чтении выдержек из них у беспристрастного человека не может остаться сомнений, что кронштадцы не собирались передать власть народу, а хотели только подправить ленинскую диктатуру пролетариата. И уже поэтому рекомендовать кронштадтский тезис России наших дней вряд ли можно. В частности, кронштадтцы начисто отвергали «Учредилку» (этот термин прямо употреблен в № 3 «Известий»), при чем свое отрицанье распространяли на всякое будущее учредительное собранье.

Но, может быть, народ всё-таки любил и любит советскую власть? Можно определенно утверждать, что этого никогда не было, а, значит, нет и сейчас, когда советская власть заклеймена своим сорокалетним сожительством с коммунистической партией. Это прямо вытекает из того ныне позабытого факта, что вплоть до начала 30-х годов в деревнях сельские советы играли лишь второстепенную роль, а первая принадлежала

пережиткам сельских сходов. За те годы советская печать постоянно возмущалась по поводу того, что сельские советы не смеют и шага ступить без предварительного одобрения сельским сходом, который созывался под флагом «общих собраний граждан», мимоходом допущенных советским законодательством. Иными словами, крестьянство продолжало доверять своей исконной «непосредственной демократии»; а тогда крестьянство составляло почти 80% всего населенья. При таких условиях строить программу на народной любви к советам не значит ли строить ее на песке.

**

Политические лозунги, по возможности привлекательные, всегда выдвигаются политическими деятелями. Спрашивается — не могут ли общественные науки выдвигать прогнозы, на которых можно было бы обосновывать осуществимые лозунги? Этот вопрос ставится в интересной статье проф. Г. К. Гинса, печатаемой в настоящей книжке «Н. Ж.».

Еще в начале 20-го века эта задача казалась вполне разрешимой. Тогда господствовала эволюционная теория. Руководствуясь объективными тенденциями развития, в которых выразилась почти независящая от человеческой воли эволюция, и проектируя их вперед, можно было, казалось, с уверенностью предсказать, что сбудется в данном обществе, и при том утверждать, что будущее окажется лучшим, чем настоящее, ибо эволюция, по тогдашним убежденьям большинства обществоведов, ведет к прогрессу.

Однако, уже к началу первой мировой войны такая уверенность поколебалась, а вслед затем и вовсе исчезла. Теория социальной эволюции, как основного закона развития, была опровергнута рядом солидных научных исследований. На некоторое время практически наиболее важная часть обществоведенья, социальная динамика, оказалась лишенной стержня. Теперь как будто начинают обрисовываться контуры новой, гораздо более сложной теории, по которой каждое общество подвергается ряду колебательных (отчасти и прямолинейных) процессов, в гораздо большей мере зависящих от человеческой воли, нежели это допускалось 50 лет назад. На такой зыбкой почве твердых прогнозов не построить, и многие социологи удовлетворяются указанием на несколько возможностей.

Вместо предсказаний, им приходится ограничиваться выставленьем условных предложений, указывающих, что вероятно случится с данным обществом, если возобладает та или иная из обозначающихся в нем тенденций. Применительно к России. это теперь часто делают социологи, в особенности американские. Этому вопросу посвящена последняя часть статьи Г. К. Гинса, который правильно подчеркивает взаимозависимость всех сторон общественной жизни, что часто делает трудно осуществимыми пожеланья отдельных групп населенья. Крестьяне хотят стать свободными и самостоятельными хозяевами. Но мы знаем, что простой раздел колхозов между дворами мог бы привести к катастрофе, ибо поделенную на малые хозяйства землю нечем было бы обрабатывать, так как всё сельско-хозяйственное оборудованье приноровлено к крупному хозяйству, а лошадей совершенно недостаточно для хотя бы временной замены сложных механических орудий простыми. Единственный исход — преобразованье колхозов в подлинные, свободные кооперативы. Но понимает ли это, поймет ли это в решительный момент крестьянская масса?

Другая трудность — как осуществить раскрепощенье крестьянства в условиях централизованного планового хозяйства? Проф. Гинсу рисуется передача части промышленных предприятий акционерным обществам, с распределением акций между государством, служащими и рабочими; это в сущности система, принятая (к сожалению без большого успеха) в Австрии. Данных о соответствующих настроеньях в общественных низах России у нас нет. Чего там повидимому жаждут, это свободы мелкой промышленности, розничной торговли и вообще всякой хозяйственной деятельности, непосредственно обслуживающей потребителя. Но и тут ставится вопрос о согласовании этих сфер деятельности с централизованным плановым хозяйством. Вопрос мог бы быть разрешен приблизительно так, как это было сделано в начале НЭП-а, при том с большим успехом.

К сожаленью, Г. К. Гинс ограничился условными прогнозами в сфере народного хозяйства. Стоит расширить его прогнозы за эту узкую сферу. Можно указать на широко распространенное желанье свободы мысли и ее проведенья в жизнь в сферах науки, литературы, искусств и информации, на ту веротерпимость, которую проявляют широкие круги общества несмотря на постоянное подхлестыванье их атеистическим кнутом, и на всеобщее требованье не ослабленья террора и про-

извола, а полного их уничтоженья. Но последний пункт немедленно ставит вопрос о политических формах, ибо хорошо известно, что с абсолютной властью произвол связан неразрывно. Но тут действительно пора поставить точку, ибо вопрос о политическом строе, который мог бы установиться в послебольшевицкой России, слишком сложен для обсужденья, и в статье Г. К. Гинса, — как он сам признает — и в настоящем комментарии.

Н. С. Тимашев

на темы дня

1. МОСКВА И ПЕКИН

Длиннейшее (28 журнальных страниц) «Заявление Совсщания представителей коммунистических и рабочих партий» вызвало множество откликов в западной печати. Можно, я думаю, без преувеличения сказать, что его комментировала каждая газета, уделяющая внимание вопросам международных отношений и, во всяком случае, каждая, следящая за событиями в коммунистическом мире. Это совершенно естественно, ибо «Заявление» было результатом совещания всех коммунистических партий, который ожидался с большим нетерпением. Несмотря на всю секретность, на отсутствие с коммунистической стороны даже сообщений о самом факте совещания, о нем все знали — знали, что оно происходит, что оно затягивается, что оно посвящено разбору разногласий внутри коммунистического лагеря или, как часто говорилось, борьбе между Москвой и Пекином — борьбе или, по меньшей мере, спору. Вполне естественно и то, что когда «Заявление» было опубликовано, комментаторы прежде всего старались установить, кто же победил в этом споре? Единодушия не было, и его нет до сих пор. Были высказаны, казалось бы, все возможные мнения: одни комментаторы видят в «Заявлении» победу китайских коммунистов, другие — победу Хрущева, третьи — компромисс — с различными оттенками: больше в пользу китайцев или больше в пользу Хрущева. Что может быть еще? И всётаки я остаюсь при «особом мнении». Думаю, что не было ни победы той, ни другой стороны, ни компромисса. И думаю, что в этом «особом мнении» нет ничего парадоксального.

Никто не победил, никто никому не уступил. Представители различных тенденций, различных политических линий, если воспользоваться английским выражением, согласились оставаться несогласными — «agreed to disagree». Обе стороны, то есть Китай и Советский Союз, Мао Цзе-дун и Хрущев, будут продолжать ту же политику, какую вели до сих пор,

при чем каждая сторона будет иметь возможность ссылаться на различные места «Заявления», где есть всё что угодно для обоснования любой коммунистической политики и нет ничего, что той или иной политике прямо противоречило бы. «Заявление» как будто демонстрирует полное единодушие, но в то же время и не связывает ни одной из сторон. Во многих случаях для обоснования различных политических мнений можно пользоваться одним и тем же местом «Заявления» в зависимости от того, на чем «ставить ударение». Так в «Заявлении» сказано, что «коммунисты всего мира единодушно и последовательно отстаивают мирное сосуществование, решительно борются за предотвращение войны... В условиях разделения мира на две системы единственно правильным и разумным принципом международных отношений является принцип мирного сосуществования государств с разным социальным устройством». Итак, все признают желательность мирного сосуществования, которое возможно потому, что хотя «война является постоянным спутником капитализма», но «фатальной неизбежности войны не существует». Однако «агрессивная природа империализма не изменилась» и «империализм несет серьезную опасность всему человечеству». «Американские империалисты стремятся создавать новые очаги войны в разных частях мира». С другой стороны, «за политику мирного сосуществования высказывается также определенная часть буржуазии развитых капиталистических стран, трезво оценивающая соотношение сил и тяжелые последствия современной войны».

Ставя ударение на одном из этих положений, можно выводить из него одну политику, ставя ударение на другом положении, можно выводить и другую политику. Китай может подкреплять свою политику непримиримой ненависти к США ссылками на то, что говорится в заявлении об агрессивной природе империализма и об особой зловредности американского империализма. А Хрущев может обосновывать свое «соглашательство» тем, что «часть буржуазии развитых капиталистических стран», а, стало быть, и американской, стоит за мирное сосуществование. Такому же анализу с аналогичными результатами можно подвергнуть и другие части «Заявления», относящиеся к другим спорным проблемам. Но, говоря откровенно, такой анализ меня не увлекает, и большой пользы от него я не жду. Одного примера достаточно. То, что текст «Заявления» допускает возможность, так сказать, «переставлять ударения», представляется мне достаточным указанием на то,

что соглашение об общей политической линии не было достигнуто и спорящие стороны согласились оставаться при своем несогласии. Но они, как показывает общее «Заявление», согласились и на общем идеологическом обосновании, из которого можно выводить и ту и другую конкретную политику. Если есть идеологические расхождения, то они не настолько глубоки, чтобы сделать невозможным такое общее идеологическое обоснование. Корни оставшегося непреодоленным расхождения надо искать в другом, а именно в той конкретной ситуации, в которой находится каждая из сторон. И поскольку, как мы увидим, Китай находится в ситуации, существенно отличной от той, в которой находится Советский Союз, известное политическое расхождение между ними естественно и неизбежно. И китайским и советским коммунистам это, наверное, было ясно и до совещания, созванного не для того, чтобы примирить непримиримое, и не только для того, чтобы продемонстрировать перед внешним миром полное единодушие (которому, кстати сказать, вряд ли кто поверит), а главным образом для того, чтобы выделить то общее, что действительно существует и в идеологии и в основных политических целях, и, вероятно, чтобы несколько сгладить некоторые слишком острые углы. Продолжительность совещания указывает на то, что и это удалось лишь с большим трудом.

За последние годы о разногласиях между Москвой и Пекином писалось очень много. Я, конечно, читал далеко не всё, но всё же достаточно, чтобы составить себе представление о различных «школах», образовавшихся в связи с этим вопросом. Крайностями были, с одной стороны, изображение разногласий, как чрезвычайно острых, грозящих дойти до разрыва (и даже до союза США и Советского Союза против Китая!), а с другой стороны — отрицание наличности разногласий вплоть до утверждения, что слухи о них распространяются из Москвы, чтобы побудить американскую политику к уступкам с целью усилить позиции Хрущева против китайских «сталинистов» и их советских сторонников. Общей чертой если не всех — чего я утверждать не могу, не читав всего, — то большинства комментариев было то, что они оперировали цитатами из речей и статей, не считаясь, или недостаточно считаясь, с тем различием ситуаций, о котором я только что упомянул. Между тем это различие настолько существенно, что если бы Хрущев и Мао Цзе-дун обменялись местами, то Хрущев в Пекине вел бы не ту политику, которую он ведет в Москве, а

Мао Цзе-дун вел бы в Москве политику, более близкую к нынешней хрущевской.

Не будучи специалистом по китайским делам, я могу говорить, только основываясь на бесспорных фактах, для суждения о которых не требуется никаких специальных познаний, но которые сами по себе являются совершенно убедительными. Это прежде всего тот факт, что развитие коммунистического Китая соответствует не теперешней, а гораздо более ранней стадии советского развития. Соответствие, конечно, не означает тождества, и различий очень много. Тем не менее, можно предполагать, что психология китайских коммунистов ближе к психологии советских коммунистов соответствующего периода, чем к их психологии наших дней. Во время антианглийских демонстраций в середине 20-х годов в Москве можно было видеть плакаты с надписью «Всем лордам по мордам». Это совсем не соответствует теперешнему московскому «стилю», но нечто подобное иностранные наблюдатели видели на антиамериканских демонстрациях в Китае. Только что начав и при том в очень трудных условиях процесс интенсивной индустриализации и борьбу за резкое повышение сельскохозяйственной продукции, китайские коммунисты раздувают внешнюю опасность, чтобы побуждать трудящихся к сверхчеловеческим усилиям, чего советские коммунисты уже не делают и не могут делать, поскольку они, наоборот, внушают представление о несокрушимом могуществе Советского Союза. Такими фактами объясняется, по меньшей мере, различие в «стиле» политики, как внутренней, так и внешней. Но для определения конкретных задач внешней политики основное значение имеет отношение к Америке, далеко не одинаковое у Пекина и Москвы.

По случаю своего вступления в должность президента США Кеннеди получил подписанную Хрущевым и Брежневым поздравительную телеграмму, в которой была выражена надежда на «коренное улучшение отношений между нашими странами». В тот же день (21 января), когда был опубликован текст этого приветствия, в Пекине было опубликовано заявление Пленума ЦК китайской коммунистической партии. Китайский ЦК безоговорочно одобрил Заявление Совещания коммунистических партий, но в то же время заклеймил США, как «главного врага народов всего мира». Выходит, что Хрущев, также полностью одобряющий Заявление Совещания коммунистических партий, хочет улучшения отношений с «глав-

ным врагом всех народов». Это — наиболее свежая (но далеко не единственная) иллюстрация того, насколько различно отношение к Америке в официальной линии советских и китайских коммунистов. И это не объясняется тем, что советская линия является более лицемерной, хотя недостатка в лицемерии у советских коммунистов нет. В данном вопросе — расхождение по существу, обусловленное именно различием ситуаций, и поэтому расхождение не идеологическое, а конкретно политическое.

По отношению к Америке основная установка, которую можно характеризовать, как идеологическую, одна и та же и у советских и у китайских коммунистов. И для тех и для других Америка, это самая мощная из капиталистических стран, находящаяся в высшей — и поэтому «последней» — стадии капиталистического развития, главный оплот «мирового капитализма». И те и другие хотят, по выражению Хрущева, «похоронить» капитализм — как и противники коммунизма, конечно, хотели бы «похоронить» коммунизм. Непримиримое противоречие между двумя системами признается и китайскими и советскими коммунистами. И те и другие исходят из убеждения, что это противоречие будет разрешено победой коммунизма в мировом масштабе. Насколько искренне проявляется это убеждение при постановке конкретных политических задач, вопрос другой. В некоторых случаях это очень сомнительно. Но принципиальное единство основной — «конечной» — цели несомненно. И это единство делает очень мало вероятной перспективу возникновения действительного конфликта, перехода от хотя бы искусственно подогреваемой дружбы к обоюдной враждебности и к разрыву союза, связывающего обе стороны. Во всяком случае, это не перспектива для предвидимого будущего, и строить на ней свою политику было бы для западных держав большой ошибкой.

Чем же характеризуются позиции советского и китайского коммунизма в зависимости от ситуации каждого из них в настоящее время? Центральным пунктом, как я уже сказал, является отношение к США. Между советскими и американскими целями, несомненно, существует глубочайший и непримиримый антагонизм, прежде всего вследствие того, что обычно (и по-моему неправильно) называют стремлением Москвы к мировому господству. О мировом господстве Советского Союза, вероятно, мечтал Сталин, который мог воображать себя диктатором всего мира. Теперь о таком мировом господстве

не может быть речи хотя бы уже потому, что Москва не может и мечтать о том, чтобы господствовать над Китаем, потенциально самым могущественным членом коммунистического блока. Правильнее говорить о торжестве коммунизма в мировом масштабе или, если уж пользоваться выражением «мировое господство», то о мировом господстве не Советского Союза. а коммунизма. В этом отношении цели Советского Союза и коммунистического Китая совпадают, и опять-таки в этом отношении направленный против Америки антагонизм для них общ. Но с советской стороны антагонизм по отношению к Америке является значительно менее острым и менее непосредственным, чем с китайской. В настоящее время нет таких спорных пунктов, которые могли бы быть основанием для острого конфликта между США и Советским Союзом. Я говорю это, не забывая о Берлине. Я лично не считаю вероятным возникновение острого конфликта по вопросу о Берлине. Но здесь мне достаточно отметить, что для Советского Союза этот вопрос далеко не имеет того значения, какое имеет для Китая вопрос о Тайване (Формозе). Имеются серьезные разногласия по вопросам, связанным с проблемой разоружения, но это болезнь скорее хроническая, чем острая. Хронической болезнью можно считать и окружающие Советский Союз американские базы. Конечно, советское правительство добивается и будет добиваться их ликвидации. Но, во-первых, оно знает, что американское правительство не намерено воспользоваться ими для внезапного нападения. А, во-вторых, всё более сомнительной представляется возможность использовать их в случае войны, которая к тому же в данное время не представляется вероятной. Можно было бы перебрать все многочисленные спорные пункты меньшего значения, чтобы убедиться, что ни один из них не представляет собой непосредственной остроты, угрожающей вызвать серьезный конфликт между США и Советским Союзом.

Иначе обстоит дело в отношениях — формально не существующих — между США и коммунистическим Китаем, который фактически находится в постоянном остром конфликте с США. Я уже упомянул Тайвань или, как мне привычнее говорить, Формозу. Для коммунистического Китая это — открытая рана. Китайское коммунистическое правительство считает Формозу частью Китая, чем ее, без сомнения, считало бы и всякое другое китайское правительство. Так на нее смотрит

и правительство Чан Кай-шека — с той только разницей, что Пекин хочет присоединить Формозу к Китаю, а Чан Кай-шек хочет присоединить Китай к Формозе. Если бы это был только конфликт между коммунистическим правительством и правительством Чан Кай-шека, то этот конфликт был бы сравнительно просто разрешен вследствие колоссального превосходства сил на стороне коммунистического правительства. Но за Чан Кай-шеком стоит Америка. Формоза остается отделенной только благодаря тому, что она защищена от коммунистического Китая вооруженными силами США. Более того, американское правительство до сих пор настаивает на фикции, что правительство Чан Кай-шека является законным правительством Китая. Благодаря этой фикции Формоза занимает место в Объединенных Нациях, как одна из пяти великих держав, постоянных членов Совета Безопасности, и американское правительство не перестает прилагать все усилия, чтобы воспрепятствовать изменению этого положения, ненормальность которого признается почти всеми другими государствами.

Я считаю эту американскую политику глубоко ошибочной, но критика ее выходит за пределы настоящей статьи. Как бы эту политику ни оценивать, несомненен факт, что она является главной причиной жгучей ненависти, которую питают к Америке китайские коммунисты. В их глазах Америка виновата в том, что Формоза остается отделенной от континентального Китая, и в том, что Китай не может занять принадлежащего ему по праву места в Объединенных Нациях. И это уже является достаточным основанием для различия в отношении к Америке между китайскими и советскими коммунистами — основанием гораздо более существенным, чем возможное расхождение в оттенках коммунистической идеологии. Я нахожу подтверждение этого в интервью, которое — еще до Московского совещания коммунистических партий — Чу Эн-лай дал американскому журналисту Эдгару Сноу (Look, от 31 января 1961 г.). Председатель китайского правительства признал наличность разногласий между Пекином и Москвой, заметив, однако, что правильнее говорить о некоторых «несходствах»*. В качестве конкретного примера он указал именно на те вопросы, о которых я только что говорил. «Советский Союз, — сказал Чу Эн-лай, — находится в Объединенных Нациях, а Китай нет. Вследствие этого действия обоих

^{*} По его словам, не "differences", a "dissimilarities."

правительств во многих отношениях не могут быть одинаковы. И Китай и Советский Союз против «двух Китаев», оба настаивают, что клика Чан Кай-шека не представляет Китая, что только Новый Китай может представлять 650 миллионов китайского народа». Но «представители клики Чан Кай-шека остаются в Объединенных Нациях. Представители Советского Союза вместе с ними участвуют в заседаниях Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и других органов. Китай же не будет участвовать ни в каких заседаниях или организациях, которые включают клику Чан Кай-шека. Если бы Китай участвовал, то это создавало бы ситуацию «двух Китаев», которую мы отвергаем. Это пример расхождения вследствие различия в ситуации обеих стран (Китая и Советского Союза).»

В предназначенном для опубликования интервью Чу Энлай, конечно, не критикует. Он спокойно констатирует «несходство» ситуаций и соответственно «несходство» позиций. Но из его примера вытекает, что Советский Союз фактически мирится с фикцией «двух Китаев», которую «Новый Китай» категорически отвергает. И указание на то, что представители Советского Союза сидят за одним столом с представителями «клики Чан Кай-шека», уже само по себе является упреком. Можно думать, что китайские коммунисты предпочли бы, чтобы Советский Союз отказался участвовать в Объединенных Нациях совместно с «кликой Чан Кай-шека» и ультимативно поставил бы требование: или мы или Чан Кай-шек. Поскольку же Чан Кай-шек находится под американским покровительством, желание Хрущева «улучшить отношения» с американским правительством является, с точки зрения Китая, препятствием для оказания эффективного давления на Америку. Китайских коммунистов раздражают и «совещания на высшем уровне» и переговоры о разоружении без участия Китая. А кроме того, Китай наталкивается на противодействие Америки всюду, где он хочет установить свое господствующее влияние — во всей Корее, во всем Вьетнаме, и шаг за шагом во всех юго-восточных азиатских странах.

Москва не может не относиться с опаской к этой китайской политике, которая грозит вовлечь Советский Союз в серьезный конфликт из-за какого-либо вопроса, не имеющего для него жизненного значения. Хрущев старался оказывать на китайцев сдерживающее влияние и, возможно, что его влияние предотвратило возникновение вооруженного конфликта из-за Формозы. Вполне правдоподобны сообщения, что Мос-

ква не только не содействует изготовлению в Китае атомного и термоядерного оружия, но хотела бы, чтобы до этого дело не дошло. Атомное оружие в китайских руках было бы — и, вероятно, скоро будет — опасным для Москвы не потому, что там боятся, что оно может быть направлено против Советского Союза. Такой перспективы нет. Но Москва может бояться, что Китай не будет проявлять такой же осторожности в пользовании атомным оружием, которую проявляют те государства — включая Советский Союз — которые это оружие уже имеют, но держат его в резерве.

К приведенным данным можно прибавить и, несомненно, существующее в отсталых странах соперничество между советскими и вообще европейскими коммунистами с одной стороны и китайскими с другой. Но это особая тема, требующая и особого рассмотрения. Я думаю, что сказанного выше достаточно, чтобы убедиться в наличии конкретных политических оснований для разногласий между советскими и китайскими коммунистами.

2. ХРУЩЕВ НА ЯНВАРСКОМ ПЛЕНУМЕ

В январе почти одновременно были опубликованы две речи Хрущева — доклад о Совещании коммунистической партии и длиннейшая речь по вопросам сельского хозяйства на Пленуме ЦК советской коммунистической партии. Нужно запастись большим терпением, чтобы одолеть обе эти речи. Но потраченные усилия вознаграждаются. Сопоставление обеих речей уже само по себе представляет большой интерес, проливая яркий свет на личность Хрущева и на основные мотивы его политики. Доклад о Совещании очень скучен. В нем есть интересные места, но они окружены назойливым повторением банальных коммунистических утверждений, которые выдаются за «глубокий анализ» современности. Примеров приводить не буду. Надеюсь, что никто на меня за это не посетует. Но вот что любопытно и, как я думаю, характерно для Хрущева. Он сообщает, что ЦК КПСС «считал своим долгом информировать мировой коммунистический форум о деятельности нашей партии и ознакомить его с нашими ближайшими перспективами». И под этим предлогом Хрущев довольно долго говорит на советские темы, предвосхищая в некоторых пунктах то, что он позднее говорил на Пленуме ЦК. Вот одно такое место: «...мы, видимо, не будем сейчас проводить политику развития черной

металлургии до пределов возможности. Очевидно, мы перебросим часть капиталовложений в сельское хозяйство и легкую промышленность. Нельзя строить коммунизм, только предлагая машины, черные и цветные металлы. Надо, чтобы люди могли хорошо покушать, одеться, иметь жилье и другие материальные и культурные условия. Это не пересмотр нашей генеральной линии, а разумное использование наших материальных возможностей». Это не просто информация, предназначенная для «международного форума». Так Хрущев, как будто в скромной форме, с разными «видимо» и «очевидно», обычно возвещает свою новую идею, в сущности свое новое решение. И на Пленуме Центрального Комитета это стало решением партии и фактически законом.

Мысли, высказанные в этой, «советской» части доклада были и в речи Хрущева на Пленуме. Но в отличие от скучного доклада речь на Пленуме отличалась живостью и даже «своеобразным блеском». Тут перед нами Хрущев — в своей стихии: хозяин в своем хозяйстве. Он говорил не только перед Пленумом, но перед массовым собранием, где кроме членов Центрального Комитета присутствовали «приглашенные», множество разного рода работников сельского хозяйства в широком смысле слова — от доярок до ученых-академиков. Речи Хрущева предшествовали пятнадцать докладов (от всех отдельных республик) и длинные прения, в которых выступали десятки участников собрания. Читая отчет о заседаниях Пленума, я не мог не сравнивать Хрущева с хозяином, слушающим доклады своих приказчиков, их предложения, пожелания, жалобы, а иногда и покаянные признания. Хрущев то и дело прерывал ораторов, исправлял и дополнял, одобрял или порицал, доходя почти что до ярости, когда он, например, бичевал украинцев Кириченко и Кальченко (Председателя Совета Министров Украинской республики), и до требований исключения из партии и предания суду. К тому же можно предполагать, что в печатном тексте кое-что сглажено и смягчено. Обычных в коммунистическом многословии общих мест в речи сравнительно мало. Если она чем-либо утомляет, то не повторением мнимых истин мнимого «марксизма-ленинизма», а множеством деталей практического характера и подавляющим обилием цифр. При обсуждении сельского хозяйства Хрущев способен обсуждать всё, что угодно, — и проблемы большого принципиального значения и такие вопросы, как например о наиболее выгодном весе, до которого нужно откармливать свиней.

По сравнению с этим фейерверком доклад о Совещании коммунистических партий не может не показаться крайне бледным. Но наиболее знаменательный контраст между обеими речами лежит в другой плоскости. В докладе Хрущев говорит о достижениях в тоне торжествующего оптимизма лишь с немногими предостерегающими оговорками. В речи на Пленуме достижения занимают сравнительно скромное место и тонут в потоке страстной и раздраженной критики неудач, недостатков и злоупотреблений. Видимо, Хрущев основательно подготовился к этому разгрому. Из доклада Полянского на том же Пленуме мы узнаем о двух неопубликованных документах и двух выступлениях Хрущева, о которых не было упоминаний в печати. Как говорил Полянский, «в период подготовки к настоящему Пленуму наша партия получила документы огромного политического и народнохозяйственного значения. Я имею в виду письмо Никиты Сергеевича Хрущева в ЦК КПСС по важнейшим вопросам сельского хозяйства, его выступления на совещании первых секретарей ЦК компартий и председателей Советов Министров союзных республик (и) на совещании по вопросам орошения, особенно тезисы его выступления на настоящем Пленуме». Этой подготовкой, вероятно, объясняется и неожиданное для непосвященных перенесение Пленума с декабря на январь. Совещание коммунистических партий закончилось лишь в начале декабря, и в течение месяца Хрущев был настолько занят участием в этом Совещании, что вряд ли мог посвящать достаточно времени вопросам, подлежащим обсуждению на Пленуме. Кроме того из отчетов о Пленуме мы узнаем, что его письмо в ЦК и тезисы обсуждались в партийных организациях, что также требовало времени. Это, конечно, догадки, но, говоря о том, что происходит в Советском Союзе, трудно обойтись без такого «гипотетического» элемента.

Я позволю себе продолжить и расширить свое гипотетическое толкование. В течение довольно долгого времени Хрущев проявлял большую активность в области внешней политики, совершил ряд поездок в другие страны и провел необычно много времени за пределами Советского Союза, а по Союзу разъезжал сравнительно мало. Вполне законно предположить, что за это время он не так тщательно следил за тем, что делалось в сельском хозяйстве страны. Если нельзя сказать, что он совсем отошел от руководства сельским хозяйством, то вряд ли можно сомневаться, что его руководство было не постоянным и не столь интенсивным — пользуясь любимым советским

выражением, менее «бдительным». Это можно было заключить уже по его речи на Пленуме в декабре 1959 года, в которой было гораздо больше восхваления достижений, чем критики, очень много предложений награждать орденами и медалями, но только одна резкая атака — против первого секретаря Казахстана Беляева, которая позволяла ожидать более или менее сурового наказания. По острому в то время вопросу о колхозсоюзах Хрущев явно отступил перед возражениями Мацкевича (теперь уже не министра сельского хозяйства) и сам ничего определенного не сказал: «мы обменивались в ЦК мнениями по этому вопросу и решили не создавать пока специальных органов типа колхозцентра... Видимо, колхозцентр вновь создавать не следует, но о межколхозных организациях в районах надо серьезно подумать...» И это всё. Никакой аргументации. Обычно Хрущев так лаконично не говорит.

В декабре 1959 года Хрущев не обнаружил никаких признаков тревоги и не сделал хотя бы намека на необходимость каких-либо далеко идущих реформ. Между тем основания для того и для другого были уже тогда, а не появились лишь за последние месяцы 1960 года. Очевидно, тогда он их не видал, а увидел лишь много позже — в особенности когда выяснились неудовлетворительные итоги сельскохозяйственного года, и когда Хрущев вернулся домой после нескольких недель бурной активности в Генеральной Ассамблее Объединенных Наций. После ознакомления с положением, у него могло быть примерно такое чувство: вот что творится без хозяйского глаза. И он мог почувствовать себя прежде всего хозяином, а не дипломатом и не пророком коммунизма, хотя он, конечно, не отказывается и от этих ролей. Увидев, если выражаться образно, вместо благоустроенного скотного двора авгиевы конюшни, Хрущев решил их вычистить. В связи с этим он и задумался над недостатками всей системы управления сельским хозяйством и решил провести кое-какие реформы, возможное значение которых можно будет оценить, только когда они будут облечены в конкретно разработанную законодательную форму. Пока же они лишь намечены в общих чертах. В том, что все предложения Хрущева будут приняты, можно было не сомневаться. Пленум ЦК поступил очень просто, постановив «одобрить изложенные в записке товарища Н. С. Хрущева в ЦК КПСС, в тезисах его выступления и в выступлении на настоящем пленуме ЦК мероприятия, определяющие главные направления и конкретные задачи дальнейшего развития сельского хозяйства». Словом: пусть всё будет так, как того хочет Никита Сергеевич.

Но что же всё-таки произошло? Что так взволновало Хрущева? Итоги истекшего сельскохозяйственного года оказались неудовлетворительными. Но разве в сельском хозяйстве недостаточные успехи одного года дают основание для особой тревоги? Хрущев сам же отметил, что последние два года «были неблагоприятными для сельского хозяйства, так как сложились довольно трудные климатические условия». Результаты предыдущего года были еще менее благоприятными, но это не вызвало у Хрущева такой же бурной реакции. На последнем Пленуме, прерывая ораторов, Хрущев требовал, чтобы они не сваливали на погоду то, в чем сами виноваты. Он явно считает да и говорит, что при тех же климатических условиях результаты могли бы быть значительно лучше, и главное свое внимание уделяет вредному влиянию других факторов. В печатном тексте его речи первый раздел озаглавлен «Производство сельскохозяйственных продуктов должно опережать спрос населения». И дальше он говорит о том, что производство не только не опережает спроса, но от него отстает. По его словам, сельское хозяйство «имеет крупные успехи, но надо признать, что оно развивается еще не такими высокими темпами, как промышленность, не поспевает за быстрым ростом нашей индустрии, идет как бы не в ногу... Хотя и за последние два года мы имеем некоторый рост производства сельскохозяйственных продуктов, но этот рост не может нас удовлетворить, так как он не соответствует возросшим потребностям народа. А производство некоторых продуктов даже значительно отстает от заданий семилетнего плана. Между тем, некоторые руководители успокоились, видимо, считая, что уже достигли потолка, а на отдельных работников имеющиеся успехи действуют даже разлагающе».

В этом месте Хрущев наиболее сжато формулировал главные мотивы, которые проходят через его речь и через те замечания, которыми он прерывал выступления других ораторов. Это своего рода две линии атаки — одна против господствовавшей до сих пор ориентации экономической политики, другая против «некоторых» руководителей, которых видимо, имеется совсем немало: «некоторые» и «отдельные», это, судя по выпадам самого же Хрущева, еще очень смягченные выражения. Что касается направления экономической политики, то тут соблазнительно охарактеризовать позицию Хрущева

формулой: «назад к Маленкову». На это, не называя Маленкова, Хрущев отвечает, что изменилось положение, и то, чего нельзя было сделать раньше, можно и нужно сделать теперь, когда «страна располагает возможностями для более полного удовлетворения материальных и духовных запросов населения». Хрущев возвещает отказ от принципа преимущественного развития тяжелой промышленности: «чтобы выжить в капиталистическом окружении, не дать врагам смять наше социалистическое государство, мы отдавали все силы созданию тяжелой промышленности. Сейчас совсем иное положение. Наша Советская страна создала могучую современную промышленность... Оборона Советской страны надежна». Конечно, «надо всемерно развивать черную металлургию, машиностроение, все отрасли тяжелой индустрии, потому что без этого нельзя дальше двигаться вперед. Но мы не можем допускать отставания в развитии сельского хозяйства и промышленности, производящей средства потребления». Практический вывод уже сделан: средства, которые накапливаются благодаря перевыполнению планов, направляются на развитие промышленности средств потребления и сельского хозяйства. Тут Хрущев обращается — но в мягкой форме — к очевидно имеющимся сторонникам прежней ориентации: «я понимаю, что аппетит, как известно, приходит во время еды, и теперь у некоторых наших товарищей развился аппетит, чтобы дать стране побольше металла. Это хорошее стремление, если при этом не наносится ущерба другим отраслям народного хозяйства... Давайте не увлекаться, чтобы не создать диспропорцию в развитии экономики». Кстати сказать, «создавать» эту диспропорцию не приходится: она существовала всё время и за послесталинские годы не без вины самого Хрущева, который и на этот упрек возразил бы, что положение изменилось.

Но если Хрущев так мягко возражает тем, кто «увлекаются» тяжелой промышленностью, то он беспощадно резок в своих нападках на «некоторых руководителей». Он приводит так много примеров бесхозяйственности и злоупотреблений, что останавливаться на них в этой статье нет никакой возможности. Отдельные случаи и не так важны. Конечно, было бы очень интересно знать, какую часть всех руководителей составляют те «некоторые» или «отдельные» руководители, которые или «успокоились» или даже «разложились», но данных для такого подсчета у нас нет. Серьезное политическое значение имеет вопрос, против какой категории советских руко-

водителей направлена атака Хрущева, заставляющая ожидать перемещений, репрессий и «чисток» (хотя бы и не сталинского образца). Во время дискуссии Хрущев, прервав секретаря Горьковского обкома Ефремова, сказал следующее: «Все докладывают о росте производства продуктов сельского хозяйства. Рост есть и рост значительный, но только бюрократы могут успокоиться на этом, чтобы иметь легкую жизнь. Бюрократы могут рассуждать так: если у нас еще нехватает продуктов сельского хозяйства для того, чтобы удовлетворить спрос населения, то, следовательно, нужно искусственно задержать рост заработной платы. Но это не наш путь, этим путем мы не пойдем. Этот путь бюрократов, которые не хотят использовать имеющиеся возможности и приложить усилия для увеличения производства сельскохозяйственных продуктов». После этой реплики напечатано: «аплодисменты». Выпад против бюрократов нашел сочувственный отклик по крайней мере у части собрания. Впрочем, чтоб не выдать себя, вероя гно, аплодировали и «бюрократы».

Но кто же они, эти бюрократы, на которых обрушился Хрущев? Вспомним, что и перестройка управления промышленности в 1957 году включала мероприятия, направленные против бюрократов. Но тогда Хрущев вел борьбу против бюрократии хозяйственных министерств и, так сказать «чистых» хозяйственников в различных управлениях предприятиями. Этой бюрократии он противопоставил партийные органы, в управление которых фактически перешло всё хозяйство страны. Теперь во всех отраслях хозяйства за успехи или неуспехи, промахи и злоупотребления отвечают партийные секретари вплоть до первых секретарей союзных республик. Бюрократы, против которых Хрущев теперь повел борьбу, принадлежат к бюрократии партийной.

Отдельные жертвы были раньше. После декабрьского Пленума 1959 года был снят с поста первый секретарь Казахстана Беляев, на которого Хрущев резко напал на Пленуме. В мае из состава Президиума был выведен не только Беляев, но и (по оставшимся неизвестными причинам) Кириченко, потерявший также пост секретаря, заведывавшего кадрами. Кириченко — бывший первый секретарь Украины, партийный аппарат на Украине полон его ставленниками. На последнем Пленуме Хрущев сильнее всего нападал на неполадки на Украине, лично на Кириченко за прошлое, и особенно яростно на теперешнего председателя Совета Министров Украины

Кальченко¹. Удаление Кириченко из Президиума и секретариата ЦК партии можно — гипотетически — объяснить тем, что Хрущев уже тогда намеревался почистить партийный аппарат и в особенности на Украине, но наталкивался на сопротивление со стороны Кириченко. Чтобы осуществить чистку, которую Хрущев сейчас вероятно считает еще более необходимой, ему нужно иметь вполне надежного секретаря, ведающего партийными кадрами. Но, когда Хрущев проводил перестройку управления промышленности, он мог противопоставить бюрократии министерств и хозяйственников сплоченные ряды партийных секретарей, заинтересованных в усилении их положения. Это, кстати сказать, очень усилило положение самого Хрущева в партии и помогло ему справиться и расправиться с оппозиционным блоком, получившим название «антипартийной группы». Но кого же он может теперь противопоставить партийным бюрократам? Ведь другой партии нет. Об ее организации Хрущев, конечно, и не думает.

Хрущев апеллирует к авторитету народа: «наш народ имеет все основания рассчитывать на удовлетворение своих возросших материальных и духовных потребностей», «если мы... допустим нарушение нормальных пропорций, то не оправдаем доверия народа», «народ требует от нас, чтобы мы смотрели вперед», «если мы так легко будем брать обязательства и не выполнять, кто же нам верить будет, что же это за партия, в которой состоят болтуны... Кому нужны такие обязательства. которые не выполняются? Ведь это же обман партии и народа». В других местах он говорит, если не о народе, то о «людях», что, конечно, то же самое. Не могу не привести одного особенно красочного места: «Все знают, что пища во многом определяет и настроение людей. Во время войны, когда бывало приезжал какой-нибудь инспектор и спрашивал о настроении в части, ему нередко советовали: «Спросите у повара, и он верно скажет». Если хорошее питание, то и настроение хорошее». И, обращаясь к Буденному: «Правильно, Семен Михайлович?» Буденный: «Правильно, Никита Сергеевич!». Это уже совсем как в «Трехгрошевой опере»: «сначала жратва, а потом мораль»². А говоря о том, что «следует повысить материаль-

¹ Через неделю после всесоюзного Пленума Хрущев поехал в Киев, но я пишу статью, не дождавшись отчета об его выступлении на Пленуме Украинской компартии.

²"Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral."

ную заинтересованность», Хрущев добавил: «Только на моральном факторе далеко не уедешь... Надо, чтобы человек видел, чувствовал, что такое материальный стимул».

Нет ничего нового в той фикции, что советская власть является властью народной, творящей волю народа и черпающую свою силу в доверии народа. Но на этот раз Хрущев не просто по привычке повторяет общую для всех представителей власти фикцию. Соответствующие места его речи нужно рассматривать в связи с его намерением произвести чистку в рядах партийной бюрократии. Конечно, он не думает о прямом волеизъявлении народа, как орудии против партийной бюрократии. Для того понадобилось бы установление организованных путей для такого волеизъявления, то есть, демократия. Этого Хрущев делать не собирается. И уже конечно он не думает о том, чтобы призывать народ к восстанию против партийной бюрократии. Я думаю, что он хочет опираться на настроения, которые не только широко распространены в населении вне партии, но проникли и всё больше проникают и в партию. Он хочет опираться на одну часть партийного аппарата против другой. Конечно, «народ» хочет более полного удовлетворения его потребностей. Но этой общей формулой нельзя ограничиться. Именно тут можно применить выражение «аппетит приходит во время еды». По мере улучшения условий жизни, желание лучшего не ослабевает, а усиливается. И это желание не останавливается за порогом партии, куда его вносит главным образом новое, более молодое поколение, удельный вес которого в партии неизбежно повышается. Показателем снабжения населения является розничная торговля. Ее физический объем (то есть учитывая снижение цен) повысился в 1959 по сравнению с 1952 (последним сталинским) годом на 120 процентов, то есть больше чем вдвое³. В 1960 году он увеличился еще приблизительно на 11 процентов. Эти цифры настолько увязываются со всеми другими статистическими данными, что нет никаких оснований подозревать сколько-нибудь грубое преувеличение. Казалось бы, люди должны были чувствовать себя очень счастливыми. Но этого нет. Вопервых, повышение это исходит от крайне низкого уровня, и поэтому оставляет многие потребности весьма недостаточно

⁸ Сельская торговля возросла при этом почти так же, как городская. За тот же период (но без учета снижения цен) городская торговля выросла на 83, а сельская на 82,4 процента.

удовлетворенными. Во-вторых, чем более население удовлетворялось количественно, тем более требовательным становилось оно по отношению к качеству, улучшение которого еще очень отстает от количественного роста. В своей речи Хрущев требовал, например, повышения не только производства картофеля но и улучшения его качества: «нельзя терпеть такое положение, когда в городах и рабочих поселках трудящиеся... предпочитают покупать картофель в 2-3 раза дороже (чем в государственном магазине). На рынке картофель отборный, а в некоторых магазинах он хотя и дешевый, но хуже по качеству». Это, кстати сказать, интересное показание о преимуществе личных хозяйств по крайней мере для некоторых отраслей сельского хозяйства. И картофель далеко не является исключением. Отовсюду раздаются жалобы на низкое качество в особенности промышленной продукции предметов потребления.

Но, насколько я могу судить (и умозаключать) в настроениях населения можно уловить еще один психологический мотив, который должен иметь большое значение. Хрущев настаивал на необходимости выполнять обязательства. Некоторые его замечания по существу сводились к тому, что нельзя кормить людей обещаниями. А сколько времени их этим кормили! Дедов заставляли страдать ради счастья их внуков, отцов ради счастья их детей. Теперешнее молодое поколение это внуки страдавших ради них дедов и дети страдавших ради них отцов. Не настало ли время для осуществления обещанного счастья? При Сталине об этом нельзя было и мечтать. Именно улучшение, бывшее после смерти Сталина, сделало более конкретным желание жить еще лучше, и к тому же это желание подкрепилось более доступным теперь сравнением с положением в других странах. Можно ли сомневаться, что такое настроение есть и среди молодого партийного поколения? Ведь это тоже внуки страдавших дедов и дети страдавших отцов. И можно по крайней мере предположить, что Хрущев понимает значение проникновения этого поколения в партийный аппарат, и хочет опереться на него против части безнадежно обюрократившихся аппаратчиков.

Л. МАРТОВ (Ю. О. ЦЕДЕРБАУМ)

«Признаюсь, я все больше считаю ошибкою самое номинальное участие в этой разбойной шайке»... (Из письма Мартова к Аксельроду 3. IX. 1908 г.)

Среди деятелей Февральской революции, имена которых неразрывно с нею связаны, Мартов стоит особняком. Это одна из трагических фигур в исторической трагедии «Февраля». Еще в Цюрихе до отъезда в Россию Мартов поставил «Февралю» свой «диагноз»: «или революция убьет войну, или война убьет революцию», а добравшись наконец в мае до Петрограда, он весь короткий «век» февральской революции с неустанной страстью боролся за первый исход. За ним не пошла не только революция с её разными по целям и настроениям вождями, но не пошла и его собственная меньшевистская партия, признанным вождем которой он был и остался с самого возникновения меньшевизма. Мартов в конце концов победил в партии, его идеи и тактика были приняты её большинством, но это было уже при агонии «Февраля», вскоре растоптанного диктатурой Ленина. Трагедия Мартова отражала и трагедию российской социал-демократии.

Юлий Осипович Цедербаум — Л. Мартов — родился 24-го ноября 1873 г. в Константинополе, где отец его служил представителем Русского Общества Пароходства и Торговли. Но в связи с русско-турецкой войной Цедербаум вынужден был покинуть Турцию и в 1878 г. его семья переселилась в Одессу. Будущему Мартову тогда было пять лет; вскоре его начали обучать грамоте. Мальчик рано обнаружил жадность к знанию и книге, что, может быть, объяснялось его физическим дефектом — хромотой. В детстве нянька уронила его, и ребенок сломал ногу. Это оказало влияние на всю его дальнейшую судьбу, так как мальчик не мог участвовать ни в играх в школе, ни в спорте, и поневоле заменял это чтением книг, усиленным умственным развитием.

Сестра Мартова — Лидия Осиповна Дан — передает лю-

бопытную деталь,* которая сразу вводит нас в атмосферу детской дома Цедербаумов, когда были заложены основы морального кодекса, которому Мартов остался верен всю свою жизнь. По рассказу Л. О. в детстве все дети играли вместе и вместе создали какой-то воображаемый мир со своим особым моральным кодексом, своими законами и даже своим особым языком. Мир этот они называли «Приличенск», что явно указывало на основную черту этого воображаемого мира, на то, что лежало в его основе: соблюдать «приличие», в их детском толковании, конечно. Для иллюстрации приведу пример: для младшего брата — Владимира (впоследствии известный социал-демократ Левицкий) взяли кормилицу из деревни, где она оставила дома «на прикорм» своего ребенка. Получилось письмо из деревни, что её ребенок умер. Несчастная мать горевала, плакала. Юлия эта история очень вэволновала и он созвал — в «Приличенск» — на совещание своих сестер. «Волнуясь и размахивая руками», он объяснил им всю безнравственность такого положения и взял с сестер «страшную клятву», что они никогда «такой подлости не сделают». При этом он безапелляционно ссылался на... «Приличенск». Сестры поклялись ему «самыми страшными бывшими у нас в ходу заверениями». Л. О. свидетельствует: «может показаться смешным, но это «обещание» имело в моей жизни самое серьезное значение: я органически не была способна прибегнуть к помощи кормилицы, когда у меня самой появились дети».

Инцидент с «клятвой» интересен потому, что выявляет самую характерную черту Мартова, сохраненную им на всю жизнь: моральный кодекс, который был для него обязателен и незыблим во всей его личной и политической деятельности и который — забегая вперед отмечу — лежал в основе его раскола с Лениным, как только он обнаружил моральный дефект последнего. Любопытная и характерная для Ю. О. деталь: когда много лет спустя Л. О. напомнила ему сцену с клятвой сестер (им было 8 и 6 лет, а Юлию шел 10-ый год), то Мартов «помолчав, прибавил с сконфуженной, но довольной улыбкой: «А всё таки это имело смысл, и ты это на всю жизнь запом нила»... Хорошо запомнил «Приличенск» и сам Мартов, и для него он остался моральным символом на всю жизнь. Л. О. рассказывает, что в 1917 году при обостренных политических разногласиях Мартова и Дана в связи с делом швейцарского социалиста Гримма, высланного Временным правительством из

^{*} См. «Мартов и его близкие». Сборник. Нью Иорк. 1959.

России, Мартов св ярости против Временного правительства, против Церетели и Дана, стал отказываться от уже принятого решения — поселиться всем вместе и сказал: «Нет, уж лучше мне вернуться в Приличенск... ты решай как можешь, а я — в «Приличенск»... «В те далекие наши детские годы — прибавляет Л. О. — было заложено многое из того, что осталось на всю жизнь и многое в жизни всех нас определило»...

И еще одна черта очень сложного характера Мартова выявилась в детстве: он был очень вспыльчив, в детской главенствовал как по праву старшинства, так и по своим способностям, и сурово требовал от всех других подчинения и верности «кодексу Приличенска», но «перед слезами Юлий обычно не мог устоять».

В своих «Записках социал-демократа» Мартов отмечает, что в детстве он «мало спрашивал и обо всем старался сам додумываться до удовлетворявшего объяснения. Происходила эта замкнутость, вероятно, от моей болезненности» (хромоты. Б. Д.). Стремление к тому, чтобы «самому додумываться» осталась у Мартова навсегда. Очень рано Ю. О. обнаружил и свой публистический дар. В доме Цедербаумов царила какая-то «писательская» атмосфера — все члены семьи «писали» и в доме даже издавался свой «журнал», который обслуживали члены семьи. Повидимому это отвечало потребности, унаследованной молодым поколением от своего деда — Александра Осиповича Цедербаума, который в 60-х годах прошлого века был пионером русско-еврейской печати: редактором и издателем газеты «Гамелиц» на иврит, «Фольксблатт» на идиш и «Рассвет» по-русски. Литературные и общественные интересы, а до известной степени и «политика», были частью домашнего быта в доме Цедербаумов. Общественные интересы были близки и отцу Мартова — Осипу Александровичу, человеку радикальных воззрений и большому почитателю Герцена и его «Колокола». Он даже ездил в Лондон к Герцену для беседы. Культ Герцена О. А. старался привить и своим детям и не безуспешно. Впоследствии Мартов вспоминал, что «Былое и Думы» Герцена «научило (Мартова) страстно ненавидеть царизм и Романовых». Герцен разбудил в Мартове революционера, и революционером Мартов остался на всю жизнь. Герцен, несомненно, сильно повлиял и на выработку литературного стиля Мартова, как публициста.

**

В октябре 1881 года семья Цедербаумов переехала из Одессы в Царское Село. Спустя год, перебралась из Царского

в Петербург, и Мартов, преодолев при помощи связей своего деда рогатки 3% нормы для евреев, был принят в 1-ую Петербургскую тимназию. В гимназии в то время образовался кружок радикально и демократически настроенных гимназистов, которых не удовлетворял гимназический курс и которые решили заняться самообразованием. «Умственное моё развитие в это время — пишет Мартов — направилось в сторону ознакомления с историей французской революции». А затем —

«летом 1890 года... нашел я у букиниста стенографический отчет по делу 1 марта 1881 г. ... Чтение этого отчета перевернуло мой духовный мир, довершив то, что начато было историей французской революции... Неопределенные представления... сменились конкретной идеей революционной борьбы за низвержение самодержавия. При этом к роли террора в этой борьбе я с самого начала относился скептически... (я) мыслил разрушение самодержавия, как результат подготовленных заговором народных восстаний»...

Вскоре последовал и первый революционный акт — участие гимназиста Цедербаума, по предложению его отца, в демонстрации на похоронах Шелгунова. Это было в 1891 году. Гимназисту Цедербауму минуло 17 лет. В последовавших после этих похорон арестах «гимназистов решено было не трогать». Первое революционное выступление Мартова осталось безнаказанным... Он продолжал заниматься самообразованием, но характер читавшихся им книг меняется: «вслед за Писаревым, Шелгуновым и Чернышевским последовали Молешот, Бюхнер, Лавров, Михайловский, Кареев. А затем —

«среди прочей литературы доставил мне однажды Головин (член кружка. Б.Д.) заграничное издание «Манифеста» Маркса и Энгельса. Чтение его произвело на меня потрясающее впечатление... «Манифест» ослепил меня картиной могучей революционной партии, вобравшей в себя всё море страданий трудящихся классов». В «Манифесте» Юлий Цедербаум «узрел лишь какой то синтез из Марата, Бланки и Желябова... Позже, года через два, овладев «Капиталом» и выработав себе марксистское миропопимание, я не мало удивлялся этому умственному дальтонизму своих 17 лет».

В 19 лет Мартов уже не только прочел, но и основательно проштудировал «Капитал» Маркса, усвоив — раз навсегда — марксистский метод и марксистское миропонимание. В это время он уже был студентом Петербурского университета, естественного факультета.

**

Среди студентов Петербургского университета в то время уже действовали несколько тайных кружков с разными политическими «уклонами» — от либералов до революционеров. Ю. О. примкнул к «революционерам», т. е. к тем, кто занимался пропагандой революционных идей при помощи нелегальной литературы. Это не могло, конечно, ускользнуть от бдительности полиции, которая прибегла к испытанному средству борьбы с «крамолой» — провокации. В результате в ночь на 25 февраля 1892 года Мартов был арестован. Но так как при обыске «вещественных доказательств» его «преступной деятельности» не было обнаружено, а на допросах этот юный студент «чистосердечных показаний» не давал, то просидел он в тюрьме всего полтора месяца и был освобожден под залог в 300 рублей «впредь до окончания дела». «Дело» было вскоре закончено и административный приговор гласил: 5 месяцев тюрьмы и два года ссылки в неуниверситетские города, по выбору осужденного.

В ожидании «приговора» Ю. О. не тратил зря времени, а создал группу, принявшую название: «Петербургская Группа Освобождения Труда». Это ясно говорило о том, что группа находилась под сильнейшим идейным влиянием швейцарской «Группы Освобождения Труда», организованной в 1883 году Плехановым, Аксельродом, Засулич и Л. Дейчем. Больше того, это указывало, что «Петербургская Группа» Мартова уже идеологически самоопределилась, как группа марксистская.

Свое рождение группа манифестировала изданием «декларации», которая начиналась заявлением в строго марксистском стиле: «Русская революция нашла себе новое прочное основание. Это основание — научный социализм. Принцип народной революции воскрешен на знаменах социал-домократии». От этой же Петербургской группы Плеханов получил «мандат» на представительство в Интернационале, и это дало ему возможность выступить на международном социалистическом конгрессе в 1893 году от имени рабочих России.

«Социал-демократическое движение только еще начинается — читаем мы в этой «Декларации». Широким станет оно только тогда, когда все наличные силы будут организованы... Соединиться в партию могут лишь кружки, имеющие прочные связи среди рабочих... Задача социал-демократов в настоящий момент — организовать такие группы... Издатели настоящей брошюры намерены заняться этим делом».

В этих кратких словах была намечена деятельность социал-демократов всего грядущего десятилетия. Автору этой «Декларации» — Мартову был тогда 21 год.

17 мая 1893 года Мартов был освобожден из Крестов с правом оставаться месяц в Петербурге до отправки в ссылку. В течение этого месяца была разработана программа дальнейших работ группы и послан Плеханову тот «Мандат», о котором было сказано выше. Месяц прошел и Мартов отправился в ссылку. Местом своей ссылки Мартов выбрал Вильну, «где, по сведениям, имеются многочисленные рабочие кружки, с которыми меня обещает связать Л. Н. Б.». В Вильне Мартов связался с будущими бундовцами и включился в их работу по разработке «новой тактики», состоявшей в переходе от пропаганды в кружках к агитации среди рабочих масс на почве их экономических нужд и требований. «Новая тактика» была изложена в брошюре «Об агитации», составленной Александром Кремером и редактированной Мартовым.

В своих «Записках» Мартов пишет: «Влияние «виленской программы» стало громадным в социал-демократических кругах еще до того, как она вышла в печатном виде заграницей с предисловием П. Б. Аксельрода. Впоследствии Мартов признал, что в этой брошюре отразилась «односторонность нашето социалистического мышления в это время». «Теоретически это доктринерство было слабостью, но практически оно было нашим сильным местом, ибо заряжало верой», писал он позже.

В это время в Петербурге появились «сделавшие эпоху» «Критические заметки» П. Б. Струве и брошюра «Кто такие друзья народа и как они воюют против социал-демократов», направленная против идеологов народничества. От брошюры, по словам Мартова веяло «подлинной революционной страстью и плебейской грубоватостью». Мартов заинтересовался личностью автора этой брошюры, но лишь спустя год услышал его имя — Владимир Ульянов...

Досидев в Вильне двухлетний срок высылки, Мартов осенью 1895 года вернулся в Петербург. В это время там действовали одна народническая группа и две социал-демократических: «стариков» и «молодых». Во главе последних стоял Ульянов — (Ленин), который к этому времени уже успел съездить в Швейцарию и связаться со «стариками» в лице Плеханова и Аксельрода. Больше того, он с ними уже «договорился»...

Мартов, как мы знаем, со своим кружком тоже принадлежал к «молодым». В результате всач разговоров и «договоров»

произсшло объединение «стариков» и «молодых» в одну группу, названную — по предложению Мартова — «Петербургский Союз Борьбы за Освобождение Рабочего Класса», завязавший связи с рабочими на всех крупных фабрично-заводских предприятиях столицы. В недрах этого «Петербургского Союза Борьбы» и состоялась первая встреча Ленина и Мартова, имена которых стали впеследствии в рамках соц.-дем. партии символами большевизма и меньшевизма и их жестокой непримиримой борьбы.

Впоследствии Мартов вспоминал: «Вращаясь в среде серьезных и образованных товарищей, среди которых он играл роль «первого между равными», В. И. Ульянов тогда еще не пропитался тем презрением и недоверием к людям, которые... больше всего способствовали выработке из него определенното типа политического вождя». В этот первый период Мартов и Ленин были очень дружны, даже перешли на «ты», что было крайне редко у обоих.

«Петербургский Союз Борьбы» развил большую энергию в работе среди рабочих, на предприятиях начались волнения, которые вылились в известную в истории рабочего движения забастовку 35.000 ткачей, положившую начало массовому рабочему движению в России. Забастовка эта вызвала, конечно, большое оживление в полиции, и в ночь с 8 на 9 декабря 1895 г. была арестована «центральная группа» «Союза Борьбы» во главе с Ульяновым, Кржижановским и др. Убыль была сейчас же восстановлена и «Союз Борьбы», теперь во главе с Мартовым, продолжал работу. «Популярность моего крестника — «Союза Борьбы», — писал Мартов, — в массах уже к весне 1896 г. была чрезвычайно велика». Но весной 1896 г. Мартов уже сидел в тюрьме. Вместе с новой группой «центровиков» он был арестован в ночь на 5 января 96 г. Впоследствии выяснилось, что группу выдал провокатор Н. Н. Михайлов (убит в Крыму в 1905 году).

Интересно отметить, что Мартов уже тогда, делая первые шаги в рабочем движении, понимал это движение, как отряд международного социалистического движения. У него, как он пишет, еще до ареста «явилась мысль осведомить о начале руководимого социал-демократией массового движения (в России) и социалистический Запад. Мною была для берлинского «Форвертс» написана статья, излагающая планы и задачи «Союза Борьбы». Она, как мне стало известно много позже, своевременно появилась в центральном органе германской социал-демократии».

Весь 1896 год Мартов просидел в Доме Предварительного Заключения и лишь в феврале 1897 г. получил — в административном порядке — приговор: ссылка в Восточную Сибирь на три года (тот же приговор получил и Ленин). Местом ссылки была ему назначена деревня Туруханского края, самый далекий угол Восточной Сибири, где царила полярная ночь, и жило 200 человек иноземного азиатского населения, где холод при 8-ми месячной ночи доходил до минус 50° по Цельсию, а летом не было спасения от мошкары и т. д. Возможно, что у властей был расчет на то, что этой трехлетней ссылки Мартов не выдержит, но он «обманул» эти надежды и не только выдержал срок ссылки, но и использовал его для литературной работы. Там, в Туруханске, Мартов перевел «Рабочий вопрос» Геркнера, написал брошюры: «Современная Россия» и «Красное знамя в России» (краткая история революц. движения в России). Обе вышли заграницей. Затем он написал брошюру «Поворотный пункт», изданную Бундом, две статьи о деле Дрейфуса и статью в легальном журнале «Новое Слово» — «Народничество прежде и теперь» за подписью Алексея Егорова.

«Самым тяжелым в нашем положении — писал Мартов — была чрезвычайная оторванность от внешнего мира... От железной дороги Туруханск отстоял почти на 1.500 верст. Почта приходила ровным счетом 9 раз в год»... «Я жил действительной жизнью лишь эти 9 моментов».

29 января 1900 г. кончился срок ссылки. «Закутанные во всевозможные меха до полной неподвижности, мы в растяжку лежали на нартах» и «на 11 день въехали на окраину жалкого уездного городка Енисейска, и почувствовали свое возвращение в лоно цивилизации». Мартову было запрешено жительство в течение трех лет в университетских и фабрично-заводских городах, и он выбрал местом жительства Полтаву.

В это время кончился срок ссылки почти всех других «центровиков» «Союза Борьбы». Во все время ссылки между Мартовым, Лениным и Потресовым шла оживленная переписка о необходимости объединения всех разрозненных групп в одну централизованную партию, для чего был необходим печатный орган. Весной 1900 г. в Пскове состоялось совещание, с участием Ленина и Мартова, на котором было решено приступить к организации нелегальной газеты. После неудачной попытки создать этот орган в России, решено было перенести центр заграницу и там — совместо с группой «Освобождение Труда» «стариков» — поставить постоянный печатный орган,

который подготовил бы в будущем созыв съезда, необходимого для создания партии.

Так родилась «Искра», взявшая своим девизом строку из стихотворения Пушкина «Ответ декабристам»: — «От искры возгорится пламя». Главной литературной силой газеты был Мартов, сотрудничество которого началось еще до его переезда заграницу в марте 1901 года. Для Мартова начался новый период в его жизни, во многих отношениях самый счастливый, ибо он был отмечен дружбой и солидарностью товарищей по работе и успешными ее результатами.

* * *

Мечта была реализована: 11/24 декабря 1900 г. заграницей вышла «Искра», получившая в России широкое нелегальное распространение. Выходившая под редакцией «стариков» — Плеханова, Аксельрода и Засулич — и «молодых» — Ленина, Мартова и Потресова, «Искра» приобрела в социал-демократических кружках России большой авторитет и подготовила возможность общепартийного съезда. Этот съезд — «Второй съезд РСДРП» состоялся в августе 1903 года, но вместо объединения партии съезд демонстрировал глубокий раскол, положивший начало борьбе двух течений: большевиков и меньшевиков, которых возглавили недавние друзья Ленин и Мартов, теперь жесточайшие противники.

Вряд ли кто-либо из участников съезда понимал тогда всю глубину этого раскола и его трагические последствия для рабочего движения России, больше того — для всего мира.

Формально, как известно, раскол произошел по пункту 1-му Устава партии: Ленин требовал признания членами партии лишь т. н. «профессиональных революционеров», против чего возражал Мартов, требовавший равных прав для всех членов партии. Ленин несомненно еще до съезда конспирировал от своих товарищей по редакции, и когда на самом съезле совершенно неожиданно для других членов редакции всплыл вопрос о «профессиональных революционерах», а вслед за этим требование Ленина о сокращении состава редакции «Искры» до трех — Плеханов, Ленин и Мартов, — причем бесцеремонно выбрасывались за борт Аксельрод, Засулич и Потресов, — то это, естественно, возмутило моральное «я» Мартова, и он отказался участвовать в трехчленной редакции «Искры».

Проредактировав несколько номеров, Ленин очутился перед ультиматумом Плеханова, потребовавшего восстановления редакции в прежнем — до съезда — составе шести. Тогда Ленин

1 ноября 1903 г. покинул редакцию «Искры», и с № 53 газета перешла к прежней редакции. В партии началась «братоистребительная» борьба двух течений социал-демократической партии: большевиков и меньшевиков с ее трагическим эпилогом. В этой борьбе очень ярко выявился аморализм Ленина и т. н. «ленинизма». Отвечая Ленину на его выпады в брошюре «Шаг вперед — два назад», Мартов в своей брошюре «Вперед или назад» писал:

«Что-то геростратовское видится в его с лучшими намерениями, конечно, предпринятом деле... Стоит читать эти строки (в брошюре Ленина. Б. Д.), дышащие мелкой, подчас бессмысленной, личной злобой, этой поразительной самовлюбленностью, этой слепой, глухой, и вообще какой-то бесчувственной яростью, это бесчисленное повторение одних и тех же бессодержательных «бойких» и «хлестких» словечек, чтобы убедиться, что перед нами человек, фатально вынужденный катиться дальше по той плоскости, на которую он «стихийно» встал и которая прямехонько ведет его к полному политическому развращению и раздроблению социал-демократии. Геростратовский подвиг! — скажут потомки».

«Геростратом» назвал Ленина и П. Б. Аксельрод.

Кто хоть раз присутствовал на публичных выступлениях Ленина в 1917 году или — позже, тот признает, что в приведенных строках Мартова дан точный морально-политический портрет Ленина, приведшего, прежде всего, свою собственную партию «к полному политическому развращению и раздроблению». Это был неизбежный результат политического аморализма ее создателя и вождя. Чем дольше длился раскол, тем больше аморализм укреплялся в «большевизме». Опасность вырождения ленинской партии была Мартову ясна и в годы после раскола он писал: «Я твердо решился убедить партию освободиться от страшной опасности, которую представляет собой приютившаяся в наших рядах нечаевщина. Сегодня — терпимость к фальсификаторам, завтра — свободный доступ Дегаевым», т. е. предателям.

Мартов не ошибся: пришел день, когда Ленин покрыл своим авторитетом известного большевистского провокатора Малиновского, председателя большевистской фракции в 4-ой Государственной Думе, ибо своевременное разоблачение Малиновского было вредно для ленинской фракции и для Ленина лично. При Ленине его расстреляли в подвалах чеки.

* * *

После разгона 2-ой Гос. Думы и ареста ее социал-демократической фракции, после Столыпинского переворота 3-го июня, обеспечившего впредь «законопослушное» большинство в Гос. Думе, наступил период реакции. В этой атмосфере «модными» стали т. н. «эксы», т. е. грабеж «в пользу революции». Социал-демократическая партия запретила своим членам, под угрозой исключения из партии, всякое участие в «эксах». В это время был ярко выявлен безграничный цинизм Ленина, публично шельмовавшего «эксы» и одновременно подпольно благословившего те «эксы», которые обогащали его фракционную казну. Известна история тифлисской экспроприации, организованной Сталиным, при которой было убито много случайных людей. Ленин «выручку» забрал в свою казну.

В 1911 г. Мартов выпустил брошюру «Спасители или упразднители», которую он посвятил разбору запрещенных партией большевистских «эксов». Мартов требовал исключения из партии... Сталина, главного организатора тифлисского «экса». Ленин разыграл сцену морального возмущения, обозвав Мартова лжецом и клеветником. От разбора дела Ленин отказался, но эпилог этого дела разыгрался в Москве в 1918 году, когда Сталин, уже в чине наркомнаца, тоже разыграл комедию морального возмущения и подал на Мартова жалобу в... Трибунал, обвиняя его в «клевете». После «судоговорения» Трибунал приговорил Мартова к «общественному порицанию». То были только «цветочки» наступившей ленинской «диктатуры пролетариата».

Объявление войны застало Мартова в Париже. Военнопатриотическая атмосфера захватила тогда значительную часть российской социалистической эмиграции всех партий. Мартов выступил против этого течения с лозунгом мира. «Довольно! — писал он, — да здравствует мир!.. И ты будешь повторять свой братский призыв до тех пор, пока земля не застонет: «довольно крови!» Довольно бессмысленных жертв! Да здравствует мир!»...

В распоряжении Мартова в Париже была тощая газетка «Голос», и вооруженный этим «Голосом», Мартов начал борьбу. Он выдержал 108 номеров, пока «Голос» не был закрыт военной цензурой. В юбилейном сотом номере Мартов вспоминал —

«ту обстановку, при которой появился первый пробный номер. Армия фон Клюка стояла в 30 клм. от Парижа... Зажиточные классы... покидали город. Русская колония опустела, остались лишь те, кому некуда было бежать, ибо всюду их ждал голод и безработица... Моральная подавленность, уныние, граничащее с отчаянием... при виде распада Интернационала... ужас положения и фальшь социал-патриотической фразы. В этих условиях частная группа товарищей решила поднять «Голос», «голос социалистической уверенности в торжестве нашего идеала». Эта группа не спрашивала своих членов о фракционных убеждениях, она сплотила людей разных фракционных течений, сплотила так, как может сплотить общее несчастье, кораблекрушение, закинувшее нескольких человек на маленький клочек земли. Ей казалось святотатством в момент величайшего мирового несчастья, в момент падения многих старых кумиров вспоминать о былых делениях, воскрешать старые фракционные споры. Ждала ли эта группа успеха своего предприятия трудно сказать. Скорее в эту минуту она ждала, вместе со всем населением, осады Парижа, но поднять голос надо было. ибо у нас всех оторвали кусок нашей души, в нас поколебали нашу веру в Интернационал» (курсив оригинала).

Я позволил себе привести эту длинную выдержку потому, что она характерна для Мартова с его чувством ответственности, верностью своим идеалам и твердой уверенностью, вопреки всему, в «торжество нашего идеала». Этими идеями Мартов руководился всю жизнь, в каком бы положении он не был. При этом он никогда не «выпячивал себя» и свою личную роль — «группа товарищей», «все фракции» и т. д.

Здесь нельзя остановиться на борьбе Мартова за Интернационал наперекор всем его вождям во Франции, Бельгии, Германии... При постоянном страхе за судьбу газеты (закрытия ее полицией или финансового краха «предприятия») Мартов вел борьбу на оба фланга: против пораженчества Ленина и патриотизма Плеханова. Возражая последнему на то, что в случае своей победы Германия закабалит Россию, Мартов писал: «Экономический прогресс есть основа социального и политического развития. Конечно. Но это не значит, что всякий, купленный любой ценой (курс. ориг.) шаг по пути экономического прогресса непосредственно отражается шагом вперед на пути политического развития».

Словно Мартов предвидел грядущие «индустриализацию» и «пятилетки»...

* * *

Февральская революция застала Мартова в Швейцарии. Из-за трудностей переезда он в Россию попал только в начале мая, уже после того, как меньшевистская партия в своем большинстве приняла позицию «революционного оборончества», что получило свое практическое выражение в «верности союзникам» и участии в коалиционном правительстве. Убежденный интернационалист — Мартов оказался в меньшинстве, я даже в «небольшом меньшинстве» в рядах своей партии. Мартов вступил теперь в открытую борьбу со своими вчерашними единомышленниками и с партийным большинством против (как он писал) «коалиционно-оборонительной канители Керенского-Церетели». Он не имел своего печатного органа и вынужден был прибегнуть к гостеприимству «Новой Жизни» Горького. Потом появилась маленькая «Искра».

Выступая самым резким образом против политической линии партийнаго большинства, Мартов в то же время был категорически против раскола и против ориентации на большевиков. Сплачивая своих единомышленников для борьбы внутри партии, Мартов ни разу не переступил за черту интернационализма, куда его толкали некоторые неумеренные единомышленники. Член фракции интернационалистов Ник. Суханов в своих «Записках» передает о следующем инциденте во фракции Демократического Совещания:

«Я поставил (во фракции) вопрос о блоке с большевиками. Некоторые отнеслись сочувственно. Но Мартов решительно восстал и между прочим сказал в своей речи: «Тяготение к большевикам в настоящий момент совершенно несвоевременно. Сейчас для революции предстоит опасность слева, а не справа». «Быть может — прибавляет Суханов — Мартов проявил здесь прозорливость и уменье находить истинную дорогу»... «Мои сокрушительные тенденции встречали во фракции отпор со стороны Мартова»...

Не в организационных комбинациях видел Мартов спасение, а в неустанной идейной и политической борьбе, в отстаивании своих принципов как против политики Временного Правительства, так и против большинства своей партии. В конце концов он добился того, что — уже перед самым «Октябрем» — он фактически имел за собою большинство в партии. Съезд партии в декабре 1917 г. закрепил это положение и формально. * * *

Октябрьский переворот изменил, разумеется, все положение. Мартов не знал ни минуты колебания: он сейчас же встал в непримиримую оппозицию к носителям «Октября». В письме к личному другу от 30 декабря 1917 г. Мартов так определяет свое отношение к диктатуре Ленина и его партии:

«Дело не только в глубокой уверенности, что пытаться насаждать социализм в экономически и культурно отсталой стране бессмысленная утопия, но и в органической неспособности моей помириться с тем аракчеевским пониманием социализма и пугачевским пониманием классовой борьбы, которые порождаются, конечно, самым тем фактом, что европейский идеал пытаются насадить на азиатской почве. Получается такой букет, что трудно вынести. Для меня социализм всегда был не отрицанием индивидуальной свободы и индивидуальности, а напротив, высшим их воплощением, и начало коллективизма я представлял себе противоположным «стадности» и нивеллировке. Да не иначе понимают социализм и все воспитавшиеся на Марксе и европейской истории. Здесь же расцветает такой «окопно-казарменный» квази-социализм, основанный на всестороннем «опрощении» всей жизни, на культе даже не «мозолистого кулака», а просто кулака, что чувствуешь себя как будто виноватым перед всяким культурным буржуа». И дальше: «...ужас берет при мысли, как надолго в сознании народа дискредитируется самая идея социализма и подрывается его собственная вера в способность творить своими руками свою историю...».

Эти строки вряд ли требуют дополнений...

Шло «углубление» «Октября». В Самаре произошел переворот под флагом Учредительного Собрания, а на Севере и Юге высадились иностранные части. Положение власти было очень трудное. Мартов был против гражданской войны и против интервенции, и в то же время он не переставал клеймить и грамить диктатуру Ленина с трибуны ВЦИК, членом которого он состоял.

Известный писатель Конст. Паустовский, бывший в те годы политическим репортером газеты «Власть Народа», дает в своей книге «Начало неведомого века» красочную картину выступления Мартова на заседании ВЦИК:

«Мартов сидел ближе всех к журналистам, и мы хорошо его изучили. Высокий, тощий и яростный, с жилистой шеей, замо-

танной рванным шарфом, он часто вскакивал, перебивал оратора, и выкрикивал хриплым сорванным голосом негодующие слова. Он был зачинщиком всех бурь и не успокаивался, пока его не лишали слова или не исключали на несколько заседаний.

Но изредка он был настроен мирно. Тогда он подсаживался к нам, брал у кого-нибудь книгу и читал запоем, как бы забыв о времени и месте и совершенно не отзываясь на события, происходившие в зале...

Однажды он попросил у Р. книгу «Историю ислама» и погрузился в чтение. Читая, Мартов ушел по голову в кресло и далеко вытянул тощие ноги. Шло обсуждение декрета о посылке в деревню рабочих продовольственных отрядов. Ждали бури. Но поведение Мартова и Дана не предвещало никаких неожиданностей, и все понемногу успокоились. Зашелестелигазеты, заскрипели карандаши. Свердлов снял руку со звонка и, улыбаясь, слушал своего соседа...

Список ораторов подходил к концу. Тогда Мартов очнулся и вялым голосом попросил слова. Зал насторожился. По рядам прошел предостерегающий гул. Мартов медленно, сутулясь и покачиваясь, поднялся на трибуну, обвел пустыми глазами зал и начал тихо и неохотно говорить, что проект декрета о посылке продовольственных рабочих отрядов нуждается, мол, в более точной юридической и стилистической редакции. Например, пункт такой-то декрета следовало бы выразить более просто, отбросив многие лишние слова, в роде «в целях», и заменив их «для», а в пункте таком-то есть повторение того, что уже сказано в предыдущем пункте.

Мартов долго рылся в своих записях, не находил того, чтоему было нужно, и с досадой пожимал плечами. Зал убедился, что никакого взрыва не будет. Снова зашелестели газеты. Р., предрекавший бурю, недоумевал. «Он просто выдохся, какнашатырный спирт — прошептал он мне — пойдем лучше вбуфет».

Вдруг весь зал вздрогнул. Я не сразу понял, что случилось. С трибуны гремел, сотрясая стены, голос Мартова. В нем клокотала ярость. Изорванные и вышвырнутые им листки соскучными записями опускались, кружась, как снег, на первые ряды кресел. Мартов потрясал перед собой сжатыми кулаками и кричал, задыхаясь: «Предательство! Вы придумали этот декрет, чтобы убрать из Москвы и Петрограда всех недовольных рабочих — лучший цвет пролетариата! И тем самым задушить здоровый протест рабочего класса!»...

После минутного молчания все вскочили с мест. Буря кри-

ков понеслась по залу. Его прорезали отдельные крики: «Долой с трибуны», «Предатель», «Браво, Мартов», «Как он смеет», «Правда глаза колет!»...

Свердлов неистово звонил, призывая Мартова к порядку. Но Мартов продолжал кричать еще яростнее, чем раньше.

Он усыпил зал своим наигранным равнодушием и теперь отыгрывался.

Свердлов лишил Мартова слова, но тот продолжал говорить. Свердлов исключил его на три заседания, но Мартов только отмахнулся и продолжал бросать обвинения, одно другого злее. Свердлов вызвал охрану. Только тогда Мартов сошел с трибуны и под свист, топот, аплодисменты и крики нарочито медленно вышел из зала».

Эти выступления Мартова, видимо, нервировали Ленина, и он, наконец, решил избавиться от присутствия оппозиции во ВЦИК. И вот, на заседании ВЦИК 14 июня 1918 г. произошла сцена, которую описала большевичка Драбкина и которую стоит привести:

«Свердлов (председатель): Президиум предлагает включить в повестку дня этого заседания ВЦИК вопрос о выступлениях против советской власти партий, входящих в Советы.

 $\it Maptob:$ Я предлагаю пополнить порядок дня вопросом о массовых арестах московских рабочих, произведенных в течение вчерашнего дня.

Начинается дикий вой. Ничего не разобрать. Наконец, Свердлов объявляет: Решение принято подавляющим большинством голосов. Прошу членов контрреволюционных партий, исключенных из советов (меньшевиков и эс-эров), покинуть зал заседаний ВЦИК».

Большевистский историк так описывает дальнейшее:

«Выкрикивая своим больным чахоточным горлом проклятия диктаторам, бонапартистам, узурпаторам, захватчикам, Мартов схватил пальто, пытаясь надеть его, но его дрожащие руки не могли попасть в рукава. Ленин очень бледный, стоя, смотрел на Мартова...

- ...Тыча пальцем в Мартова, левый эс-эр хохотал...
- Вы напрасно веселитесь, молодой человек, прохрипел, обернувшись к нему Мартов. — Не пройдет и трех месяцев, как вы последуете за нами...

Мартов дрожащей рукой отворил дверь и вышел»...

Мартов ошибся в сроке: не прошло и трех недель, как левые эс-эры «последовали за нами»...

Исключение из ВЦИК не могло, конечно, повлиять ни на позицию Мартова, ни на его «поведение», и по мере того, как креп и ширился террор, заострялась и позиция Мартова и тон его статей в московском «Вперед». Наконец, когда «Вперед» уже не было, он выпустил знаменитую в те годы брошюру «Долой смертную казнь!»

* * *

Расхождение с большинством партии Мартов переживал тем острее и больнее, что речь шла, как он это понимал, о судьбе революции. Мартов был и остался интернационалистом, и был уверен, что только на этих путях можно спасти революцию.

Вместе с тем, Мартов уже тогда понял, что в условиях: послевоенной разрухи и морального разложения, которые война внесла в мир, большевизм стал «всемирно-историческим явлением, которого нельзя объяснить «наскоро, мимоходом». В Моске Мартов в 1919 году приступил к работе над книгой «Мировой большевизм», которую он, к сожалению, не успел закончить до своей смерти. Корни мирового большевизма Мартов видел в том, что на войне рабочая масса «пропиталась траншейной психологией», обретя «уверенность, что владение оружием и уменье им управлять дают возможность направлять судьбы государства. Это сознание должно роковым образом приходить в непримиримое противоречие с идеями демократии и с парламентарными формами управления государства». В 1918 году Мартов говорил: «Я все же надеюсь, что советская власть достаточно долго продержится, чтобы рабочий класс мог убедиться, что мы нашим отношением к большевизму защищали кровные интересы будущности рабочего класса и социализма». За это будущее он боролся доконца.

* * *

В печати появлялись высказывания о том, что Ленин был «влюблен» в Мартова и охранял его от невзгод своей чеки. Иные склонны усматривать в этом признаки душевной раздвоенности Ленина. Все это — пустые гадания. Мартова и в самом деле не таскали по тюрьмам, а держали под домашним арестом. Когда же он однажды был арестован на заседании ЦК, то он провел на Лубянке всего несколько часов и был отпущен. Освобождали понемногу и всех остальных (осво-

божденный последним в этой группе автор этих строк просидел всего 48 часов под арестом). «Любовь» Ленина не помешала ему закрыть Мартову рот, хорошо зная, что значит для Мартова молчание в революции. Осенью 1920 г. Мартов — с разрешения ЦК — выехал заграницу. Он был тогда уже серьезно болен. Была тенденция объяснить это разрешение на отъезд тоже особым отношением Ленина к Мартову: хотел, мол, его спасти...

Однако, в свете тех высылок заграницу, которые последовали потом при Ленине и которые завершились насильственной высылкой Троцкого Сталиным трактовать разрешение на выезд заграницу, как признак особой милости или даже «любви» не приходится. Отто Бауэр после смерти Мартова писал: «Большевики ненавидели и боялись этого человека, который страстно боролся против их диктатуры над пролетариатом... они были счастливы, что освободились от опаснейшего из своих социал-демократических противников...»

Заграницу Мартов приехал уже столь больным, что не мог выступить на съезде Германской независимой с.д. партии в октябре 1920 г. и его речь прочел Александр Штейн. А выступать пришлось против председателя Коминтерна — Зиновьева. Один из лидеров Независимой социалистической партии Германии — Артур Криспин свидетельствовал: «На нем (съезде) впервые в Западной Европе разыгралась борьба между марксистским социализмом и большевистским коммунизмом за душу рабочего класса Европы. В этом бою Мартов сыграл решающую роль...»

Оказавшись в Берлине, Мартов начал сейчас же хлопотать об организации печатного органа, и 1 февраля 1921 г. вышел № 1 основанного Мартовым журнала — «Социалистический Вестник».

Но болезнь прогрессировала и с осени 1922 г. Мартов был прикован к кровати. Однако, и во время болезни он продолжал свою борьбу пером, которое не выпускал из рук, пока не перестало биться его сердце.

4-го апреля 1923 г. Мартов скончался.

В. Двинов

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

О ПРЕДКАХ ЛЕНИНА

Письмо в редакцию

Я прочел с интересом статью г. Н. Валентинова о «Предках Ленина» в № 61 «Нового Журнала», она прекрасно разоблачила измышления о диспуте юного Ленина с Михайловским, и вообще статья прекрасная.

С одним не могу согласиться, именно с рассуждением о деде Ленина А. Д. Бланке. Г-н Валентинов пишет (стр. 222), что черносотенцы считают его евреем, а «вне черносотенцев кое-кто тоже считал и считает Бланка евреем», но г. Валентинов уверен, что Бланк не еврей и приводит доказательства (неубедительные). Между тем, я вовсе не черносотенец, но как историку мне этот вопрос интересен, и помню, что года три тому назад в «Новом Русском Слове» была большая статья П. Берлина, утверждавшего, что Александр Давидович Бланк, родом из Одессы, был крещеным евреем и что в Синоде нашли дело о переходе его в православие. Статьи я не сохранил, к сожалению. Заглянув в энциклопедии я выяснил, что фамилия Бланк — еврейская. The Jewish Encyclopedia т. III, стр. 235 (N. У., 1903) указывает как на выдающегося еврея, Петра Бланка, банкира в Варшаве (1797 г.), a Encyclopedia Judaica т. IV, стр. 845 (Berlin, 1929) указывает Морица Бланка, румынского финансиста и банкира, род. в 1848 г. и Рувима Бланка, род. в 1866 г. в Кишиневе, редактора «Вестника Европы» в СПБ и «Еврейской Трибуны» с 1920 г. в Берлине. Кроме того я нашел диссертацию Шимоха Бланка из Кишинева (Цюрих 1913 г.) и Гр. Мих. Бланка из Одессы (Цюрих 1932 г.). Ясно, что отец А. Д. Бланка, Давид Бланк был около 1800 г. торговцем или банкиром в Одессе, вероятно переселившись туда из близкой Бессарабии. Немцем он не был и имя и фамилия не немецкие.

Александр Давидович Бланк принял православие и стал полицейским врачем. Валентинов пишет: «Трудно допустить, чтобы при Николае I еврей мог...». Но он забывает, что переход в христианство (хотя бы в лютеранство) зачеркивал еврейство и давал все права службы. Вспомним вицеканцлера барона Шафирова при Петре Великом, а при Николае I можно указать на Ф. Гильфердинга

(отца славянофила А. Ф. Гельфердинга), бывшего тайным советником и занимавшего крупный пост в министерстве торговли, кажется. Вспомним каким уважением пользовался сенатор А. Ф. Кони и обер-секретарь Сената Трахтенберг, имевший мужество защищать евреев в Виннице от обвинения в ритуальном убийстве и передавший детям потомственное дворянство. В дворянство войти было легко: при Николае I чин VIII-го класса уже давал потомственное дворянство (позднее эту норму повысили). Доктор А. Д. Бланк, прослуживший 23 года (до 1847 г.), наверное дослужился до статского советника (чин V класса). Ничто не мешало ему приобрести имение с крепостными в Казанской губернии (где никто не знал его одесских родных) и записаться в III-ю часть родословной книги Казанского дворянства. Для этого надо было лишь представить послужной список; а в нем указывались — дата рождения, сословие и вероисповедание, ни национальность, ни имена родителей не упоминались. А. Д. Бланк был православным и дворянином по чину, и о его происхождении никто не спрашивал в 1847 г. Итак, нужно согласиться с г. Берлином, что А. Д. Бланк был из евреев.

Конечно, все это «ничего не доказывает». Лично я не верю в теорию «психической наследственности» и считаю, что есть лишь физическая (калмыцкий тип у Ленина), а психический склад дается воспитанием и то далеко не всегда. Ленину было 4 года, когда умер его дед, и тот никакого влияния на него не мог иметь. Мой вывод: Ленин русский интеллигент, типичный продукт «имперского обрусения»: в нем и калмыцкая, и еврейская, и немецкая и даже шведская кровь. Но он вырос в семье, чувствовавшей себя вполне русскою. Его предки — мещане, благодаря государственной службе, начавшие выходить в дворянство. Потому записываясь в Женеве в «Societé de Lecture» (Публичную читальню), Ленин написал на входном билете: «W. Oulianoff — gentilhomme russe». Это любопытная черточка.

Но его дворянство не родовое, как у Л. Толстого или М. Бакунина, а чисто служилое, чиновническое. Большевики скрывают эту еврейскую примесь в Ленине, но нам незачем скрывать истину.

2 декабря 1960 г.

Историк

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Н. ВАЛЕНТИНОВА И ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ «ИСТОРИКА»

Я так же, как и «Историк», автор письма в редакцию «Нового журнала», с большим интересом прочитал статью Н. Валентинова о предках Ленина в № 61 «Нового Журнала» и так же, как и он, не могу согласиться с категорическим утверждением Н. Валентинова, что дед Ленина, Александр Бланк, был не еврей. Когда я в тридцатых годах работал над своей английской книгой о Ленине,* я, естественно, интересовался родословной Ленина. Я не только тщательно изучил весь печатный материал о Ленине, имевшийся в то время в России и заграницей, о его семье и предках, но я также лично расспрашивал и письменно сносился с целым рядом лиц в Америке и в Европе, которые знали Ленина, его мать, его сестер и брата. Особенно я заинтересовался дедом Ленина, Александром Бланком, после того, как прочел в воспоминаниях старшей сестры Ленина, Анны Ульяновой-Елизаровой, что ее бабушка (мать матери), то есть жена Александра Бланка была лютеранского вероисповедания, и почти не зная русского языка, говорила всегда по-немецки. Среди моих знакомых в России и в Америке было несколько Бланков, и все они были евреи. Я искал в разных энциклопедиях, еврейских и не-еврейских, фамилию Бланк и не нашел ни одного Бланка не-еврея. Поэтому я пришел к заключению, что дед Ленина, доктор Александр Дмитриевич Бланк был еврейского происхождения. Чтоб окончательно выяснить это, я решил обратиться к известному историку русского еврейства, Саулу Моисеевичу Гинзбургу, который за несколько лет до того, оставив Советскую Россию и прожив некоторое время в Париже, переехал на постоянное жительство в Соединенные Штаты. Еще до своего приезда в Америку Гинзбург стал постоянным сотрудником нью-йоркской еврейской газеты «Форвертс». В тридцатых годах он проживал в городе Линкольне, штата Небраска, у своего сына Михаила, который тогда был профессором местного университета. Я хотел узнать от Гинзбурга, были ли в России Бланки и не-евреи и что он о них знает. Но пока я собирался написать ему, вдруг в одно утро, когда я пришел в редакцию «Форвертс», и шел в кабинет главного редактора, Аврама Кагана, дверь его кабинета отворилась и навстречу мне вышел С. М. Гинзбург в сопровеждении редактора. Увидев его, я воскликнул:

^{*} Книга Д. Н. Шуба «Lenin — a Biography» вышла в 1948 году в изд-ве Doubleday and Co., New York. Она переведена на 16 европейских и азиатских языков. РЕД.

- Вот что называется на ловца и зверь бежит. Вы мне очень нужны.
 - В чем дело? спросил несколько озадаченный С. М.
 - Я хотел у вас узнать, были ли в России Бланки не-евреи?
 - А почему вас это так интересует? спросил Гинзбург.
- Видите ли, я подозреваю, что дед Ленина, Александр Дмитриевич Бланк, был еврейского происхождения, ответил я.

Услышав мой ответ, редактор «Форвертса» Каган всплеснул руками и громко сказал:

— Вот странное совпадение! Ведь только что Саул Моисеевич мне поведал тайну, что дед Ленина, Александр Бланк, был крещеный еврей из Одессы.

И тут же С. М. Гинзбург рассказал мне следующее. После большевистского переворота он долгое время работал в архиве Святейшего Синода в Петрограде. Он изучал там, главным образом, материалы о так называемых, еврейских «кантонистах» и о взрослых евреях, добровольно принявших православие. О каждом из них в Синоде было особое «дело». В одной из таких папок были документы и о еврейском фельдшере из Одессы по имени Александр Бланк, принявшем православие. Внимание Гинзбурга особенно привлекло обилие доносов Бланка Синоду на евреев вообще и на служителей еврейской религии в частности. Гинзбург собирался снять копии со всех этих документов из папки Александра Бланка, чтобы потом использовать для своей работы о евреях-выкрестах в России. Кто такой Александр Бланк, он не имел понятия. Но вот из Москвы вдруг приехала специальная комиссия, которая изъяла дело Бланка и увезла все эти документы в Москву.

Архивариус Синода, довольно известный русский историк (С. М. мне тогда назвал его имя, но я его забыл), рассказал ему, под большим секретом, что увезенная в Москву папка — это документы о «деде Ильича» (Ленина). Закончив свой рассказ, С. М. спрссилменя, каким образом я тоже пришел к заключению, что Александр Бланк, дед Ленина, был еврейского происхожденья. Я рассказал ему о всех моих изысканиях и догадках. Гинзбург попросил меня дать ему прочесть воспоминания Анны Ульяновой-Елизаровой и другие материалы о семье Ленина, которых он раньше не знал. Прочитав воспоминания сестры Ленина, Гинзбург высказал предположение, что по всей вероятности и жена Бланка, т. е. бабушка Ленина, тоже была еврейка и говорила она вовсе не по-немецки, а на идиш.

Теперь, прочитав статью Валентинова и вышедшую в 1960 г. в Москве книгу «Молодые годы Ленина», я убежден, что бабушка Ленина действительно была немка, а не еврейка. Что же касается

ее мужа, Александра Бланка, то, несомненно, что он был еврей из Одессы, фельдшер Александр Бланк, принявший православие, автор доносов на своих соплеменников. Мы, т. е. Гинзбург и я, тогда решили пока не опубликовывать этот факт, но я написал о нашем «открытии» П. А. Берлину и, кажется, также Н. В. Валентинову. С обоими я тогда часто переписывался, и я тоже просил их пока не упоминать об этом в печати. Н. В. Валентинов во многих своих статьях о Ленине не касался этого вопроса, но П. А. Берлин не удержался и через несколько лет написал об этом в нью-йоркском «Новом Русском Слове», правда, без ссылки, на источник.

Доводы Н. В. Валентинова, что Бланк не мог быть евреем, меня не убеждают. «Трудно допустить, — пишет он, — что в начале 19-го столетия, при Николае I, еврей мог быть в Петербурге семь лет полицейским врачем. Уже совсем нужно отвергнуть мысль, что еврей, даже крещеный, мог в то время стать владельцем крепостных душ. Мало согласуется с его еврейством женитьба на немке Анне Ивановне Грошопф, из состоятельной и по тому времени очень культурной семьи».

Но известно, что при Николае I были крещеные евреи, которые занимали гораздо более высокие посты, чем полицейский врач в Петербурге. Об этом как раз много писал С. М. Гинзбург в своей книге о евреях-выкрестах, вышедшей, к сожалению, только на идиш. Многие крещеные евреи получали потом дворянство и после этого пользовались всеми правами и привилегиями наравне с остальными дворянами. И почему немка из состоятельной семьи не могла выйти замуж за православного врача, бывшего еврея, материально хорошо обеспеченного?

Теперь я еще больше, чем раньше, убежден, что Александр Бланк, дед Ленина, был именно бывшим одесским фельдшером Александром Бланком и что Ленин и его родные знали это. В разговоре с Максимом Горьким Ленин ему как-то однажды сказал:

«Умников мало у нас. Мы народ, по преимуществу, талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови». (См. М. Горький. Владимир Ленин. Ленинград, 1924 г., стр. 20). Это несомненно, со стороны Ленина была не случайно оброненная фраза... Интересно отметить, что в дальнейших изданиях этой книжки, вышедших в сталинские времена, а также в полном собрании сочинений Горького 1925 г. слова «русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови» выпущены. (См. М. Горький, Собрание сочинений. Том 17, стр. 36).

Валентинов установил, что в Ленине была славянская, немецкая, шведская и калмыцкая кровь. К этому надо прибавить — и еврейскую.

Но как правильно пишет «Историк», Ленин «вырос в семье, чувствовавшей себя вполне русской». От себя прибавлю, что родоначальниками ленинского большевизма были, главным образом, русские: Ишутин, Зайчневский, Ткачев, Нечаев и отчасти Бакунин и Чернышевский. Я убежден, что именно потому, что Александр Бланк был крещеный еврей, советские биографы Ленина скрывают, откуда он был родом. Коммунистические диктаторы не хотят, чтобы народы СССР знали, что их бог Ленин был на одну четверть евреем...

В заключение считаю нужным указать на некоторые неточности в письме в редакцию «Историка». Имя и отчество Бланка было Александр Дмитриевич, а не Александр Давидович, как пишет он. А. Ф. Кони не был еврейского происхождения. Рувим Маркович Бланк никогда не был редактором журнала «Вестник Европы». Он был редактором петербургского еженедельника «Запросы жизни». Журнал «Еврейская трибуна» выходил не в Берлине, а в Париже.

Д. Шуб

ВИБЛИОГРАФИЯ

новое издание ключевского

Новое издание Ключевского — это событие научное, литературное и общественное и на него нельзя не откликнуться. Странную судьбу испытали труды Ключевского при советском режиме; Ключевского считали долгом бранить чуть не в каждой книге по истории: за дурной метод, за «реакционный идеализм», за «непонимание классовой природы явлений», но обойтись без него, видно, не могут; перед нами уже третье советское издание Ключевского.

1. Прежние издания «Курса»

Всем известный четырехтомный «Курс» Ключевского в первом издании выходил с 1904 по 1909 год и сразу занял должное место. Отдельные томы переиздавались до самой революции. Переделок не было, кроме как в І-м томе, переработанном ко 2-му изданию 1906 года. Славу о «Курсе» разносили по России многие поколения московских студентов. Но Ключевский долго еще не брался за его опубликование, по обычному мотиву подлинного ученого — не спешить печататься, пока еще «не сказано последнее слово».

В 1903 г. Ключевский уже усердно работает над І-ым томом; семь лет потребовалось, чтобы придать окончательную форму тому, что с изменениями читалось с кафедры 30 лет. IV-ый том заканчивается блестящей характеристикой Елизаветы, лучшим из его «царских портретов», и едким рисунком Петра III, «прусского верноподданного министра на русском троне». Описан и переворот 28 июня 1762 года, отдавший трон Екатерине II-ой. Этим описанием, собственно, и завершается прижизненный «канонический» текст «Курса». Но в то же время начинается и его история, в которой самое важное место занимает судьба следующего, пятого тома. Этот новый том, естественно, должен был начинаться с «обстоятельного» манифеста 6-го июля, который был издан в развитие написанного второпях за Петра акта о «самопроизвольном отречении». Все знали, что в лекциях Ключевского материал охватывал по крайней ме-, ре еще сто лет. Ключевский сразу же и перешел к работе над ним. Следы этой работы ведут через весь 1910-ый год. Но в конце этого

года он слег, а 12 мая 1911 г. скончался. Так русское общество и не увидело этой книги с характерной для сочинений Ключевского припечаткой на обложке «единственный подлинный текст».

2. Судьба пятого тома

Громадный интерес, вызванный «Курсом», требовал, однако, его завершения. Это повело к разработке архива Ключевского. В продолжение всего своего ученого пути Ключевский непрерывно изменял, пополнял и улучшал свои труды. Не говоря о подсобных материалах и черновиках, одних литографских изданий его «Курса» в архиве сохранилось свыше 20-ти, которые поровну делятся между древней и новой русской историей. Его печатные тексты «подлинными» оставались для читателя, сам же автор неустанно испещрял их всё новыми заметками. Исследователи, три раз выпуская посмертный пятый том, как бы терялись перед богатством и разнообразием относящихся сюда материалов, использовали их частично и не одинаково. Так при отсутствии направляющей руки автора из трех советских изданий пятого тома получилось, в сущности, три книги с различным содержанием.

Пока единственный сын и наследник Ключевского Борис Васильевич и помогавшие ему в посмертных переизданиях историки (например, А. А. Кизеветтер, Я. Л. Барсков) думали, как лучше исполнить перешедший на них долг умершего перед русской наукой, разразилась война и революция. А весной 1918 года произведения больших русских писателей были объявлены «национальным достоянием». До советской истории, как особой науки, тогда еще не додумались, и Ключевский был тоже, конечно, причислен к классикам. Все изданные им книги были перепечатаны, и не раз, массовым тиражом. Но пятого тома среди них не было.

Вскоре власти вспомнили, что в свое время этим занимался Я. Л. Барсков, и обратились к нему. Это было еще во времена не сломленного общего «саботажа» большевиков со стороны культурных сил страны. Поэтому в предисловии Барскова можно уловить ноты некоторого самооправдания: «Принять предложение Литературно-Издательского Отдела Народного Комиссариата по Просвещению, касающееся подготовки для печати V-ой части «Курса» В. О. Ключевского, я счел своим долгом и перед памятью дорогого учителя, и перед русской исторической наукой, и перед народом». Барсков был слушателем курса Ключевского в 1883-84 академическом году и тщательно записывал лекции для издания их литографским путем в пособие слушателям. Ключевский эти записи просматривал и вносил поправки до литографирования. Но он по своему обычаю вносил их и позже по экземпляру готовой литографии для

улучшения бу дущего изложения. Таким образом, Барсков пользовался при издании записью с двойной правкой.

Свои записи для печатного издания Барсков пополнил из литографий позднейших годов, частично также исправлявшихся Ключевским. И все же том выходил слишком тощим в сравнении с преды-дущими и не покрывал ни эпохи, ни работы, произведенной профес-сором. Тогда Барсков к этому лекционному материалу прибавил еще один обзор, никогда не читанный, но прямо написанный, чтобы облегчить студентам понимание и связь явлений законченного кур-са. Этот «Обзор главнейших явлений русской истории со смерти Петра Великого» представляет собою обыкновенный университетский конспект. Но значение этого «пособия для слушателей» гораздо шире: оно освещает весь ход исторического процесса нового перио - да; это в то же время и методическое руководство для желающих серьезно изучать историю.

Сам М. Н. Покровский пожелал отозваться на первое появление пятого тома, который встретил с иронией и раздражением, («Пе-чать и революция», март 1923 г.): «Непонятно, зачем эту архаиче-скую книгу понадобилось печатать в 50.000 экземплярах». Покров-ский высмеивал самое благоговение ученика перед каждым словом покойного учителя, рекомендуя «поручить редакцию... какому-ни-будь историку-марксисту, который снабдил бы ее соответствую-щими комментариями». Мы увидим, какой отзвук позднее получило его пожелание.

Второе советское издание «Курса», а в нем и пятого тома, вышло в 1937 г. под редакцией С. К. Богоявленского. Оно хорошо известно в кругах ученых Европы и Америки в перепечатке. Сам редактор дал ему общую характеристику: отправляясь от записей Барскова он говорит, что тот курс «в последующие годы ... подверг-

ся переработке и был расширен, особенно в части, относящейся ко второй половине XVIII в.». Этот пятый том напечатан по литографии 1887-88 года с дополнениями из других, даже и более старых записей, чем Барскова. Ново в нем то, что «Обзор главнейших явлений» Богоявленский заменил пятью замечательными очерками Ключевского на темы, связанные с XVIII веком, которые повторяются и в последнем издании но в других томах. По редакционным приемам

2 ое издание близко к 1-му; даже число лекций в них одинаково, только разбивка материала не совпадает. Некоторые изменения внесены в часть, касающуюся XIX-го века; больше места уделено декабристам, Сперанскому и др.

3. Двойственные черты нового издания

Особенное внимание должно привлечь к себе последнее. 3-ье советское издание Ключевского в силу того, что оно вышло недавно, широко известно заграницей и своеобразно по составу. «Курс» представляют в нем лишь часть 8-митомной серии под заглавием: «В. О. Ключевский. Сочинения». В сопроводительных текстах добавлен правильно определяющий их эпитет «избранные». Остальные три тома наполнены иными трудами Ключевского, даже частью впервые публикуемыми. Бросается в глаза внутренняя противоречивость в целях и плане, лежащих в основе этого издания. В нем ясно выступают признаки высокой научности с одной стороны и широкой популяризации с другой. Едва ли издатели признают, что им удалось благополучно разрешить эту проблему, в объеме такой большой и разнородной серии. Проблема эта осложнялась для них и теми специфическими, жесткими условиями, которые с очевидностью навязывались им со стороны. Популяризаторский характер издания явствует уже из самого факта селекций «избранных» сочинений. В соответствии с этим, издателем оказывается не какое-либо авторитетное ученое учреждение, например, Московский университет или Академия Наук, в лице своих институтов истории, ленинградского или московского, а всесоюзный Госполитиздат, ставящий себе не чисто научные, а общеобразовательные цели. Тираж издания также свидетельствует о назначении его для широкого читателя: для пяти томов «Курса» он установлен в 75 тысяч экз., но для 6-го, 7-го и 8-го, как более специальных, снижен соответственно до 55, 54 и 53 тысяч. Такими же соображениями редакторы объясняют устранение из «Сочинений» монументальной «Боярской Думы», «Сказания иностранцев о Московском государстве» и других крупных работ, находя их интересными лишь для специалистов и для них легко доступными, так как они не раз переиздавались. Это верно только для «Боярской Думы», изданной пять раз, а «Сказания иностранцев» переизданы лишь дважды, в 1916 и 1918 г.г. Между тем, этот первый труд Ключевского, вышедший из медальной кандидатской работы, далеко не проба пера дебютанта; в нем уже угадывался будущий крупный ученый. Ничем нельзя оправдать исключение из «собрания» единственного и редчайшего издания магистерской диссертации Ключевского о древнерусских житиях святых (1871), в которой он, после больших трудов, развенчал ценность этого источника для истории. Но есть в этом издании, предназначенном для широкого читателя, пропуски, которые искажают подлинное авторское лицо Ключевского и становятся в прямое противоречие с заданием, если видеть его в популяризации. Как известно, Ключевский не раз со всею определенностью заявлял, что для него мето-

дологически неприемлемо и практически невозможно заниматься еще и вопросами истории культуры и быта. Но зарок был напрасный: чувство связи исторических явлений и стремление к целостному охвату всего прошлого, внушенное горячей к нему любовью, заставляли автора уходить от этого правила. Можно указать целый ряд лекций, составляющих как-бы отдельные этюды по истории культуры. В основном же эта неизменная потребность Ключевского нашла выражение в длинном цикле отдельных специальных трудов. посвященных культурной истории, в которой он особенно выделял литературу. Тут следует прежде всего отметить непреходящий интерес его, — профессора и духовной академии, — к истории русской церкви, а в ней именно к культурным темам. Это тем более натурально, что и вся наша древняя история культуры, включая и материальную, была насквозь пропитана церковностью. С унылого поля наших светских исторических превратностей Ключевский как бы спешил укрыться под мирной церковной сенью, около святых угодников и просто добрых людей, и написал ряд прекрасных статей на церковные темы. Не все и тут мирило с собой строгого и нелицеприятного судью, но если он мог указать в чем-либо на положительную роль церкви и ее деятелей, то в таких делах и героях почти находил оправдание всего нашего исторического существования и глубокую личную отраду. В третьем же советском издании из многих таких статей дана лишь одна, и как раз такая, где изображаются не светлые стороны духовной жизни, а упадок просвещения, зарождение невежественного самомнения и нездорового вкуса к церковной казуистике, да еще на фоне социальных неурядиц («Псковские споры»).

Исключение остальных «церковных» статей идет как-бы против намерений редакции дать доступный материал широкому читателю, так как все они словно для него и написаны. В вопросе о научной популяризации Ключевский этими статьями блестяще показывал, как должно этот вопрос разрешить. Как известно, он принимал участие и в теоретическом обсуждении этой проблемы, написав руководящую статью «Задачи научной популяризации» для журнала «Научное Слово». Теперь это неподписанное произведение забыто. Но еще до него Ключевским были написаны превосходные народные чтения и вместе с тем настоящие литературные шедевры, — речь о преподобном Сергии и «Добрые люди древней Руси», неоднократно изданные дешевыми брошюрками. В этом издании они отняты у нового читателя, и этот вандализм нужно отметить.

В резком контрасте с указанными чертами стоят свойства «Сочинений», отвечающие высоким требованиям научности: стремление к пополнению новым материалом, отбор его по принципам тексто-

логической критики и сопровождение обильным научным аппаратом из вариантов, комментариев и ссылок на источники, использованные автором.

4. Реконструкция пятого тома

Самое щедрое применение перечисленные приемы нашли при подготовке 5-го тома. Оставленный автором на полдороге к завершению, он больше всех других трудов требовал обращения к архиву. А архив Ключевского теперь был уже не тот, что во времена, когда Я. Л. Барсков получал от самого автора или его сына нужные бумаги по частям. Уже к 1950-му году один из двух редакторов нынешнего издания, проф. А. А. Зимин, изучил и описал общее его состояние и, в главных чертах, состав. (См. его статью в «Записках Отдела рукописей» Гос. Публ. Б-ки им. Ленина, вып. 12. М. 1951).

Изучая богатые фонды Ключевского проф. Зимин пришел к твердому выводу, что «наличие всех этих сохранившихся материалов позволяет поставить вопрос о новом, вполне научном, издании последней части Курса» и теперь, вместе с проф. В. А. Александровым, он так или иначе его разрешает.

Оригинальная творческая личность Ключевского задала тут редакторам большую работу. Дело не только в «последнем слове», о чем было упомянуто выше, но и в двух принципах, которых историк держался. Художник слова писаного, он был артистом и слова произносимого. Свои лекции, которые казались слушателям творимой импровизацией, он всегда заранее писал. Но тонкость этого труда в том и заключалась, что писал он их так, как они должны произноситься с кафедры. Тот же предмет излагался совсем иначе, когда автор знал, что воспринимать его будут читатели. Секретом превращения устного монолога в литературное произведение Ключевский владел в совершенстве. Кроме того, он считал, что материал для всероссийского читателя и по содержанию, и по изложению должен быть иным, чем университетский. Вот почему каждый том «Курса» представлял собою сплошь заново написанный текст, отличный от любого из многих литографских, из которых в нетронутом виде включались туда лишь отрывки.

Нам нет нужды следить за всеми деталями кропотливой композиционной работы редакторов, которые из массы материалов разного характера, с разным назначением, в разной стадии приближения к идеальному печатному тексту, составили новый сводный пятый том по всем правилам современной текстологии.

В итоге мы видим, что число лекций в 3-ем издании пятого тома сократилось с 20 до 12, хотя к прежним прибавилась еще и лекция о реформах Александра II. У Ключевского вообще заметно

было стремление сжимать изложение в каждой новой стадии работы, особенно при печатании. Редакторы несколько сурово отнеслись к изданиям Я. Л. Барскова и С. К. Богоявленского, главным образом за их археографические приемы, но сами обильно использовали обоих, а к последнему и сейчас отсылают, например, за списком литературы по лекциям 84 и 85. Все же теперь ясно установлено, что из 304 страниц всего тома 125, содержащие три первые лекции, составляют окончательный текст, предназначенный самим Ключевским для будущего издания. Но и следующая лекция, 78-ая, представлена заново написанным черновиком, который едва ли претерпел бы существенные изменения, эту лекцию можно почти приравнять к первым. Средние пять лекций, с 79 по 83, взяты по совокупности из ряда литографий, со следами авторской правки и лодготовки к изданию в разной степени. Последние три лекции напечатаны по литографии конца 90-х гг. и близки к изданию 1937 г. Хотя на ней нет следов руки Ключевского, но учтена его правка на том же материале из других литографий, ранних и поздних; вообще для нового издания их использовано не менее шести, что само по себе указывает на огромный труд, затраченный на его подготовку.

5. Комментарии и редакторские «портфели» Юлючевского

Теоретически возможно было и дальнейшее продвижение изложения. В архиве Ключевского сохранился небольшой, из пяти лекций на 46 листах, курс истории царствования Александра II. Он вошел в самые поздние литографии. Барсков в предисловии к пятому тому об этих лекциях заметил, что «они нуждаются в очень тщательной проверке». Проф. Зимин теперь установил, что какаято правка Барсковым была произведена, но не входя в оценку ни курса, ни труда Барскова, к сожалению объявил лаконическое решение: «В настоящем издании этот курс не публикуется». Я позволяю себе догадку, что эта работа вышла из абас-туманских лекций вел. князю Георгию Александровичу, от которых в бумагах Ключевского сохранилось два, тоже не опубликованных, варианта; «Политическая русская история», «О Екатерине II - Александре II». Такого же плана, в соответствии с программой, Ключевский держался и в своем преподавании в Александровском военном училище (1867-1883).

Два приложения в виде отдельных статей связаны тематически с содержанием пятого тома. Первая из них, «Екатерина II», блестяща, как все характеристики этого рода у Ключевского. Но она уже была переиздана три раза, а кроме того была обильно использована автором и в лекциях. Совсем иное дело — первая публикация всего большого фрагмента неоконченной последней работы Клю-

чевского «Отмена крепостного права». В этом крупная заслуга редакции, но статья, по важности для автора самой темы, по его горячему отношению к ней и по своему современному юбилейному значению, заслуживает отдельного рассмотрения.

Комментарии редакции и «портфели» Ключевского составляют важную особенность нового издания, резко отличающую его от первых двух. Во-первых, комментарии эти излагают и разъясняют общие исторические взгляды Ключевского и его место в русской историографии вообще и по отношению к отдельным периодам и вопросам. Эти замечания ценны, когда они касаются тех пунктов, которые и во время Ключевского получили иное толкование у других историков. Но когда редакторы с одной стороны похваливают Ключевского за то, что он выдвигал экономические факторы и изучал социальный состав общества с враждебными интересами его разных групп, а с другой подчеркивают его «буржуазно-идеалистическую отсталость», то их суждения невольно становятся натянутыми, здесь чувствуется дань официальной идеологии.

Очень хорош так называемый археографический комментарий. В нем по каждому тому описано состояние архивов, точно указано и мотивировано, на чем построен печатаемый текст. Много потрудились редакторы, приводя стилистические варианты и опущенные автором дополнения из прежних курсов. За это их надо очень поблагодарить.

В учебных целях, профессора, руководящие подготовкой студентов и молодых ученых, обращают особое внимание на уменье пользоваться источниками и литературой и доказывать его точностью цитат и ссылок. У некоторых эта рабочая необходимость переходит в творческую слабость, в компилятивность. Как известно, Ключевский своими трудами учил как раз обратному, — избегать цитат. Читатель поражается живости, документальности портрета, сцены, исторического пейзажа, но документа не видит. Такова сила реконструкции, которой владел Ключевский. Талант выбирал нужное для данной картины из запаса громадных знаний, а знания копились упорным трудом всей жизни. Ключевский мог себе позволить эту роскошь обходиться без выписок и ссылок, загромождающих речь или текст. Но в заседаниях ученых обществ он пускал их в ход, превращая свои выступления в праздничные сюрпризы для коллег. Теперь все это редакторы перевели с рукописных полей в комментарии, а специалистам открылся материал творческого процесса историка.

Наибольшее место в комментариях занимает четвертая группа материалов, которую можно назвать «портфелями» Ключевского. Они еще никогда не публиковались, имеют не одинаковое отноше-

ние к основному тексту, различное назначение и обработаны в разной степени. Великолепный очерк истории Государственного Совета в его прообразах XVIII века, навеянный, судя по датировке, столетним юбилеем этого учреждения (1910 г.) мог бы составить отдельную лекцию. Иногда это целое исследование, посвященное всего лишь одному слову, — о кунах, которые давались «в треть». Если бы Ключевский не написал заранее этого своего выступления по чужому докладу, мы о нем ничего бы и не знали.

Среди набросков много вариантов для характеристики царей XVIII и XIX веков. К одному и тому же лицу в разное время он намеренно подходил с многих сторон и точек зрения. Только читая наброски можно понять, чего стоили автору его знаменитые исторические характеристики. По материалам «портфелей» можно уже ставить вопрос не об историке Ключевском, но о его личности, о человеке и политике. И тогда очень близоруким и однобоким покажется приписывавшийся ему многими образ пессимиста-консерватора, который искал идеал русской жизни в старомосковском укладе Житной улицы под державной рукой Александра III, а то и самого Тишайшего царя. Знавшие его С. Ф. Платонов, А. Ф. Кони, П. Н. Милюков и А. А. Кизеветтер внесли в такой взгляд поправки, больше своими свидетельствами, чем оценками. Но цельный портрет Ключевского, к сожалению, и до сих пор остается еще заданием. Сказанного о комментариях довольно, чтобы признать их ценным дополнением к текстам автора, если, конечно, пройти мимо обязательных трафаретных суждений о его «буржуазной ограниченности».

6. Состав 6-го и 8-го томов

Том 6-ой «собрания» содержит первую публикацию специальных курсов, до сих пор известных только в студенческих записях, неполных и неисправных. Открывается он «Курсом лекций по источниковедению», как назвали редакторы, в согласии с современной терминологией, то, что Ключевский скромнее обозначил как «Источники русской истории». Недостаток научного интереса к русской истории (отражение этого см. в воспоминаниях Милюкова и Маклакова) профессор объясняет слабой разработкой источников. Не довольствуясь изложением истории в книгах и с кафедры, он хочет, «чтобы ее выводы и предания передавались одним поколением другому вместе с детскими сказками и житейскими уроками матери и няни. Наша история еще покоится на архивных полках и едва начинает двигаться оттуда и только к рабочему столу ученого: как ей далеко еще идти до детской аудитории няни!». И акад. М. Н. Тихомиров, один из крупнейших современных специалистов по источникам, находит этот курс апологета и проводника движения, при «явной неполноте» его, все же «фактически первым специальным курсом на эту тему в буржуазно-дворянской историографии» и называет его для своего времени «передовым». Если и раньше очерки источников предпосылались иногда изложению, то с тех пор без них строить его стало невозможно. Очень скоро Шахматов и Платонов, а также и другие блестяще показали, как надо исследовать источники. В. С. Иконников уже готовил свои внушительные 4 тома «Опыта русской историографии», которые давно просятся к переизданию.

Короткие курсы «Русская Правда» и «Псковская судная грамота», вышедшие из студенческих семинаров, показывают, какова должна быть работа над источниками на практике. Современные ученые, вернувшиеся к этим памятникам, воспользовались многими из толкований Ключевского (Б. Д. Греков, А. И. Яковлев, Л. В. Черепнин, — все уже скончавшиеся).

Из тех же стремлений историков — соорудить арсенал вспомогательно-технического оружия для самостоятельной работы студентов — вышла «Терминология русской истории», читанная в 80-х годах и теперь печатаемая. Редакция признает, что у нас «до настоящего времени отсутствует целостное изложение русской терминологии». Словарь Срезневского тогда еще не выходил, исторических словарей у нас не было и нет, говоря о терминах; какой-то «исторический» словарь обещан, но что это будет, неизвестно. Понятно, сколь нужны были чтения Ключевского, который термины объяснял не в простых определениях, а в историческом их движении. Только прочтя сейчас этот курс, я догадываюсь, что его примеру следовали, а частью, может быть, и заимствовали у него материал, позднейшие историки (общие и права), у которых есть подобные отделы. Впервые печатаются и «Лекции по русской историографии» XVIII в. Они были обещаны для 6-го тома, но перенесены, вероятно, по условиям композиции издания, в 8-й, куда их можно отнести и по хронологии работы. Зато мы получаем неожиданный сюрприз в виде «Истории сословий», планом не предусмотренной. Можно догадаться, что прельстило издателей, стоящих на классовых по-Зициях.

Мало радостей доставили нам 7 и 8 томы, но огорчение большое: в них в угоду хронологическому принципу перемешаны почти все (кроме исключенных церковно-религиозных) «исследования, рецензии, речи», которые в свое время составили три известных посмертных сборника статей: «Опыты и исследования», «Очерки и речи», «Отзывы и ответы». Нового тут не очень много, включая даже извлечения из журнальных могильников: образцы полемики, — неподражаемые (с Иловайским и Голохвастовым); памятки (Пушкин — новое добавление, Буслаев, Грановский); отклики на диспутах — Милюкова и Семевского. Замечательна беседа со студентами Училища живописи «об обстановке и уборе» изображаемых художниками лиц.

净净

Общий вывод: сделан крупный шаг вперед к научному изданию, но умышленное усечение собрания представляет собой грубый шаг назад. Академического издания Ключевского мы дождемся, видно, не скоро. А о биографии, о новых материалах к ней, об издании 400 писем, полученных Ключевским и о розыске его писем в других фондах приходится лишь мечтать.

К. И. Солнцев

Л. АЛЕКСЕЕВА. «В ПУТИ». Стихи. Мюнхен, 1959

Недавно один из наших критиков утверждал, что выразиться относительно какой-либо хорошей книги «она меня обрадовала» — значит не только употребить выражение «набившее оскомину», но и «солгать». Ну, а Жуковский и Пушкин? А Пушкин и Гоголь? А захлебывающийся восторг критики при появлении «Бедных людей» Достоевского? Это только первое, что сейчас же приходит на память.

И никакого литературного смущения я решительно не ощущаю и уж тем более не собираюсь «лгать», когда выбираю именно это очень хорошее слово «радость», как наиболее подходящее для чувства испытанного мною от негромкой, но истинной поэзии Лидии Алексеевой.

Во всякой настоящей поэзии таится чудо. В поэзии Лидии Алексеевой оно несомненно даже в том, что долгие годы пребывания ее среди нью-иоркских небоскребов не стёрли ощущений от встреченной когда-то — «В пути» — горной природы. Ощущения эти совершенно свободно и свежо вылились в такие пахнущие сосной стихи, они заострили зрение поэта для любовного воплощения всякого лесного зверья, оживили во всей их силе краски, запахи, звуки. Л. Алексеева говорит, что для того, чтобы «в раскрытом мире» это всё уловить, ей «Словно глаз дано четыре — И ушей не меньше трех».

Многие образы и определения Л. Алексеевой прелестны своей неожиданностью, до чрезвычайности «зрительны» и музыкальны. Как, например, хороша эта прибрежная ива, которая «полощет в

воде» «свой зеленеющий платок», а чередующиеся в строках без всякой навязчивости «л» и «щ» создают впечатление легкого течения; с какой завидной выразительной простотой сказано, что «На прощанье гром по тучам — Бьет чугунными шарами» — и снова эти перемежающиеся «у» и «р» помогают возникнуть полной картине уходящей грозы. Так же и «первый признак весны» — «Кипящий воробьями куст»: не только встает зрительно, но сейчас же слышится и это его «воробьиное кипенье».

Л. Алексеева разглядела и то, что на жалких задворках бузина «цветет светло и пышно», и то, что кузнечик — «тугой и сухоногий»; умела подслушать, что ранним утром «гудит трава густая — теплым бархатом шмелей»; собранные ею в мокрой шляпе грибы — «пахнут сумраком», а стены лесной избы — «пахнут пряниками». Никак не наблюдательница со стороны, она мирно и восторженно сопричастна природе, но чужда тютчевскому ощущению «хаоса». Она как бы сама частица этой прекрасной природы, в которой всё живет заодно с нею — и эта чудесная ее «Медведица», неуклюже и добродушно пробуждающаяся после зимней спячки, и горные ели, спасающие ее от паденья, но совсем по-человечески «дружески и грубо».

Но «В пути» это не только видения раннего детства, леса, и всякого лесного зверья. «В пути» — это и интимные переживания, переданные с благородной сдержанностью чувства, без всякого «заламыванья рук»:

Наш спор был жарок и высок. Мы шли и луг топтали дикий, — Крутили в пальцах колосок, Срывали венчик павилики. И мертвой бабочки крыло, Не видя, к свету поднимали Оно круглилось и цвело Отливом бархата и стали, И жизнь была так молода, И мир чудесней и огромней... О чем мы спорили тогда? Ты помнишь? Я совсем не помню.

В лирике Л. Алексеевой — и общая беженская эпопея с невеселым выводом: «Вся жизнь прошла, как на вокзале — Толпа, сквозняк, нечистый пол. — А тот состав, что поджидали, — Так никогда и не пришел». Конечно, есть «В пути» и страшные годы войны; среди таких сильных стихотворений самым сильным и в своем роде единственным мне кажется то, в котором и война, а отчасти и «пробле-

ма эмиграции» даны сквозь образ бездомного кота. Разрешу себе прив'ести и это стихотворение полностью.

Старый кот с отрубленным хвостом, С рваным ухом, сажей перемазан, Возвратился в свой разбитый дом, Посветил во мрак зеленым глазом

И, спустясь в продавленный подвал, Из которого ушли и мыши, Он сидел и недоумевал, И на зов прохожего не вышел.

Захрустело битое стекло, Человек ушел, и тихо стало. Кот следил внимательно и зло, А потом зажмурился устало.

И спиной к сырому сквозняку
Он свернулся, вольный и надменный,
Доживать звериную тоску,
Ждать конца — и не принять измены.

Для творчества Л. Алексеевой стихотворение это характерно всем — и мастерством, с которым в кажущуюся легкость вложены мысли далеко не легкие, и колдовской способностью предельно ясно нарисовать зверя, и наконец, уменьем слить момент драматический с высоко человечной улыбкой. Вообще, улыбка почти всегда чувствуется в этой лирике, смягчая тихую, без обид и жалоб, грусть и примиряя с жизнью. Конечно, примиряет с этой жизнью и устремленность к религиозному поиску, выраженная в некоторых стихах (хотя нужно отметить, что как раз в этих стихах иногда присутствует столь несвойственная поэзии Л. Алексеевой некоторая суховатая риторичность, рассудочность). Даже смерть в этой лирике «чиста, тиха», без страшных «надгробных рыданий», естественна как всё в любимой автором природе: «— Вот выпал снег — и растаял. — Вот жил человек — и умер»...

Свободные в легкой текучести, и строгие близостью к классическим формам, стихи Л. Алексеевой из старых мастеров все же ближе всего к Тютчеву, несмотря на указанное различие в отношении к природе. А в современности — и внешний лад ее стихов, и освещенность их изнутри и их целомудренность ставят ее лирику в духовное соседство с поэзией Кленовского. В ее поэзии вместо пряности — аромат, вместо воздуха оранжереи — свет и свежесть. Оттого то ее искусство именно радует.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ

Поэма

Изд-во «Мост»

Цена 1 дол.

1943-1958 СТИХИ

Вступительная статья Романа Гуля Издание «Нового Журнала» Цена 2 дол.

а. и. герцен НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати **Л. Л. Домгер**Издание «Нового Журнала»

Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост»

Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ А 3 Е Ф

Исторический роман

Издательство «Мост»

Цена 3 д. 50 ц.

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового «Журнала» за исключением № 1 и № 3. До № 25 книги стоят 2 дол. (10 цент. пересылка), начиная с книги № 26 — 2 дол. 25 цент. (10 цент. пересылка).

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1961 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги) Цена одной книги — 2 дол. 25 цент. Во Франции — 8 франков.

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway New York 25, N. Y.

Телефои редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня